

The image shows the front cover of a book. The cover is a dark blue color with a fine, woven texture. It features an ornate, embossed border with decorative scrollwork at the corners and midpoints. In the center of the cover, there is a small, rectangular label with rounded corners and a decorative border. The label contains the name "H. Frost" written in a cursive, handwritten style.

H. Frost

Николай Васильевич Гоголь

Том 1. Вечера на хуторе близ Диканьки

(Полное собрание сочинений в
четырнадцать томах #1)

В первый том входит сборник повестей и рассказов "Вечера на хуторе близ Диканьки", наполненный мистикой, комизмом, но главное — народным колоритом украинской деревни.

В данной электронной редакции опущены разделы "Другие редакции" и "Варианты".

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

#1	0006
От редакции	0007
Вас. Гиппиус. Н. В. Гоголь	0049
Ганц Кюхельgarten *	0139
Вечера на хуторе близ Диканьки	0203
Часть первая	0203
Часть вторая	0368
Приложение	0596
Опечатки	0596
<Я давно уже ничего не рассказывал вам...>	0597
<Предисловие к „Сочинениям Николая Гоголя“, т. I, СПб., 1842.>	0598
Комментарии	0600
#1	0600
#2	0652
#3	0655
#4	0669
#5	0689
#6	0699
#7	0708
#8	0723
#9	0731
#10	0738
Иллюстрации	0743

Николай Васильевич Гоголь
Полное собрание сочинений
в четырнадцать томах
Том 1. Ганц Кюхельгартен.
Вечера на хуторе близ
Диканьки



Н. В. Гоголь. Портрет А. А. Иванова, 1841 г.
(масло). Русский Музей (Ленинград).

От редакции

Потребность в полном научно-критическом собрании сочинений и писем Н. В. Гоголя назрела давно. Такое издание (всех сочинений и всех писем) не было осуществлено еще ни разу, а существовавшие до сих пор издания сочинений отдельно и писем отдельно уже не могут быть признаны полными, так как в них не вошел ряд позже найденных текстов и писем.

За советский период было сделано многое для изучения гоголевского текста, но сделано это было только на материале избранных произведений Гоголя. Полное собрание сочинений Гоголя издается за советский период впервые, так же как и полное собрание его писем.

Советские ученые, редактирующие Гоголя, находятся в неизмеримо более благоприятных условиях, чем ученые дореволюционной поры. Им доступны все рукописи Гоголя, почти без исключения находящиеся в государственных архивохранилищах. Советским ученым доступен ряд документальных материа-

лов, скрытых раньше в недоступных архивах; они имеют полную возможность раскрепостить гоголевский текст от всякого рода цензурных искажений.

Вместе с тем именно в условиях советской культуры и советской науки стало возможным развитие подлинно-критической текстологии, стремящейся не к механической передаче буквы подлинника и внешности рукописи, а к осмысленному изучению творческого процесса. Эти общие принципы советской текстологии легли в основу и настоящего издания. Но изучение гоголевского текста связано с особыми трудностями. Наиболее сложен здесь вопрос об установлении окончательно текста тех произведений, которые печатались при жизни Гоголя.

Гоголь работал над своими произведениями долго и с исключительной тщательностью. Первые книги Гоголя — „Ганц Кюхельгартен“ (1829), два издания „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ (1831–1832 и 1836 гг.), „Арабески“ (1835), „Миргород“ (1835) и „Ревизор“ (1836), а также всё напечатанное к этому времени в журналах и альманахах — печатались

еще под непосредственным наблюдением самого Гоголя. Лично наблюдал Гоголь и за печатанием „Мертвых душ“: Гоголь был в это время в Москве, где „Мертвые души“ печатались, и по свидетельству С. Т. Аксакова занимался корректурами, „в которых он не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз“. В совершенно иных условиях печаталось первое собрание сочинений Гоголя 1842 г. (фактически вышедшее в начале 1843-го). Оно печаталось в Петербурге летом и осенью 1842 г. под наблюдением Н. Я. Прокоповича. Гоголь дал Прокоповичу самые широкие полномочия исправлять свой язык и стиль, в правильности которых он не был уверен. Он писал Прокоповичу из Гастейна 27(15) июля 1842 г.: „При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней: в Тарасе Бульбе много есть погрешностей писца. Он часто любит букву и; где она не у места, там ее выбрось. В двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такою же свобо-

дою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо — всё будет хорошо“.

Если обвинение писца в данном случае и было напрасным (см. комментарий к „Тарасу Бульбе“), несомненно всё же, что Гоголь передал Прокоповичу недостаточно проверенные копии. Об этом писал сам Прокопович — Шевыреву: „Беда мне не с Миргородом, а с рукописными сочинениями: в них чего не разобрал и пропустил переписчик, так приятель наш и оставил, а я должен пополнять по догадкам“.[1] Под „рукописными сочинениями“ Прокопович разумел, кроме новой редакции „Тараса Бульбы“, — „Шинель“, а также почти весь четвертый том — драматические произведения, где „Ревизор“ был заново переработан, а всё остальное (кроме только „Утра делового человека“) печаталось впервые.

Наибольшая доля участия Прокоповича сказалась в правке гоголевского языка и стиля. Прокопович подошел к своей задаче с большой добросовестностью, несомненно

учитывая при этом, что „неправильность“ гоголевского языка была одним из важных аргументов в борьбе реакционной критики против Гоголя. Прокопович понял свою задачу как исправление не только орфографии, не только пунктуации, не только отступлений от общепринятых грамматических норм, но и как исправление стиля. Он изменял порядок слов, казавшийся ему необычным; вводил новые слова, если они, как казалось ему, требовались логикой фразы; заменял слова, сомнительные с точки зрения языкового пуризма и даже с точки зрения своеобразно понимаемых приличий (так, напр., слово „нужно“ систематически заменялось словами „надобно“, „надо“).

Если бы к вопросам текста возможно было подходить формально-юридически, следовало бы признать, что текст, отредактированный Прокоповичем, как санкционированный Гоголем, является наиболее законным текстом. Но редакторы Гоголя, начиная с редактора первого научно-критического издания — Н. С. Тихонравова, стали на другую точку зрения, признав необходимым поправки Прокопови-

ча снять как не гоголевские (исправления явных описок и опечаток, разумеется, были оставлены). Разница между отдельными редакторами была только в том, что одни были в этом отношении более последовательны, другие — допускали сохранение известной категории поправок. Впрочем, даже с точки зрения формального соблюдения „авторской воли“, издание 1842 г. не может считаться вполне авторизованным. В письме от 24 сентября 1843 г. Гоголь, хотя и не обвиняя Прокоповича прямо, давал понять ему, что недоволен изданием: „Издание сочинений моих вышло не в том вполне виде, как я думал, и виною, разумеется, этому я, не распорядившись аккуратнее“. После жалоб на внешность издания и бумагу Гоголь продолжает: „Издано вообще довольно исправно и старательно. Вкрались ошибки, но, я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат писцу или даже мне. Всё, что от издателя, то хорошо, что от типографии — то мерзко. Буквы тоже подлые. Я виноват сильно во всем. Во первых, виноват тем — ввел тебя в хлопоты, хотя тайный умысел мой был добрый. Мне хо-

телось пробудить тебя из неподвижности и придвинуть к деятельности книжной; но вижу, что еще рано...“

В 1850 г. Гоголь задумал новое издание своих сочинений, в пяти томах. Пятый том должно было составить новое, исправленное издание „Выбранных мест из переписки с друзьями“, частью сокращенное, частью дополненное статьями „Арабесок“ и неизданными статьями. По замыслу Гоголя, пятый том должен был „составить в себе“ — все „теоретические понятия“ его „о литературе и об искусстве и о том, что должно двигать литературу нашу“. (Набросок предисловия к пятому тому; см. т. VIII настоящего издания, также „Сочинения Гоголя“, 10 изд., т. I, стр. XXII–XXIII). Что касается четырех первых томов, то состав их предполагался прежний, с некоторыми только „переменами“.[2] Но затем мысль о „переменах“ была отброшена из боязни новых цензурных репрессий: „Еще пойдет новая возня с цензорами“ — писал Гоголь Плетневу в цитированном письме — „бог с ними“.

Организацию издания Гоголь в конце 1850 г. поручил Шевыреву. Сам он был в то

время в Одессе и вернулся в Москву только к 5 июня 1851 г. Цензурное разрешение на издание к этому времени еще не было получено, [3] и его удалось добиться только к 10 октября 1851 г. Тогда же было приступлено к набору — одновременно в трех типографиях. Издание набиралось с печатного текста издания 1842 г., при чем первые корректуры читались С. П. Шевыревым и М. Н. Лихониным, а последняя — самим Гоголем, и в нее вносились авторские поправки.

В истории этого издания много неясного. Так, не вполне ясна роль в нем Шевырева и Лихонина. М. Н. Лихонин, сотрудник „Москвитянина“ (поэт и переводчик), мог быть предложен Шевыревым Гоголю как знаток русской грамматики и правописания (он был автором книг „Русская грамматика“ и „О правописании иностранных слов в русском языке“), — то есть предложен на ту же роль, которую, в порядке дружеского одолжения, исполнял в первом издании Прокопович.[4] Об этом говорят и образцы той правки Лихонина, которая была документально установлена Тихомировым. Поэтому есть основания припи-

сать Лихонину или другим сотрудникам Гоголя ту правку, аналогичную правке Прокоповича, которая встречается в этом издании.

Гоголь работал над корректурами до начала февраля 1852 г., то есть до самой своей предсмертной болезни. Работа была им прервана на девятом листе первого тома („Ночь перед Рождеством“), девятом листе второго тома („Тарас Бульба“), тринадцатом листе третьего тома („Записки сумасшедшего“) и седьмом листе четвертого тома („Ревизор“).[5] Подводя итоги работе Гоголя над новым изданием, можно говорить не о новых редакциях, и даже не о систематической правке, а только — об отдельных поправках. И вопрос об учете второго издания при выработке окончательного текста значительно сложнее, чем вопрос о правке Прокоповича в первом издании, уже потому, что нельзя с уверенностью утверждать, какие из поправок этого издания принадлежат Гоголю и какие — его сотрудникам.

Смерть Гоголя прервала начатое издание, а продолжать его после смерти Гоголя нельзя было уже по причинам цензурного порядка.

Правительство, напуганное сначала книгой Герцена „О развитии революционных идей в России“ (1851), где отмечена была революционизирующая роль сочинений Гоголя, затем — грандиозными манифестациями при похоронах Гоголя, относилось с опаской ко всему, что было связано с именем Гоголя. Об издании собрания его сочинений не могло быть и речи.хлопоты о возобновлении издания, которые вел сначала Шевырев, затем племянник Гоголя Н. П. Трушковский, — были в течение долгого времени безрезультатны. Только 2 июня 1855 г. (уже при Александре II) разрешение было получено, и к концу года второе издание сочинений Гоголя (обычно называемое „изданием Трушковского“) было доведено до конца.

Трушковский не ограничился допечаткой и выпуском в свет четырех томов, начатых при жизни Гоголя, но присоединил к ним два новых тома (1856). В том пятый вошли статьи из „Арабесок“, статьи из „Современника“, „Отрывок неизвестной повести“ (то есть начальные главы „Гетьмана“), „Развязка Ревизора“ и „Отрывок из «Мертвых душ»“ (окончание 9-й

главы в переделанном виде). В том шестой вошли „Выбранные места из переписки с друзьями“ и „Юношеские опыты“ („Ганц Кюхельгартен“, „Италия“, „Страшный кабан“ и „Женщина“).

Н. Г. Чернышевский в рецензии на два последних тома издания Трушковского отметил, что в него не вошли *рецензии* Гоголя (рецензии, напечатанные в „Современнике“, о чем можно было заключить по данным Кулиша, и рецензия в „Москвитянине“, на которую указал Г. Геннади в библиографическом списке сочинений Гоголя). Рецензии эти не вошли и в следующее издание Кулиша. Что касается упоминаемого Чернышевским письма к Щепкину о постановке „Дядьки в затруднительном положении“, то пропуск его не мог быть поставлен в вину Трушковскому, так как письма в это издание вообще не входили.

Кроме собрания сочинений Гоголя, Трушковский еще в 1855 г. выпустил отдельной книгой „Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти“ (ценз. разр. 26 июля 1855 г.) — то есть сохранившиеся главы второго тома „Мертвых душ“ и „Авторскую испо-

ведь“. Трушковский предполагал и дальше работать над сочинениями своего дяди, замышляя дать в нем на ряду с основным текстом также и другие редакции. „При другом полном собрании его сочинений — писал Трушковский в предисловии к тому V своего издания — все изменения и переделки, которые так часто встречаются у Гоголя, будут указаны“... Психическое заболевание помешало Трушковскому осуществить эти планы. Дело издания сочинений Гоголя перешло к биографу Гоголя, П. А. Кулишу.

Еще в 1854 г. П. А. Кулиш, не имевший тогда возможности выступать легально, выпустил — под псевдонимом Николая М. — „Опыт биографии Н. В. Гоголя со включением до сорока его писем“. В 1856 г. расширенное издание этой биографии появилось (за той же подписью) под заглавием „Записки о жизни Н. В. Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем“. „Записки Кулиша“ долгое время были единственной биографией Гоголя; но и до настоящего времени они не утратили значения биографического первоисточника, так как Ку-

лиш основывался на показаниях лиц, близких Гоголю: Н. Я. Прокоповича, П. А. Плетнева, С. Т. Аксакова, М. А. Максимовича, А. О. Смирновой и др. и широко использовал письма Гоголя к ним, а также к матери и сестрам. В тексте „Записок“ Кулиша впервые были напечатаны „Ночи на вилле“, в приложении к „Запискам“ — драма „Альфред“, а также два классных сочинения Гоголя и несколько его заметок. В 1857 г. вышло шеститомное собрание „Сочинений и писем Гоголя“, редактированное Кулишом. Самостоятельной работы над гоголевским текстом Кулиш не производил; первые четыре тома (сочинения) были основаны на издании Трушковского, но в собрание включены были „Мертвые души“, и кроме того — ранние редакции „Тараса Бульбы“, „Портрета“ и второго тома „Мертвых душ“. Включены были и отрывки начатых повестей. Но главное значение в истории изучения Гоголя имели два последних тома издания Кулиша, содержавшие письма Гоголя. Это первое собрание гоголевских писем оставалось на протяжении всего XIX века и единственным. В издание вошло около 800 писем

Гоголя, воспроизведенных по большей части по подлинникам и притом весьма исправно. К сожалению, Кулиш был вынужден сделать ряд пропусков в тексте писем — частью по требованиям цензуры, частью по настоянию владельцев писем и прежде всего — сестры Гоголя, А. В. Гоголь. По тем же соображениям ему пришлось зашифровать ряд имен адресатов Гоголя и упоминаемых им лиц.

Издание Кулиша (на которое замечательной статьей откликнулся Н. Г. Чернышевский) имело первостепенное значение для своего времени. Дальнейшие издания выпускались в свет наследниками Гоголя (т. е. сестрами и мужем одной из них, В. И. Быковым) на основе издания Кулиша. Из этих изданий известное значение имеет только второе (1867 г.), редактированное Ф. В. Чижовым, так как при перепечатке „Выбранных мест“ в нем были восстановлены статьи, запрещенные в 1847 г. цензурой, и отдельные цензурные купюры; были сделаны попытки и некоторых других исправлений.

Следующим этапом издания сочинений Гоголя и одновременно — значительнейшим

этапом его изучения было *десятое* издание его сочинений, задуманное и осуществленное его редактором, Н. С. Тихонравовым, как полное научно-критическое собрание всех сочинений Гоголя (собрание писем не имелось в этом издании в виду).

По первоначальному плану Тихонравова, всё собрание сочинений должно было составить шесть томов. В два первые тома вошло всё включенное самим Гоголем в четыре тома прижизненного собрания сочинений (кроме „Невского проспекта“ и „Записок сумасшедшего“, выделенных из цикла повестей и помещенных в составе „Арабесок“); в третий том — „Мертвые души“ — часть первая и часть вторая в *ранней* редакции, в том четвертый — „Выбранные места из переписки с друзьями“; сюда же присоединены были вторая часть „Мертвых душ“ в *позднейшей* редакции, статья „О Современнике“, „Авторская исповедь“ вместе со связанным с ней „письмом к Жуковскому“ [6] и „Литургия“. В состав пятого тома вошли „Арабески“, а также всё несобранное Гоголем при жизни, но печатавшееся после его смерти в изданиях Трушковского,

Кулиша или отдельно (как напр. статья „Борис Годунов“ и драматический отрывок, впервые опубликованные И. С. Аксаковым в 1881 г. в газете „Русь“, и „Введение в древнюю историю“, опубликованное в 1877 г. в „Новом Времени“). Впервые были включены в собрание сочинений рецензии Гоголя. Шестой том намечен был в следующем составе: 1) выдержки из записных книжек Гоголя, 2) все те цельные произведения, которые до сих пор оставались в рукописях (напр., „Учебная книга словесности“), 3) первоначальные редакции „Женитьбы“, „Ревизора“, первой части „Мертвых душ“ со всеми извлеченными из рукописей данными, объясняющими историю выработки этих произведений, 4) программы университетских лекций и наброски неоконченных произведений (см. Соч. Гоголя, 10 изд., т. I, стр. XXII).

Такой порядок произведений Гоголя определялся, по словам редактора, желанием приблизиться к плану, выработанному самим Гоголем. Но это касалось только произведений и даже только *текстов*, опубликованных самим Гоголем. Всё же неопубликованное печат-

талось Тихонравовым в самых разнообразных комбинациях, так например тексты „Ревизора“ разбились по двум томам, а тексты „Мертвых душ“ — даже по трем.

Тихонравов успел полностью осуществить только пять основных томов издания: они вышли в течение 1889 года почти одновременно.[7] Шестой том не был им закончен, но часть текстов, намеченных для него, была им опубликована отдельно в 1892 г. в двух брошюрах (Сочинения Гоголя. Извлечены из рукописей ак. Тихонравовым. Вып. 1–2. М., 1892, изд. Э. Э. Гиппиуса). В первый выпуск вошли: „Непогода“, „Женихи“, „Дополнение к Развязке Ревизора“, „Сганарель“, выдержки из карманной записной книжки и вторая редакция „Ревизора“. Во второй выпуск — „Мертвые души“ — редакция, оконченная в Риме в 1841 г., — и статьи „Мериме“ и „Александр“.

Всё это, вместе с некоторыми еще рукописными текстами, составило два дополнительных тома 10-го издания. Редакционная работа, начатая Тихонравовым, была доведена до конца В. И. Шенроком. Тома VI и VII вышли в свет в 1896 г. — в издании А. Ф. Маркса.

Выход в свет в 1889 г. пяти первых томов десятого издания был событием не только в истории изучения Гоголя, но и в истории русского литературоведения в целом и текстологии в первую очередь. Это было научно-критическое издание в полном смысле слова, имевшее единственным прецедентом издание Державина, отредактированное Я. К. Гротом; однако издание Гоголя по сравнению с ним отличалось и большей полнотой, и большей тщательностью выполнения. Тихонравов привлек к делу все известные в его время рукописные и печатные источники гоголевских сочинений, и основной текст Гоголя был установлен им в результате изучения и сопоставления всех гоголевских текстов. Первоначальные редакции были им опубликованы — или намечены к публикации — отдельно, а варианты, как рукописные, так и печатные, сведены в примечаниях к каждому произведению, при чем своду вариантов всегда предшествуют комментарии редактора, иногда весьма обширные.

К своей задаче изучения гоголевского текста Тихонравов подошел вооруженный боль-

шим филологическим и в частности палеографическим опытом. При изучении гоголевских рукописей им тщательно учитывался каждый раз характер бумаги, водяные знаки, цвет чернил, изменения почерка. Это приводило его к твердым и хорошо обоснованным выводам о времени и последовательности гоголевской работы. Гоголевский почерк — в черновых текстах зачастую очень неразборчивый — Тихонравов прекрасно изучил, и если и оставлял наиболее трудные места неразобранными — очень редко ошибался в чтениях. Примечания Тихонравова к отдельным произведениям Гоголя имеют целью дать историю текста и обоснование датировок, но он не ограничивался при этом узко филологической стороной дела и нередко затрагивал гораздо более широкие темы историко-литературные и биографические (см. напр. примечания к „Тарасу Бульбе“, „Театральному разъезду“, статье „Исторический живописец Иванов“ и др.).

Тихонравов отнесся с особой тщательностью к задаче выработки основного текста Гоголя. Взяв в основу издание Трушковско-

го — в частях, просмотренных Гоголем в 1851–1852 гг., — Тихонравов решил устранить из него не только ошибки, но и *произвольные поправки*, перешедшие из издания Прокоповича (за исключением, впрочем, тех случаев, когда Прокоповичем были выправлены „действительные“ ошибки Гоголя „против языка и грамматических правил“). Это был первый и во многом плодотворный опыт ревизии гоголевского текста, засоренного произвольными поправками его редакторов.

Но оговорка, допущенная Тихонравовым — готовность принимать все исправления „действительных ошибок“ Гоголя — увлекла редактора на неверный путь, тем более, что в понятие „действительных ошибок“ влагалось им чрезвычайно широкое содержание: под категорию ошибок подводились разнообразные случаи употребления слов, форм и синтаксических оборотов, необычных в литературном языке, а иногда и факты стилистического своеобразия Гоголя. Так, например, вслед за Прокоповичем Тихонравов изменяет „штаметовые“ юбки на „стаметовые“, „ридикуль“ на „ридикюль“, „сткляннный“ на

„стеклянный“, „обсмотрю“ на „осмотрю“, „прибыточный“ на „прибыльный“, „за одним разом“ на „одним разом“, „крутя головами“ на „качая головами“. Выражения „недействующих наций“... „женщина, ловящая человека“ (в „Риме“) Прокопович заменил более гладкими: „наций, пребывающих в бездействии“, „женщина что ловит человека“, и Тихонравов принял эти поправки, хотя „ошибок“ в строгом смысле слова здесь не было. В результате всех этих и подобных им поправок язык Гоголя становился бледнее, терял свою выразительность. Выравнивал Тихонравов, вслед за Прокоповичем, и порядок слов, не смущаясь тем, что от этих поправок существенно страдал ритм фразы. Так, в 4-й главе „Страшной мести“ Данило говорит у Гоголя: „А вот и турецкой игумен влазит в дверь! проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь, тестя“. Прокопович не только изменил „влазит“ на „лезет“, но и педантично поправил: „увидя тестя, нагнувшегося чтобы войти в дверь“. В результате два соседних предложения оказались „рифмованными“: оба оканчиваются словами „в дверь“. Тихо-

нравов сохранил и эту поправку Прокоповича.

Совершенно недопустимыми надо признать, конечно, и вытравливанья украинизмов — особенно из тех произведений, где они имеют определенную стилистическую функцию. Так, в „Тарасе Бульбе“ выражение „почул“, „выпустил дух“ заменяются на „почуял“, „испустил дух“. Столь же недопустимые исправления сделаны Прокоповичем — и санкционированы Тихонравовым — в репликах действующих лиц, когда самая „неправильность“ оборота могла входить в задание языковой характеристики персонажа. Утешительный в „Игроках“ говорит: „Подобное искусство не может приобрести, не быв практиковано от лет гибкого юношества“. Прокопович, а за ним Тихонравов выправляют: „Подобное искусство не может быть приобретено без практики в лета гибкого юношества“.

Все эти примеры, число которых могло бы быть значительно увеличено, показывают, что Тихонравов, по существу, стоял на тех же редакционных позициях, что и Прокопович, и если в иных случаях и возвращался к того-

левскому словоупотреблению и к гоголевскому порядку слов, отвергая поправки Прокоповича, то это свидетельствует лишь о недостаточной последовательности, проявленной им в решении данного вопроса.

Кроме того, как это выяснил Н. И. Коробка в статье „Судьба гоголевского текста“, [8] — Тихонравов допустил и другие редакционные ошибки. В ряде случаев он без достаточных оснований вводил в основной текст дополнения из черновых рукописей, объясняя, очевидно, пропуском писца (а может быть и „ошибкой“ Гоголя) те отличия печатного текста, которые на самом деле могли быть результатом новой правки самого Гоголя. „Характер этих вставок различен“ — писал Н. И. Коробка — „иногда вставляются отдельные выброшенные Гоголем слова, которые кажутся Тихонравову нужными для грамматической и логической законченности фразы, иногда целые выброшенные Гоголем фразы, вставка которых придает языку большую точность, но вместе с тем и прозаичность“. Так, например, реплика Оксаны „Разве хочется, чтоб выгнала за дверь лопатую?“ дополняется

по рукописи: „Разве хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою“. По существу, Тихонравов, опираясь на гоголевские тексты, продолжал и в этих случаях работу Прокоповича.

В связи с этим нужно отметить, что, широко пользуясь рукописями для *стилистических* исправлений, Тихонравов не всегда решался восстанавливать по рукописям цензурные купюры. Так, напр., в тексте „Носа“ была сохранена вынужденная замена Казанского собора Гостиным двором со всеми вытекающими отсюда несообразностями. В тексте „Записок сумасшедшего“ цензурные купюры и замены были Тихонравовым восстановлены лишь частично.

Наконец, как отметил Коробка, Тихонравовым совершенно не была учтена гоголевская правка во втором издании первой части „Вечеров на хуторе“; в результате часть гоголевских поправок, принятая за поправки Прокоповича, была Тихонравовым отвергнута.

Шестой и седьмой тома десятого издания вышли в 1896 г. под редакцией В. И. Шенрока. Хотя задача Шенрока была облегчена тем, что значительная часть материала была Тихо-

правовым подготовлена к печати, а частично и опубликована;[9] хотя воспроизведение по рукописи текстов не печатавшихся при жизни Гоголя, не представляло особых текстологических трудностей, кроме трудностей их прочтения, — оба дополнительных тома по своему научному качеству значительно ниже пяти томов, отредактированных Тихонравовым. Они лишены главных достоинств пяти первых томов: Шенрок с трудом и с недостаточными результатами читал рукописный текст Гоголя, многое читал неверно, многое оставлял непрочитанным, в подборе вариантов был непоследователен, а в воспроизведении текста нередко небрежен. Примечания в частях, написанных Шенроком, не обладали той стройностью и содержательностью, какими отличаются примечания самого Тихонравова.

Тем не менее и эти два тома являются необходимым пособием при изучении гоголевских рукописей. Очень ценно и приложенное к тому VII описание рукописей Гоголя.

Десятым изданием Тихонравова надолго

был установлен канон гоголевского текста. Десятое издание неоднократно перепечатывалось (с некоторыми сокращениями) в изданиях А. Ф. Маркса; наиболее распространенным было 16-е издание, в 12 томах (приложение к „Ниве“ 1901 г.). Текст Тихонравова воспроизведен и в двух изданиях, отредактированных В. В. Каллашем (изд. „Просвещение“ 1909 г. и изд. Брокгауза-Ефрона 1915 г.).

Попытка ревизии текстологической работы Тихонравова сделана была Н. И. Коробкой в его издании 1915 г. (изд-во „Деятель“, тт. I–V, год не обозначен); за смертью автора издание не было окончено. Критику тихонравовской работы и собственные текстологические принципы Коробка изложил во вступительной статье к первому тому: „Судьба гоголевского текста“. Коробка резко возражал против воспроизведения поправок Прокоповича и позднейших редакторов (Коробка считал редактором издания 1855 г. Шевырева) и выставил тезис: „Если орфография Гоголя не представляет собою чего-нибудь заслуживающего сохранения, то язык его должен быть сохранен и освобожден, насколько это в наших

средствах, от всяких как учительских, так и профессорских поправок“. Сохраняя поправки издания 1855 г. в листах, правленных Гоголем, Коробка систематически отбрасывает поправки Прокоповича, возвращаясь к более ранним публикациям.

Издание Коробки (сопровожденное сводом вариантов и примечаниями) явилось существенным шагом вперед в деле освобождения гоголевского текста от посторонних наслоений. Однако, систематической самостоятельной работы над гоголевскими рукописями Коробка, повидимому, не производил; в ряде случаев он поправлял Тихонравова, основываясь на вариантах тихонравовского же издания; непосредственные обращения его к рукописям не всегда были удачны. В текстах, признаваемых им текстами второстепенного значения, он, по собственному его заявлению, не обращался к рукописям.

Новый систематический просмотр важнейших гоголевских текстов — рукописных и печатных — осуществлен был в первые годы советской власти для изданий „Народной библиотеки“ (работы Б. М. Эйхенбаума, К. И.

Халабаева, А. Л. Слонимского — фамилии редакторов не указывались). Итогом этой работы был сначала трехтомник избранных произведений Гоголя (1927 г.), затем — однотомник (первое издание 1928 г. и ряд переизданий) под редакцией Б. М. Эйхенбаума и К. И. Халабаева. Редакторы исходили из принципов, сформулированных Н. И. Коробкой, продолжили его работу и внесли ряд уточнений и поправок — так, напр., текст „Носа“ был впервые освобожден от основного цензурного искажения: восстановлено было исконное место действия — Казанский собор. Впервые были устранены некоторые ошибки текста, проходившие через все предыдущие издания, — напр., в тексте „Вия“ восстановлено гоголевское слово „баня“ (в смысле „купол“) вместо неправильного „башня“.

Текст Эйхенбаума — Халабаева воспроизводился и до сих пор воспроизводится во всех последующих советских изданиях Гоголя. В отдельных частностях он спорен, но принципы, взятые в основу его редакторами, — как раньше Коробкой, — правильны. Настоящее издание исходит из тех же основных положений.

ний, стремясь дать подлинный текст Гоголя, освобожденный от всякого вмешательства извне. Здесь возникают, однако, значительные трудности.

Все произведения Гоголя, по их текстологической судьбе, можно разделить на следующие четыре категории:

1. Произведения, не испытанные при жизни Гоголя никакого редакторского вмешательства. Сюда относится всё то, что Гоголем печаталось под его личным наблюдением, но не было включено в собрание 1842 г. (статьи „Арабесок“, первый том „Мертвых душ“), а также всё то, что при жизни его осталось во все ненапечатанным. Воспроизведение этих текстов никаких особых трудностей не представляет.

2. Произведения, известные либо в рукописях, с которых издание 1842 г. печаталось, либо в предшествующих печатных публикациях, прошедшие в 1842 г. правку Прокоповича и не просмотренные Гоголем в 1851–1852 гг. Таковы — „Страшная месть“, „Иван Федорович Шпонька“, „Заколдованное место“, „Повесть о том, как поссорился...“, „Рим“ и все

драматические произведения, кроме „Ревизора“. Текстологическая задача здесь ясна: простое сличение текстов позволяет во всех этих случаях снять поправки Прокоповича и вернуться к подлинно-гоголевскому тексту.

3. Произведения, тоже известные либо в подготовленных для печати рукописях, либо в печатных публикациях, но прошедшие двойную правку: правку Прокоповича в 1842 г. и совместную правку Гоголя и Лихонина в 1851 г. К этой группе относится вся первая часть „Вечеров на хуторе“, из второй части „Ночь перед Рождеством“, из „Миргорода“ — „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“ (второй редакции), затем все повести, кроме „Рима“ (а также „Носа“, о котором см. ниже), и „Ревизор“. Вопросы текста этой группы произведений связаны с наибольшими трудностями. Казалось бы, логически правильным было бы поступить так, как поступили Коробка в 1915 г. и Эйхенбаум — Халабаев в 1927 г.: снять поправки издания 1842 г. как чужие и сохранить поправки издания 1855 г. как гоголевские. Но осуществить такое расчленение механически не всегда возмож-

но. Во-первых, в правке 1851–1852 гг. нет возможности отделить гоголевскую правку от правки его сотрудников — и, прежде всего, Лихонина, который, судя по всему, сыграл во втором издании гоголевских сочинений роль, аналогичную роли Прокоповича. Ряд стилистических поправок этого издания — изменение порядка слов, лексические и грамматические замены и, в частности, устранение украинизмов — мы с большим основанием можем приписать М. Н. Лихонину. Во-вторых, гоголевские поправки нередко наложены на текст уже правленный Прокоповичем, нередко имеют задачей преодоление этих навязанных ему поправок и во всяком случае осуществлены в расчете на них, что делает невозможным их отделение друг от друга. Из всего этого не следует, однако, никакого общеобязательного вывода для произведений этой категории: каждое из них требует индивидуального подхода. В иных случаях, совершенно независимо от правки Прокоповича, появляются новые поправки явно творческого порядка и потому, несомненно, принадлежащие Гоголю. Так, напр., в тексте „Ревизора“

правка Прокоповича отделяется более или менее ясно при сличении издания 1842 г. с экземпляром, подготовленным самим Гоголем для печати. Но в 1851 г. Гоголь вносит в этот текст новые поправки, например, восклицание Хлестакова в 3 действии: „Отличный лабардан! отличный лабардан!“ — заменяет более кратким и выразительным: „Лабардан! лабардан!..“ Нет никаких оснований отбрасывать эту поправку и возвращаться к чтению 1842 г. Нет также оснований не учитывать тех сокращений текста, которые сделаны Гоголем в тексте „Сорочинской ярмарки“. Иначе обстоит дело с текстом „Старосветских помещиков“ и „Тараса Бульбы“, где правка обоих изданий, поправки Гоголя и чужие — так тесно переплетаются, что редактор стоит перед выбором одной из двух возможностей: либо примириться с наличием чужих поправок, пожертвовать автентичностью текста для сохранения последней гоголевской правки, либо отказаться от воспроизведения последних гоголевских поправок, автентичность которых не полностью доказана, и вернуться к более раннему, но зато заведомо гоголевскому

тексту. Ни одно из этих решений не может быть признано абсолютно правильным и каждое из них может вызвать достаточно основательные возражения. В настоящем издании мы предпочли для текста „Старосветских помещиков“ и „Тараса Бульбы“ второй выход; мы возвращаемся в „Старосветских помещиках“ к тексту „Миргорода“ 1835 г., а в „Тарасе Бульбе“ — к тексту рукописи, подготовленной Гоголем для издания 1842 г.

4. Последний случай представлен двумя произведениями Гоголя — повестями „Вий“ и „Нос“. Повести эти, впервые напечатанные Гоголем в 1835 и 1836 гг., были им вновь переделаны для издания 1842 г., причем рукописи последних редакций до нас не дошли. В издании 1842 г. повести эти сверх того подверглись правке Прокоповича, а „Нос“ кроме того и некоторой новой правке в 1851 г. (впрочем, заведомо не гоголевской). В обоих этих случаях приходится реконструировать гоголевский текст, удаляя из новой редакции повестей те поправки, которые есть основания счесть чужими, а в тексте „Носа“ восстанавливая кроме того цензурные купюры и устраняя цен-

зурные искажения, перешедшие в издание 1842 г. из печатного текста 1836 г.

Настоящее издание является полным собранием всего написанного Гоголем. После издания Кулиша 1857 г., где два тома было занято письмами, к тому времени еще очень немногочисленными, это издание является *первым полным собранием сочинений и писем Гоголя*. [10] Письма Гоголя, в последний раз собранные В. И. Шенроком в 1901 г. в его четырехтомном собрании, давно нуждаются в критическом переиздании. Издание Шенрока было значительным шагом вперед по сравнению с изданием Кулиша, неполным и изуродованным купюрами цензурного и тактического порядка, — но к настоящему времени оно сильно устарело. Недостатки Шенрока как текстолога в полной мере сказались в его издании писем: редкое письмо лишено ошибок. Ошибки эти объясняются частью доверием к неисправным копиям, частью — неверным чтением, частью, повидимому, небрежностью корректуры. В ряде случаев (в совпадающих частях) текст Кулиша оказывается более исправным. Неудовлетворительно раз-

решены Шенроком и вопросы датировки, а стало быть и расположения писем. Некоторые промахи Шенрока уже отмечались его рецензентами (Дашкевичем, Кирпичниковым и др.), кое-что было исправлено позднейшими, лучше выверенными публикациями, но многое потребовало исправления и всё в целом — пересмотра.

Устарело издание Шенрока и по полноте. Письма, появлявшиеся в печати между 1901 и 1915 гг., уже были собраны Каллашем в приложении к тт. 9-10 его последнего издания. С тех пор, однако, было опубликовано до 60 новых писем Гоголя и обнаружено несколько писем еще неопубликованных.

Из 15 томов настоящего издания — первые 9 томов составляют сочинения Гоголя, а тома 10-15 — его письма.

При распределении сочинений по томам мы основываемся на тех циклах („Вечера на хуторе близ Диканьки“, „Миргород“) и жанровых объединениях („Повести“ и „Комедии“), которые были установлены самим Гоголем для собрания его сочинений. Некоторые отличия от гоголевского распределения мы, одна-

ко, считаем целесообразным внести. Так, в первом томе, на ряду с „Вечерами“ помещается „Ганц Кюхельгартен“ — как дебютная книга Гоголя и как итог начального периода его литературной эволюции. Определение: „Комедии“ заменено более точным — „Драматические произведения“ (поскольку включается и „Альфред“ и отрывки драм). Сохранение гоголевского цикла „Повести“ потребовало выделения повестей из состава „Арабесок“. Это дает возможность объединить в одном томе все статьи Гоголя, начиная с ранних статей, не вошедших в „Арабески“, и кончая „Выбранными местами из переписки с друзьями“. Тем самым воссоздается тот замысел Гоголя, который ему не удалось осуществить (см. выше — заметку Гоголя о предполагавшемся пятом томе собрания его сочинений). Два тома „Мертвых душ“ составляют два отдельных тома. Наконец последний — 9-й — том объединяет материал записных книг и черновых заметок Гоголя, не связанных непосредственно ни с художественными, ни с критико-публицистическими его текстами; там же помещаются и мелкие произведения юно-

пешского периода. Письма располагаются в хронологической последовательности.

По томам издания сочинения и письма распределяются следующим образом:

I. „Ганц Кюхельгартен“. „Вечера на хуторе близ Диканьки“.

II. „Миргород“.

III. Повести („Невский проспект“. „Нос“. „Портрет“. „Шинель“. „Коляска“. „Записки сумасшедшего“. „Рим“. „Страшный кабан“. „Гетьман“. „Ночи на вилле“. Отрывки неоконченных повестей).

IV. Драматические произведения („Ревизор“ и тексты, непосредственно связанные с „Ревизором“).

V. Драматические произведения („Женитьба“. „Игроки“. Сцены, выделенные из „Владимира 3-й степени“. Отрывки „Владимира 3-й степени“ в первоначальной редакции. „Альфред“. Наброски. „Театральный разъезд“. Перевод комедии Жиро).

VI. „Мертвые души“ — том I.

VII. „Мертвые души“ — том II.

VIII. Статьи (Статьи из „Арабесок“. Статьи, не вошедшие в „Арабески“. Статьи и рецен-

зии из „Современника“. „Выбранные места из переписки с друзьями“. „О Современнике“. „Авторская исповедь“. „Искусство есть примирение с жизнью“. „О сословиях в государстве“. „Учебная книга словесности“).

IX. Стихотворения. Классные сочинения. Альбомные записи. Исторические наброски. Материалы записных книг. „Литургия“. Черновые заметки.

X. Письма 1820–1835 гг.

XI. Письма 1836–1841 гг.

XII. Письма 1842–1844 гг.

XIII. Письма 1845–1846 гг.

XIV. Письма 1847–1848 гг.

XV. Письма 1849–1852 гг.

В пределах тома материал распределяется следующим образом:

1. Основной текст произведений, входящих в том.

2. *Другие редакции.* Здесь помещаются первоначальные печатные редакции тех произведений, которые в основной раздел включаются в последней редакции („Портрет“, „Тарас Бульба“, „Ревизор“), а также рукописные редакции, существенно отличающиеся от окон-

чательного текста.

3. *Варианты*. В этом отделе приводятся как печатные, так и рукописные разночтения, в том числе и черновые. Бесспорные описки и опечатки исправляются без всяких оговорок.

Не приводятся вовсе в отделе вариантов: 1) разночтения чисто орфографического характера (типа „вымененный“ — „выменянный“), 2) написания, не устойчивые у Гоголя и возможно не отражающие произношения („эдак“ — „этак“, „придет“ — „прийдет“ и т. п.), 3) дублиеты падежных окончаний („рукой“ — „рукою“, „цвета“ — „цвету“) и т. п. разночтения.

Из вариантов к тексту писем (зачеркивания и вписывания) отмечаются только те, которые представляются существенными в смысловом или стилистическом отношении.

Варианты к „другим редакциям“, а также к письмам даются в подстрочных сносках. Цифра сноски ставится при последнем слове варьирующего словосочетания.[11] Варианты к основному тексту приводятся по схеме:

Вместо „баклажки“: баклажки с водою.

В тех случаях, когда необходима точная

мотивировка текста с указанием на источники каждого варианта, применяется другой способ подачи вариантов, а именно: „не могли его сыскать“ *М*; *П* — не могли сыскать его; *РЛ1* — не могли его найти.

То есть: чтение „не могли его сыскать“, принятое в основном тексте, основано на чтении „Миргорода“ 1835 г. (*М*); в издании Прокоповича (*П*) это место переделано на „не могли сыскать его“. Рукопись, обозначаемая здесь шифром *РЛ1*, дает чтение „не могли его найти“.

Сокращенные обозначения рукописных источников, как правило, состоят из двух букв и цифры-индекса: *РМ2*, *РЛ3*, *РК1* и т. п. Первая буква *Р* означает, что источник рукописный; вторая буква — *М*, *Л*, *К* — указывает на место хранения рукописи (Москва, Ленинград, Киев); цифра-индекс имеет чисто условное значение. Сокращенные обозначения раскрываются полностью в комментарии к соответствующему произведению.

Орфография в издании принята современная; сохраняются только те особенности гоголевских написаний, которые могут свиде-

тельствовать об особенностях произношения или особенностях употребления грамматических форм; сохраняется, напр., написание „в постеле“ (с заменой конечного „ять“ на „е“), так как оно указывает на им. падеж „постеля“. Украинские цитаты в тексте приводятся с точным соблюдением орфографии Гоголя — опускаются лишь конечные „ъ“.

Каждый том издания сопровождается комментарием, состоящим из общего введения и комментариев к отдельным произведениям. В комментарии к произведению указываются текстовые источники (с приведением их условных обозначений), дается мотивировка выбора основного текста, история написания и печатания произведения, а также — в сжатом виде — указания на историко-литературную проблематику произведения и характеристика основных моментов критической борьбы вокруг произведения (преимущественно прижизненной).

Письма Гоголя полностью комментируются в настоящем издании впервые (издание Шенрока ограничивалось случайными, несистематическими примечаниями). Задачи

комментария к письмам: мотивировка даты (если авторской даты нет или она ошибочна); сведения о письме, на которое данное письмо является ответом; сведения об адресатах и других упоминаемых лицах; раскрытие биографических и иных намеков письма.

Издание иллюстрируется снимками с прижизненных портретов Гоголя, с его рукописей, с обложек и титульных листов его изданий. Гоголевские автографы воспроизводятся не с чисто иллюстративной целью, а с целью документации текста и комментария: приводятся типические образцы гоголевской работы, а также места, особо интересные или спорные в текстологическом отношении.

Указатели имен даются только при томах статей и писем; сводный указатель имен по всему изданию будет дан при последнем томе. При томах писем помещаются даты жизни Гоголя за соответственные годы.

Вас. Гиппиус. Н. В. Гоголь

I.

В конце 1828 года двое друзей, питомцев Нежинской Гимназии высших наук, покинули родные украинские усадьбы и отправились в северную столицу — „служить“, втайне мечтая не столько о службе, сколько о широком жизненном пути, о счастье, о славе. Один был Александр Семенович Данилевский, впоследствии безвестный чиновник, педагог и помещик, другой — Николай Васильевич Гоголь-Яновский. Оба друга везли с собой рекомендации влиятельного магната и бывшего министра, Д. П. Трощинского, а Гоголь, втайне даже от своего спутника, вез романтическую поэму „Ганц Кюхельгартен“, которой надеялся начать литературное поприще. Вскоре, правда, выяснилось, что не только рекомендации экс-министра помогли мало, но и поэма, напечатанная под псевдонимом В. Алова, не оправдала надежд. Однако будущая дорога была угадана верно: при всех колебаниях в выборе профессии, Гоголь уверенно двигался вперед именно как писатель.

Через два с половиной года — летом 1831 г. — в Царском Селе (нынешнем г. Пушкине) происходят знаменательные встречи. Встречаются писатели трех поколений: Жуковский, переживавший на 48-м году жизни новый прилив творческой энергии, Пушкин, достигший вершины творческой зрелости, и едва начинающий 22-летний Гоголь. 10 сентября 1831 г., услышав о новых сказках, окончанных Жуковским и Пушкиным, Гоголь писал Жуковскому: „Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии; страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол на славу векам“. На глазах Гоголя действительно „воздвигалось огромное здание“ национальной русской литературы, и одним из зодчих этого здания стал сам Гоголь, — продолжатель пушкинского дела в литературе и в то же время пролагатель новых путей, а вскоре и глава новой литературной школы.

Гоголь родился 20 марта (1 апреля н. с.) 1809 г. в местечке Сорочинцах Миргородского уезда Полтавской губ., а детство провел в име-

нии родителей — Васильевке, того же уезда. Отец его, Василий Афанасьевич Гоголь, был довольно состоятельным помещиком, владельцем нескольких сот крепостных крестьян (до 400) и свыше 1000 десятин земли. Культурный уровень среды, к которой принадлежали Гоголи-Яновские, был сравнительно высоким. Соседские и дружеские отношения связывали их с Капнистами, — семьей знаменитого автора „Ябеды“; в семье этой своими людьми были представители передовой молодежи 20-х годов и в их числе ряд будущих декабристов — Муравьевы-Апостолы, Лорер; бывал здесь и Пестель. Люди того же круга встречались и в доме жившего на покое „вельможи“ Трощинского. Гоголи были с Трощинскими в родстве и на правах родственников пользовались его богатой библиотекой, принимали участие в его домашнем театре. Сам В. А. Гоголь писал для этого театра комедии на украинском языке; одна из них, близкая по сюжету к „Москалю-чарівнику“ И. Котляревского — „Простак, або хитроці жінки, перехитреної солдатом“ — сохранилась; отклики ее можно встретить в „Сорочинской

ярмарке“ Гоголя-сына.

Нежинская „Гимназия высших наук“, в которой Гоголь учился, была одной из лучших школ, какую можно было найти в условиях тогдашней украинской провинции. Гоголь учился в Гимназии с 1821 по 1828 год — в бурные годы декабристского движения, восстания и его разгрома. Как ни удалена была закрытая нежинская школа от исторических бурь, — они не могли в ней не отзываться во все. Пансионеры не только следили за журналами, за „Полярной Звездой“, за выступлениями в печати Пушкина, они привозили из отпуска нелегальную рукописную литературу, в том числе пушкинскую оду „Вольность“; в Гимназии началось даже целое дело о чтении воспитанниками запрещенной литературы. Откликами общественно-исторических событий было и дело о „вольнодумстве“ учителей, начавшееся в 1827 г.

В этом пресловутом „деле“ прогрессивная профессура, во главе с Н. Г. Белоусовым, инспектором Гимназии и профессором римского права, была в конце концов затравлена реакционной частью профессуры, добившейся к

1830 г. разгрома Гимназии. В „дело“ втянуты были как свидетели и учащиеся. Гоголь во всем этом деле был всецело на стороне Белоусова и показания давал в его пользу.

Вообще обычные представления об исконном консерватизме Гоголя, о верноподданнических, а также о религиозно-мистических традициях, вынесенных им из домашней среды, представляются натяжкой. Если и нет данных для сколько-нибудь четкой характеристики общественно-политического лица юноши-Гоголя, — то нет основания и отделять Гоголя от его прогрессивно настроенных сверстников. Вместе с ними Гоголь мечтал о „служении государству“, но мечтал из желания — пусть абстрактного — принести пользу родине, а не из верноподданнических побуждений.

Ранние литературные опыты Гоголя, к сожалению, почти не дошли до нас,[12] однако заглавие и план сатиры „Нечто о Нежине, или дуракам закон не писан“ говорит о том, что сатирическое изображение действительности не чуждо было Гоголю и в эти ранние годы. В то же время юмор Гоголя проявлялся в

формах весьма разнообразных, но еще не получавших литературного выражения: в шутках, метких характеристиках, в исполнении комических ролей на школьной сцене.

История двух первых лет петербургской жизни Гоголя в настоящее время освобождена от тех недоразумений, которыми она в течение многих лет была затуманена. Так, должна быть отброшена, как противоречащая фактам, легенда, пущенная в ход в клеветнических целях Булгариным: будто по его, Булгарина, протекции Гоголь поступил на службу в 3-е отделение. Эту мнимую службу некоторые биографы Гоголя пытались даже представить показательной для общей его позиции. На самом деле, если Булгарин и предлагал Гоголю свою протекцию, Гоголь от нее, как и вообще от службы, уклонялся. Только осенью 1829 г., вернувшись из своей первой — так внезапно осуществленной — заграничной поездки, Гоголь, при содействии своего родственника А. А. Трощинского (племянника министра), поступил на службу в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел, а

затем — при помощи уже новых литературных связей — перешел в Департамент уделов. В Департаменте уделов, служа под начальством поэта-идиллика В. Панаева, Гоголь сравнительно скоро (через 3 месяца после поступления) дослужился до должности помощника столоначальника. На этом его служебная карьера кончилась. Личные департаментские впечатления дали, конечно, очень много будущему автору „Записок сумасшедшего“, „Утра чиновника“ и „Шинели“, но службой он явно тяготился. Как только перед ним открылась возможность более живого и близкого ему дела — преподавания истории в Патриотическом институте, — он бросает департаментскую службу навсегда. Выйти на педагогическую дорогу помог Гоголю П. А. Плетнев. Литературные связи Гоголя вообще постепенно расширяются. Видимо, еще в 1829 г. он познакомился с О. М. Сомовым, украинцем по происхождению, беллетристом, критиком, вскоре соредактором Дельвига по „Литературной Газете“. Сомов сочувственно отозвался в „Северных Цветах“ даже о „Ганце Кюхельгартене“, а затем о дебютной повести Гоголя —

„Вечер накануне Ивана Купала“. При очевидном содействии Сомова Гоголь печатает в „Северных Цветах на 1831 год“ главу из „Гетьмана“, а в „Литературной Газете“ 1831 г. — главы „Страшного кабана“, статью о преподавании географии и очерк „Женщина“. Сомов в собственных своих повестях был предшественником Гоголя как повествователь на украинские темы; Сомов же как писатель, близкий к пушкинскому кругу, был, вероятно, и посредником в знакомстве Гоголя с Жуковским и Плетневым. Поэтому значение Сомова в литературной биографии Гоголя очень существенно, хотя особой личной близости между ними, кажется, не было.

Литературный путь Гоголя понемногу становится ясен для него самого. Если он и переходит от замысла к замыслу — от комических бытовых повествований „Сорочинской ярмарки“ и „Страшного кабана“ к сказочной фантастике „Вечера накануне Ивана Купала“ и к исторической тематике „Гетьмана“ — все эти замыслы объединены вниманием к родной Украине, ее прошлому и настоящему, ее быту и фольклору. Еще в апреле и мае 1829 г.

Гоголь в письме к матери просит присылать ему материалы об обычаях, поверьях, преданиях украинцев. Он выписывает из дому и „папенькины малороссийские комедии“, объясняя при этом матери: „Здесь так занимает всех всё малороссийское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну из их поставить на здешний театр“.

Материалы, присланные матерью, были широко использованы Гоголем в повестях, составивших „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Самый же интерес к Украине возник у Гоголя, несомненно, задолго до приезда в Петербург. Воспоминания нескольких товарищей Гоголя свидетельствуют о том, что еще гимназистом Гоголь охотно знакомился с крестьянами, бывал на крестьянских свадьбах; хорошо известны были ему и комедии отца и украинский народный кукольный театр (вертеп). Народные сказки несомненно были ему также памятливы с детства.

Большой запас украинских впечатлений — впечатлений реальной жизни и образов народной поэзии, внимание к зарождающейся в те годы национальной украинской

культуре — были плодотворны для Гоголя. Но он пошел иным путем, чем Ив. Котляревский и Гулак-Артемовский: он вошел в историю как деятель русской культуры. Украинский элемент был внесен им в русскую литературу с гораздо большей силой и блеском таланта, чем могли это сделать его предшественники — Нарезный, Сомов и др. Но украинский элемент не остался ни единственным, ни даже главным в его творчестве. В то время, когда новая украинская литература едва формировалась, а русская достигла в Пушкине своей вершины, Гоголь об руку с Пушкиным включился в создание русской литературы, оказав решительное влияние на всё дальнейшее ее развитие.

Исключительно важным фактом литературной биографии Гоголя было знакомство, а затем и сближение его с Пушкиным. Познакомил их Плетнев. Еще 22 февраля 1831 г. в письме к Пушкину (в Москву) Плетнев обращал внимание Пушкина на отрывки и статьи Гоголя, напечатанные в „Северных Цветах“, и так характеризовал их автора: „Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть

к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает“.

Через несколько месяцев, в мае, когда Пушкин приехал в Петербург, на вечере у Плетнева Гоголь был „подведен под благословение“ Пушкина, и в то же лето они познакомились еще ближе, встречаясь в Царском Селе (Гоголь проводил лето в Павловске в качестве домашнего учителя кн. Васильчиковой).

Традиционное представление о дружбе Гоголя с Пушкиным не раз пытались опорочить; между тем его нужно только уточнить. Если это и не была дружба в обычном смысле слова, в смысле полного равенства, то не подлежит сомнению, что Гоголь нашел в Пушкине старшего товарища, литературного руководителя, проницательного критика и, вместе с тем, образец „взыскательного художника“, литературного деятеля, проникнутого сознанием своей исторической ответственно-

сти. Не должно вызывать сомнений и значение этих отношений для всего дальнейшего развития Гоголя.

В это время уже печатались „Вечера на хуторе близ Диканьки“, в которых Гоголь, по совету Плетнева, выступил под „строжайшим инкогнито“ в гриме пасичника Рудого Панька. Пушкин лучше всех оценил значение этой книги, восторженно восклицая в своем отзыве: „Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность!“ Пушкин противопоставил книгу Гоголя классово-ограниченной литературе, ориентированной на „большой свет“ („жеманной“ и „чопорной“); Пушкин оценил уже в первых четырех повестях Гоголя то, что делало Гоголя подлинно-народным писателем: искреннюю веселость, поэзию и чувствительность, уходившие корнями в веселость и поэзию народных сказок и песен. Книга Гоголя была романтической по основам своего метода, но в общеевропейском романтизме Гоголь усвоил одну из наиболее прогрессивных его сторон: непосредственное обращение к

фольклорным источникам как к образцам. Смех Гоголя в „Вечерах“ был тоже смехом народным в своих основах, смехом сказок-анекдотов и кукольного театра. Но смех этот несводим к „безотчетному“ смеху для смеха — как пытался позже истолковать сам Гоголь „смешные лица и характеры“ своих ранних повестей. В „смешных характерах“ „Вечеров“ уже намечались реалистические характеры будущих произведений Гоголя; выбор „простых“ героев и подлинное „просторечие“ в языке действующих лиц и рассказчика-пастуха также делали книгу существенным этапом на пути к художественному реализму. Важна была и другая сторона, отмеченная Пушкиным в словах: „А местами какая поэзия! какая чувствительность!“ Гоголь в „Вечерах“ был первым после Карамзина большим поэтом среди прозаиков; в дальнейшем же развитии русской литературы проза Карамзина, не говоря уже о прозе Марлинского, была заслонена „Вечерами“, и вся позднейшая русская „поэзия в прозе“ вырастает из прозы „Вечеров на хуторе“.

В своей итоговой формулировке: „Всё это

так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился“ — прав был Пушкин, а не позднейшие литературоведы (Котляревский и др.), утверждавшие, будто Гоголь „на первых порах пошел старой дорогой“.

Итогом полемики, разгоревшейся вокруг „Вечеров“, было почти безусловное общее признание Гоголя; примкнул к нему и главный противник Гоголя, Н. Полевой. Но отдельные ноты в этой полемике — упреки в грубости, неопрятности, простонародности — уже обещали будущую жестокую борьбу литературно-общественной реакции с Гоголем. Две стороны гоголевского творчества, наметившиеся в „Вечерах“, определили и его дальнейший путь: „настоящая веселость“ — юмор, основанный на умении „угадать человека“ (выражение „Авторской исповеди“), и поэтическое изображение Украины в ее настоящем и особенно в ее прошлом, основанное на образах и лиризме народной поэзии.

Ближайшие за выходом „Вечеров“ годы — 1832–1834 — были очень значительны и в личной жизни Гоголя и в его творческой эво-

люции. Гоголь завязывает ряд новых личных отношений. Среди них — М. П. Погодин, впоследствии руководитель консервативного „Москвитянина“, но в эти годы настроенный хотя и умеренно, но скорее прогрессивно, приятель Пушкина, историк и беллетрист — автор повестей и пьес, одобренных Пушкиным; С. Т. Аксаков — близкий к театральному миру, издавна неизменно привлекательному для Гоголя; М. С. Щепкин — еще более близкий к этому миру — замечательный актер, выкупленный из крепостной неволи, украинец по происхождению, сохранивший любовь к родной Украине; М. А. Максимович, знаток Украины и украинского фольклора, издатель украинских песен. Все эти важные для автора „Вечеров“ отношения завязаны впервые в 1832 г. в Москве, где Гоголь был проездом в родную Васильевку и обратно. В Петербурге же, кроме Пушкина, главного литературного руководителя Гоголя, кроме отношений с Жуковским, с Плетневым, завязываются новые — с Вл. Одоевским, писателем-романтиком, повести которого отчасти близки раннему Гоголю сочетанием фанта-

стики и сатирико-реалистических тенденций. В то же время вокруг Гоголя группируется более тесный приятельский круг, состоящий из нежинских „однокорытников“ и петербургской литературной молодежи. По словам П. В. Анненкова, участника этого кружка, — „на этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и другие анекдоты служили пищей...“ Здесь из застольных бесед Гоголь черпал материалы для своих повестей („Записки сумасшедшего“, „Шинель“). Кроме Анненкова, участниками кружка были Н. Я. Прокопович, Н. В. Кукольник, В. И. Любич-Романович — всё нежинцы, причастные к литературе.

II.

Ни успех „Вечеров“, ни новые знакомства еще не сделали из Гоголя профессионального писателя, и проблема деятельности оставалась для него нерешенной в течение еще нескольких лет. Его официальная профессия — учитель истории. Вокруг этой профессии он пытается одно время сосредоточить и свои литературные труды, замышляя то „Все-

общую историю и всеобщую географию“ под названием „Земля и люди“, то „Историю“ — „малороссийскую“ и „всемирную“. В то же время усиливаются интересы Гоголя к украинским песням, он сам собирает их по книжным и рукописным источникам и в переписке с Максимовичем оживленно обсуждает вопросы собирания и изучения песен.

Словом, в эти годы — 1832–1834 — Гоголь самоопределяется как литературный деятель с преобладающим интересом к Украине, ее истории и фольклору, но историк или беллетрист — это, вероятно, не было ясно для него самого. Самый жанр задуманных им „историй“ вряд ли был для него вполне ясен: это не то учебные пособия, не то научные труды, не то полубеллетристические произведения, вроде статьи его об украинских песнях или тех начальных глав украинской истории, о которых он сам писал Погодину: „Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, неисторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!“

Позднейшие критики не раз обвиняли Гоголя в историческом диллетантизме, а кое-кто из них и в прямой хлестаковщине. Но они не учитывали, что в общем литературно-научном сознании этой поры границы между „науками“ и „словесностью“, в частности, между историей и историческим романом были еще зыбки. Значение исторических занятий Гоголя нельзя преуменьшать. Это была та лаборатория, в которой готовилась гениальная повесть о Тарасе Бульбе. Углубление в историю, — в частности в историческую героиню XVII века, — представляло для Гоголя не один академический интерес: это было своеобразной реакцией на современность. Для самого Гоголя и для его окружения героическое прошлое украинского народа эпохи национально-освободительных войн противостояло душной атмосфере полицейского государства. Увлечение историческими источниками соединялось при этом с усвоением вальтер-скоттовских традиций исторического романа. Но и в Вальтер-Скотте Гоголя привлекал прежде всего его исторический реализм, мастерство повествования, его образы

простых и мужественных героев. По свидетельству Анненкова, „Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задабривать его в пользу автора...“

Учительскую деятельность свою Гоголь не мог не признавать случайной, хотя преподавал он именно историю. Но в конце 1833 года Гоголю представилась возможность соединить еще прочнее практическую деятельность со своими научно-литературными интересами. В Киеве открывался университет. Максимович переводился туда из Москвы на кафедру словесности и соблазнял Гоголя мыслью добиваться кафедры истории в Киевском университете. Гоголь восторженно отнесся к этой идее своего друга. „Представь, я тоже думал. Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их“ — писал он, противопоставляя себя и Максимовича, подлинных украинских патриотов, царским чиновникам. „Да, это славно будет, если мы займем

с тобой киевские кафедры: много можно будет наделать добра“. В письме к Пушкину он раскрывал точнее содержание этого „добра“. „Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу Всеобщую историю... А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!“ Искреннее воодушевление Гоголя этой идеей подтверждается его интимным, для себя одного написанным лирическим обращением к наступающему 1834 году и, вместе с тем, к своему „гению“:

„О, не разлучайся со мною!.. Я совершу... Я совершу. Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны...“

Киевская кафедра открывала перед Гоголем широкую дорогу ученого-историка, фольклориста, краеведа, писателя; тем самым реализовалась и давняя юношеская мечта Гоголя об истинно полезной службе, — мечта, развеянная без следа действительностью петербургских департаментов. Очевидно, художественное творчество Гоголь еще не осознал ни как общественно-самоценную деятель-

ность, ни как единственное подлинное свое призвание.

О киевской кафедре для Гоголя принялись хлопотать перед министром Уваровым Пушкин и Жуковский. В ожидании кафедры Гоголь срочно готовит для „Журнала Министерства народного просвещения“ сначала „План преподавания всеобщей истории“, затем первую главу своей так никогда и не доведенной до конца украинской истории („Взгляд на составление Малороссии“) и, наконец, статью „О малороссийских песнях“. Хлопоты Пушкина и Жуковского потерпели неудачу в самом важном для Гоголя пункте: Гоголь не был назначен в Киев; ему был предпочтен более сильный кандидат, кадровый историк — Цых. Правда, Гоголь был компенсирован должностью адъюнкта-профессора в Петербургском университете (с осени 1834 г.). Но это назначение, — казалось бы, почетное для начинающего историка, — разрушало гоголевский замысел в самой его основе. Единство интересов и деятельности распадалось. Стимулов к продолжению „Истории Украины“, к собиранию и изучению украинских песен уже не

было. Лекции в университете по истории средних веков становились мало-помалу тяжелой служебной обузой — и только. Конечно, старинная версия о хлестаковщине Гоголя на кафедре должна быть отброшена. Огромное количество гоголевских черновых записей, конспектов и планов свидетельствует о том, что Гоголь добросовестно готовился к лекциям, привлекал к делу обширную литературу на русском и французском языках, а некоторые свои лекции тщательно обрабатывал даже и стилистически, готовя их к печати. Но грандиозные исторические замыслы его вскоре сошли на нет. Зато при первой вести о вновь организованном в Москве *литературном* журнале Гоголь оживает и выражает готовность быть самым активным его участником. В то же время, отрываясь от подготовки к лекциям или, как сам он выражался, от „казенной работы“, Гоголь работает над двумя книгами, которыми подводит итог всему, что им было написано за три последние года.

В начале 1835 г. вышли в свет обе эти книги (точнее, четыре, так как каждая была в

двух выпусках) — „Арабески“ и „Миргород“. „Миргород“ самим Гоголем рассматривался как продолжение „Вечеров на хуторе“, хотя маска Рудого Панька была здесь вовсе отброшена. Но это было не простое продолжение, а новая и высшая ступень. На высшую ступень по сравнению с „Вечерами“ поднята в „Ви́и“ народная сказочная фантастика, этнографически во многом верная, но проникнутая глубоким лиризмом и в то же время нужная поэту для контраста с замечательным, подлинно-реалистическим характером Хо́мы Брута. Героика „Страшной мести“ и „Гетьмана“ с неизменно большей художественной и исторической убедительностью развита была в „Тарасе Бульбе“ (ранней редакции, еще не достигшей той цельности и стройности, какие приданы были повести позже). А из первого опыта украинского бытописания, из фрагмента повести о Шпоньке — выросли две замечательные и многозначительные в истории русской литературы повести — „Старосветские помещики“ и „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“. Зоркостью и тонкостью реалистического вос-

произведения жизни, глубиной в разработке характеров и многообразием оттенков юмора — от грустно-лирического до обличительного — повести эти уже обещали эпопею „Мертвых душ“.

Вторую свою книгу — „Арабески“ сам Гоголь в шутку определял: „сумбур, смесь всего, каша“. Статьи по вопросам истории, педагогики, литературы, живописи, архитектуры — были перемешаны здесь с отрывками из неоконченного „Гетьмана“ и с „петербургскими“ повестями („Портрет“, „Невский проспект“, „Записки сумасшедшего“). Возникшая в атмосфере романтических идей — эстетических и исторических, — книга эта отразила и дальнейшую эволюцию Гоголя в направлении реалистического мировоззрения и метода.

В условиях суровой политической реакции 30-х годов, в условиях реакции идеологической, провозгласившей лозунг самодержавия, православия и реакционно понимаемой „народности“, в годы, когда дворянские литераторы объединились для борьбы с „грязной“ реалистической литературой во имя светских

приличий — два замечательных сборника Гоголя были голосом наиболее передовой общественности. Юмористическая наблюдательность, уже в „Вечерах“ сказавшаяся в отдельных характеристиках, теперь распространяется на общественную среду. За единичными характерами раскрывается „пошлость всего вместе“, т. е. пошлость как категория социальная. Гоголь начинает наблюдать ее и в захолустье Миргородской усадьбы, и в квартире столичного бюрократа; силой своего смеха он осмысливает и разоблачает пошлость.

Другой элемент гоголевского творчества — его внимание к поэтическому и героическому прошлому Украины, — углубляясь в свою очередь, противостоит его комическим изображениям; в казацкой вольнице, в ее борьбе с иноземными захватчиками за свободу родины Гоголь видит противовес ничтожеству и пошлости миргородских и петербургских „существователей“, видит то положительное начало, которого не доставало николаевской России 30-х годов, этой „тинистой реке“, как назвал ее Герцен. Противостоял реакционной современности и новый элемент гоголевского

творчества, в „Вечерах“ еще едва намеченный, — „глубокое чувство грусти и уныния“ (выражение Белинского), вызванное наблюдениями и раздумьями над жизненными диссонансами, над „вечным разладом мечты и сущности“ („Невский проспект“).

Из воспоминаний И. С. Тургенева мы знаем, что в последние годы жизни Гоголь пытался с „Арабесками“ в руках доказывать единство и непрерывность своего идейного пути и, стало быть, консервативные тенденции „Арабесок“. Это было несомненной тяжестью: всё, на что мог Гоголь опереться, это несколько официально звучащих фраз своей официальной же статьи о преподавании истории. Общие тенденции исторических, а также эстетических статей „Арабесок“ были совершенно иными, и прав был Анненков, когда указывал: „В эту эпоху Гоголь был склонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его“.

Действительно, тема исторического про-

гресса и его закономерности отчетливо звучит в „Арабесках“. Особенное значение из всех статей, вошедших в „Арабески“, имеет небольшая статья „Несколько слов о Пушкине“. Здесь не только даны точные и глубокие определения пушкинского творчества, но установлены и эстетические принципы самого Гоголя: истинная „национальность“, состоящая „не в описании сарафана, но в самом духе народа“, верность действительности, и законность *обыкновенного* в искусстве („чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина“), наконец — стремление к „внутренней неприступной поэзии, отвергнувшей всякое грубое пестрое убранство“.

Но наиболее значительной составной частью „Арабесок“ были включенные в них три петербургские повести. Еще в первых письмах к матери Гоголь уже набрасывал общую картину императорской столицы, сочетая в этих набросках мрачные и веселые краски: „Тишина в нем необыкновенная, никакой дух

не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, всё подавлено, всё погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поровнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной приправляет телодвижениями и размахками рук“.

К этим первым впечатлениям прибавились не только повседневные наблюдения над уличной толпой, не только беглое знакомство с миром художников (см. письмо к матери от 3 июня 1830 г. с восторженными отзывами об этой среде), но и длительные впечатления службы в двух департаментах, под начальством всевозможных „значительных лиц“, рука об руку с Поприщинными и Башмачкиными („Шинель“ была написана несколькими годами позже). Романтические по своим исходным тенденциям, три повести о гибели несчастных мечтателей-тружеников были насыщены острой социальной пробле-

матикой, если и не оформленной в своем положительном содержании, то художественно тем более убедительной, что сквозь романтический замысел во всех повестях, особенно в двух последних, пробивался очень смелый реализм характеров и бытовых изображений. В „Портрете“ и „Невском проспекте“ намечается эстетическая проблематика и отчасти повествовательная манера „Мертвых душ“; в образах и юморе „Невского проспекта“ и „Записок сумасшедшего“ заложены основания для „Ревизора“ и других гоголевских комедий.

Новые повести Гоголя встречены были скорее „небрежной похвалой“, чем „едким осуждением“ большей части критики; только „Повесть о том, как поссорился“ вызвала нападки и возмущение, отчасти предвосхищавшие бури вокруг „Ревизора“ и „Мертвых душ“. Но кроме беглых, хотя и очень содержательных приветственных замечаний Пушкина о „Старосветских помещиках“, „Тарасе Бульбе“ и „Невском проспекте“ — в критике раздался один только голос, оценивший повести Гоголя по достоинству, установивший для них верную историко-литературную перспективу.

Это была замечательная статья Белинского „Русской повести и повестях Гоголя“, напечатанная в „Телескопе“ в том же 1835 году. После общего теоретического введения, где устанавливалось два типа поэзии — „идеальная“ и „реальная“ (как равно законные в современности) и отмечалась в пределах „реальной поэзии“ особая актуальность *повести*; после обзора повестей современников Гоголя — Марлинского, Вл. Одоевского, Погодина, Полевого и Павлова — Белинский рассмотрел повести Гоголя — „поэта жизни действительной“. Он резюмировал их отличительные черты: „простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность“ и, наконец, особая индивидуальная черта: „комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния“. О статье Белинского, об ее содержании и значении не раз приходится говорить в комментариях к настоящему изданию; здесь отметим только, что Белинский с исключительной проницательностью угадал в молодом еще писателе явление первостепенного литературного значения. В Гоголе был угадан великий русский

писатель, наследник и продолжатель дела Пушкина. По свидетельству Анненкова, Гоголь „был доволен статьей и более чем доволен: он был осчастливлен статьей“. Статья Белинского не только вызвала сочувствие Гоголя отдельными своими мыслями (о чем также вспоминает Анненков), — она несомненно помогла Гоголю окончательно самоопределиться, отказаться от иллюзий, связанных с профессурой и с научно-историческими замыслами, и окончательно сознать себя писателем.

К тому же итоги первого года гоголевской профессуры были очевидны: профессура не удалась. Воспоминания слушателей Гоголя единодушно отмечают, что лекции Гоголя, за двумя-тремя исключениями, были вялы и бледны. Показательны и самые эти исключения. Гоголь читал увлекательные, даже блестящие лекции тогда, когда работал над ними как художник: лекции эти вошли в „Арабески“. Но в то время, как адъюнкт-профессор С.-Петербургского университета Н. В. Гоголь-Яновский был не выше среднего уровня (а по эрудиции и ниже его), — автор „Тараса

Бульбы“ Гоголь давал гениальные исторические обобщения. Понять это, понять самого себя помогла Гоголю прежде всего замечательная статья Белинского.

III.

Белинский поддержал Гоголя в тот момент, когда литературные отношения Гоголя складывались не очень благополучно. Московский журнал, на который так рассчитывал Гоголь, не оправдал его надежд. Напрасно Гоголь в письмах к Погодину внушал ему свою программу журнала („Да чтобы смеху, смеху, особенно при конце! Да и везде недурно нашпиговать им листки. И главное, никак не колоть в бровь, а прямо в глаз“); напрасно советовал „пустить его непременно подешевле“, чтобы „оттянуть привал черни к глупой Библиотеке“ (т. е. к „Библиотеке для Чтения“ Сенковского). Новый журнал — „Московский Наблюдатель“ — был организован по типу салонного журнала для немногих и сразу же занял позицию аристократической отрешенности и замкнутости (статья Шевырева „Словесность и торговля“). Повесть Гоголя „Нос“, написанная для этого журнала, была отвергнута

редакцией (повидимому, по настоянию Шевырева) — как „грязная“. В то же время в отзыве на „Миргород“ Шевырев пытался повлиять на Гоголя, переключить его творчество на изображение „хорошего общества“. Гоголь становился предметом сложной литературно-общественной борьбы.

В борьбе этой Пушкин оставался неизменным союзником и руководителем Гоголя. К знаменательному в биографии Гоголя 1835 году относятся два эпизода первостепенного значения, и оба они связаны с именем Пушкина.

В этом именно году Гоголь по совету Пушкина приступил к работе над „Мертвыми душами“. Известно из показаний самого Гоголя, что Пушкин не только внушил Гоголю самую мысль большого сочинения, с широким охватом разнообразного жизненного материала, но и уступил ему собственный сюжет, „из которого он хотел сделать что-то вроде поэмы“. В письме 7 октября 1835 г. Гоголь уже извещает Пушкина: „Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на длинный роман и, кажется, будет сильно смешон... Мне хочется в этом

романе показать хотя с одного боку всю Русь“. И в том же самом письме — просит у Пушкина сюжета, „анекдота“ для комедии, обещая „духом“ написать комедию из пяти актов и „смешнее чорта“.

Впоследствии, в „Авторской исповеди“, воссоздавая историю своего писательского пути, Гоголь к этому именно времени прикреплял свой поворот в сторону серьезного комизма с общественно-сатирическими заданиями. „Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего“. Так возник „Ревизор“ на основе „анекдота“, сообщенного и на этот раз Пушкиным.

В эту автобиографическую схему должны быть внесены, конечно, поправки: Гоголь слишком выравнял и выпрямил линию своего развития. „Миргород“ и петербургские повести, полностью написанные за год до работы над „Ревизором“, никак не покрываются формулой беззаботного смеха: обличительные задания, переход юмора в социальную

сатиру совершенно очевидны в обоих циклах, в особенности — в „Повести о том, как поссорился“ и в „Записках сумасшедшего“. Но „Записки сумасшедшего“ впитали в себя элементы другого, еще более раннего, заведомо сатирического замысла — замысла комедии, разоблачающей столичную бюрократию — „Владимир 3-й степени“.

Мысль о комедии занимала Гоголя давно. С. Т. Аксаков отметил интерес Гоголя к комедии и „оригинальный взгляд“ на нее еще в 1832 г. В начале 1833 г. друзья Гоголя уже знают из его писем, что им начата комедия „с правдой и злостью“ — „Владимир 3-й степени“, но что перо его „так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит“. За неоконченной комедией последовала новая — „Женихи“, первый очерк „Женитьбы“; обе комедии Гоголь читает своим литературным приятелям, сведения о них проникают и в печать. Гоголь готовит одну из них („Женихи“) и для сцены, но, неудовлетворенный своими первыми опытами, с необычайной энергией принимается за новый замысел, подсказанный Пушкиным. Комедия, дей-

ствительно, поспеваает „духом“ — в декабре 1835 г. уже отдается в переписку, в начале 1836 г. — в цензуру и затем на сцену.

Конец 1835 и начало 1836 г. — период особенно интенсивного литературного общения Гоголя с Пушкиным. Гоголь читает Пушкину первые главы первой (не дошедшей до нас) редакции „Мертвых душ“; неожиданно для самого автора, они заставляют Пушкина воскликнуть: „Боже, как грустна наша Россия!“ В журнал свой, начатый в 1836 г. — „Современник“, — Пушкин привлекает Гоголя как ближайшего сотрудника. В журнале этом появляется сочувственная рецензия Пушкина на второе издание „Вечеров“. Здесь нашел себе приют и забракованный „Московским Наблюдателем“ „Нос“.

Первый номер „Современника“, вышедший в свет в апреле 1836 г., был значительным фактом в литературной биографии Гоголя. Гоголь выступил здесь не только как писатель-беллетрист („Коляской“ и „Утром чиновника“, которое цензура переименовала в „Утро делового человека“), но и как критик, статьей на ответственную тему „О движении

журнальной литературы в 1834–1835 гг.“ (напечатанной без подписи). Смелый голос Гоголя, резко осудивший „литературное безверие и литературное невежество“ большей части современных ему журналов и, прежде всего, популярной „Библиотеки для Чтения“ Сенковского, вызвал горячий сочувственный отклик в рецензии Белинского и ожесточенные нападки реакционной и обывательски-беспринципной прессы. Война была объявлена; с этих пор и Сенковский и Булгарин начинают систематическую травлю Гоголя. Пушкин на поднявшийся шум реагировал не сразу. В конце концов он решил выступить под маской тверского помещика А. Б. с полуиронической защитой Сенковского от некоторых, как раз наименее существенных пунктов гоголевских нападок, а от себя, как издателя, прибавил только разъяснение, что статья „О журнальной литературе“ не есть программа „Современника“. Разделяя все основные гоголевские оценки, Пушкин не считал нужным затягивать журнальную полемику; полемика вообще не входила в задачи его журнала иначе, как в тонкой и прикрытой форме. Для

дальнейших отношений Гоголя к „Современнику“ пушкинский ответ решающего значения иметь, однако, не мог уже потому, что четырьмя месяцами раньше Гоголь уехал за границу и постоянным сотрудником журнала всё равно переставал быть. „Нос“ и „Петербургские записки 1836 года“ были напечатаны уже в его отсутствие.

Статья в „Современнике“ восстановила против Гоголя журналы, задетые в этой статье непосредственно. Но через неделю после выхода в свет книжки — 19 апреля 1836 года — Гоголь стал виновником уже настоящей бури и не в одних литературных кругах — как автор поставленного в этот день на петербургской Александринской сцене „Ревизора“.

Гениальная литературная новизна „Ревизора“ (даже в первой его, далеко еще не совершенной редакции), неразлучная с большой социально-политической остротой и актуальностью, ошеломила современников. На стороне Гоголя было всё передовое в литературе и в жизни; политическая и литературная реакция либо открыто боролась с Гоголем, либо делала вид, что ничего не произошло, что „Ре-

визор“ — всего лишь безобидный и забавный фарс, а обличение взяточников вполне соответствует видам самого правительства.

Но значение „Ревизора“, конечно, несводимо было к обличению единичных злоупотреблений. Обличал злоупотребления — в тесных рамках классической комедии — еще Капнист (в „Ябеде“); причем герои Капниста были гораздо более преступны, чем герои Гоголя с их „борзыми щенками“ и прочими „грешками“. Замечательная новизна „Ревизора“ в том и заключалась, что здесь выступило наружу всё, что „ежеминутно перед очами“, что стало бытовым явлением, что по мнению обывателей „самим богом устроено“ и удивляет разве „волтерьянцев“. „Герои мои вовсе не злодеи“ — писал впоследствии Гоголь о героях „Мертвых душ“: „прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей“. Это определение полностью применимо и к „Ревизору“. Впечатление от него было тем сильнее и для вдумчивого зрителя тем страшнее, что показаны не театральные злодеи, а „нормальные“

пошляки, показано не исключительное, а типичное. „В «Ревизоре» — вспоминал Гоголь позже — я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем“. („Авторская исповедь“). Таким образом, в „Ревизоре“ осуществилась мечта Гоголя о комедии „с правдой и злостью“, о комедии общественной.

„Смешной анекдот“, подсказанный Пушкиным, вдвойне помог гоголевским заданиям. Мотив „ошибки“ чиновников и переполоха в уездном городе помог прежде всего раскрыть целую систему социального поведения, — систему, основанную на безделье, самоуправстве, подкупе, насилии. Всё будничное, бытовое на минуту осветилось ярким светом; прояснились попутно и отдельные характеры, и личные свойства каждого, хотя эти личные свойства являются лишь деталями общей картины. С другой стороны сюжет, основанный на „комедии ошибок“, predetermined создал центрального характера — невольного

го виновника переполоха, пустейшего, наде-
ленного „легкостью в мыслях необыкновен-
ной“ „елистратишки“ Хлестакова. Гоголь
недаром дорожил этим своим созданием и
всячески разъяснял его своеобразие, его отли-
чие от традиционных комедийных образов:
значение Хлестакова вышло далеко за преде-
лы своего времени, своей социальной и наци-
ональной среды. В этом образе петербургско-
го чиновника 30-х годов раскрылось специфиче-
ское явление „хлестаковщины“, неизвест-
ное до Гоголя в мировой литературе, — явле-
ние, которому суждена была еще долгая исто-
рическая жизнь. Здесь впервые Гоголь достиг
той силы типического обобщения, которая
ставит его как художника рядом с великими
создателями Фальстафа и Тартюфа. Гоголь
продолжал идти по этому пути, создавая не
менее значительные обобщения в „Мертвых
душах“ и одновременно тщательно дорабаты-
вал образ Хлестакова, как и весь вообще текст
комедии.

„Ревизор“, при содействии Жуковского,
благополучно миновал цензурные препят-
ствия; цензор Ольдекоп изложил его содержа-

ние, как невиннейшие похождения Хлестакова; Николай I также ничего не понял в комедии (или сделал вид, что не понял); он хохотал на представлении; актеры и сам автор даже получили подарки. Но в широких бюрократических кругах и в реакционной литературе беспримерный еще на русской сцене обличительный реализм Гоголя вызвал самый резкий отпор. Реакционная критика сделала всё возможное для того, чтобы дискредитировать комедию, изобразить ее грязной, неправдоподобной, — и разве что забавной. Вне печати резче всего высказался в этом смысле (в письме к Загоскину) озлобленный бюрократ-реакционер Вигель, сказав, что „Гоголь — это юная Россия во всей ее наглости и цинизме“. Все эти и многие подобные отзывы произвели угнетающее впечатление на Гоголя. Ему стало казаться, что против него восстали „все сословия“; Щепкину он прямо пишет: „все против меня“. Это впечатление было глубоко неверно. Ряд сочувственных голосов в защиту „Ревизора“ раздался в печати, сильная поддержка ему была обеспечена и в широких кругах той самой „юной России“.

против которой злобствовали Вигели и Булгарины: здесь Гоголя считали лучшей надеждой литературы.

Прямым последствием ложного впечатления „все против меня“ — было решение Гоголя уехать из России. „Еду за границу — пишет он 10 мая Погодину, — там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне“. В этих настроениях 6 июня 1836 г. Гоголь, вместе со своим старым товарищем А. Данилевским, уезжает из России с тем, чтобы долго в нее не возвращаться.

IV.

Отъезд Гоголя за границу был, по существу дела, эмиграцией: так и освещал его Гоголь в письмах к друзьям. Гоголь уехал в год жесточайшей реакции, тяжело отозвавшейся на всей культурной жизни России: всего через несколько месяцев после отъезда Гоголя был закрыт „Телескоп“ — передовой и смелый журнал, где раздавался голос молодого Белинского; Надеждин был сослан; Чаадаев объяв-

лен умалишенным. В то же время „светская чернь“ подготовляла убийство величайшего русского поэта. Разгул реакции не затронул Гоголя непосредственно, но общественная обстановка слагалась для автора „Ревизора“ так, что он мог вынести впечатление, хотя и неверное, о своей полной изоляции („все против меня“). Замечательный художник, открывший новые возможности для литературы, отразивший в своих повестях и комедиях противоречия общественной действительности с исключительной глубиной, Гоголь уже в эти годы мог быть назван одним из великих вождей своей страны на пути сознания, развития, прогресса (так впоследствии назвал Гоголя Белинский). Но Гоголь не мог сознать себя вождем уже потому, что среда, которую он мог вести за собой, та „юная Россия“, с которой правильно связал Гоголя враг его Вигель, — была неорганизована, и „сознание“ только начинало в ней пробуждаться, — в значительной мере под внушениями литературы, но в первую очередь — от уроков самой исторической действительности.

Судьба Гоголя трагическим образом ослож-

няется. Великий художник-реалист и великий патриот, обладавший огромными возможностями создания произведений, отражающих „всю Русь“, отрывается от своей страны — не теряя, конечно, любви к родному народу, но теряя связь с теми его элементами, которым он был особенно нужен и дорог. Бесцельно было бы гадать о том, как сложилась бы жизнь Гоголя, если бы он не уехал из России, с какими кругами он связал бы свою судьбу, особенно после смерти своего главного руководителя и вдохновителя — Пушкина. Но эмиграция Гоголя, искусственное отделение себя от русской действительности содействовало тому, что в борьбе за Гоголя внешняя победа досталась реакционным кругам.

Эволюция Гоголя осложнилась конкретными впечатлениями его от Западной Европы 30-х годов. В исторических статьях своих Гоголь трезво оценивал современность. Он понимал, что девятнадцатый век приобретает „физиономию банкира“, отдавал себе даже отчет в исторической закономерности этой эволюции, стремясь, однако, противопоставить „кипящей меркантильности“ — большие

идейные ценности и прежде всего идею человечности и идею красоты. Но век с „физиономией банкира“ он наблюдал до сих пор лишь в его слабых отражениях и отзвуках в экономически отсталой России. Теперь перед ним развернулась широкая картина буржуазного оживления в самом центре капиталистической Европы — в Париже времени Луи Филиппа. Парижские впечатления Гоголя отозвались в его повести „Рим“, напечатанной несколько позже. Как и герой его, Гоголь мог быть сначала ошеломлен картиной напряженной парижской жизни и так же, как герой его, должен был переоценить свои впечатления: „В движеньи торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим, во что бы то ни стало, взять верх хотя бы на одну минуту“. Но подлинные причины этих общественных явлений от Гоголя ускользали, и он, в духе распространенных в его время теорий, останавливался на *национальности*, как на всеобъясняющей причине: „вся нация (французская) была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же

порожденный“. Осмыслить подлинную борьбу классов и борьбу политических партий в тогдашней Франции Гоголь не мог. Он мало вынес из пребывания в Париже, и наиболее значительные из его парижских впечатлений были связаны не с французской культурой (встреча с великим польским поэтом-изгнанником Мицкевичем и знакомство с другим польским поэтом, близким Гоголю украинской тематикой — Б. Залесским).

В Париже Гоголь узнал о смерти Пушкина. Это известие было для него исключительно тяжелым ударом. „Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним“ — писал он Погодину (30 марта 1837 г.). „Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина... Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета...“ Смерть Пушкина вызвала в том же письме гневную и резкую характеристику николаевской России, хотя сам царь, якобы „почтивший“ талант Пушкина, по неизжитому Гоголем заблуждению, из этой картины исключался: „Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники,

начиная от титулярных и до действительных тайных?.. О, когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых, умников, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли...“ Но Гоголь тут же со всей определенностью показывает, что отрицание официальной России ни в малейшей мере не изменяет его любви к родине и родному народу: „Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою связью прикован я к своему. И наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный...“

Это письмо было послано уже из Рима. Самый выбор именно Рима, как постоянного места жизни за границей, был для Гоголя неслучаен. Рим, „вечный город“, хранящий замечательные памятники истории и искусства, был тем городом, где легче всего казалось от решиться от „безмозглого класса людей“, уйдя

в мир непреходящих ценностей. Тот период итальянской истории, какой застал Гоголь в 1837 г., способствовал впечатлению оторванности Рима от бурь европейской жизни. Всё, вместе взятое, должно было усиливать для самого Гоголя впечатление отрыва от русской современности, а затем и от всякой современности. Мало-помалу настроения эти созрели и плоды их оказались неожиданными для всех, знавших Гоголя в период „Миргорода“ и „Ревизора“. Но развитие Гоголя не было прямолинейно. В Гоголе не умер и даже не ослабел великий художник-реалист, зоркий наблюдатель людей и жизни. И в Риме Гоголя привлекают не одни памятники искусства или картины итальянской природы. Гоголь внимательно наблюдает современную ему итальянскую жизнь. Он быстро овладевает итальянским языком и, бродя среди уличных карнавалов, восхищается меткостью народных экспромтов, записывает эпиграммы на папу Григория XVI (см. письма к М. П. Балабиной); он знакомится с сонетами поэта Белли, писавшего на транстеверинском диалекте.

Вопросы искусства и жизни, волнующие

В эти годы Гоголя, приводят его к новым личным сближениям; важнейшее из них — сближение с художником А. Ивановым, работавшим в Риме над своим „Явлением Христа народу“.

Но и от русской жизни Гоголь не отрывается совершенно — уже потому, что, как сам писал в приведенном письме к Погодину — творчество его попрежнему посвящено России.[13] „Мертвые души“, на которые он смотрит как на завещание Пушкина, остаются главным его трудом. С замыслом „Мертвых душ“, с решением за границей довести его до конца уезжает Гоголь, и при первой же продолжительной остановке в пути (это было в швейцарском городке Веве) он немедленно возобновляет работу. Пишутся „Мертвые души“ и в Париже и, наконец, в Риме.

Гоголь приступал к „Мертвым душам“, как в свое время и к „Владимиру 3-й степени“ и к „Ревизору“, — с отчетливыми обличительными заданиями. 12 ноября 1836 г. он писал Жуковскому из Парижа:

„Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые

сословия и много разных господ: но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками“...

„Новые сословия“, по сравнению с теми, что „восстали“ на гоголевские обличения чиновников, — это, конечно, класс помещиков, владельцев живых и мертвых душ. Именно помещичья, а с нею и крестьянская Русь, лишь эпизодически затронутые Гоголем в петербургский период его творчества, становятся теперь для него основным материалом. Тем самым непосредственно вошла в его творчество и тема крепостного права.

„Мертвые души“ не раз пытались истолковать как крепостническое произведение, рассматривая гениальную поэму Гоголя в свете позднейшей его публицистики и смешивая первый том поэмы с неоконченным вторым. Для этого нет оснований. Остаются, конечно, в силе определения Чернышевского, равно относящиеся к „Мертвым душам“, „Ревизору“ и ранним повестям: Гоголь, писатель полный „энергии, силы, страсти“ и всего больше „энергии негодования“, писатель, ставший „во главе тех, которые отрицали злое и пош-

лое“ — в то же время не выработал в себе в эти годы „общих теорий, стройных и сознательных убеждений“. Как в идеологии „Ревизора“ при полном отсутствии какой бы то ни было казенной благонамеренности, при явно-обличительных тенденциях, не дано и намека на социально-политические основы и первопричины изображенных „ран и болезней“ общества, так и в „Мертвых душах“ — *общая* тема крепостничества отсутствует, но вместе с тем крепостное право, как общее явление, конечно, и не защищено. Творческая мысль Гоголя и здесь сосредоточена на частных явлениях — последствиях того же крепостничества, и частные эти явления изображены с огромной силой именно обобщающего мастерства. Крепостнический паразитизм и праздность явились основой гениального образа „человека ни то ни се“ — Манилова, пустопорожного мечтателя „с сердцем теленка“ (как выразился один критик): и — вслед за „хлестаковщиной“ — „маниловщина“ стала общепонятным определением для разнообразных видов врагов исторического прогресса. На той же основе возникли и другие обра-

зы поэмы: и оскотинившийся Собакевич, и страшный Плюшкин — „прореха на человечестве“, пустивший по миру сотни живых душ; и усложненный вариант Хлестакова — Ноздрев, и Чичиков — „любезнейший и обходительнейший человек“ — идеал приспособленчества и темный делец уже новой формации. Тон, который берет автор в отношении героев-помещиков и Чичикова, то деловито-сух, то ироничен, то брезглив, то проникнут негодующим изумлением. Но совершенно иначе дана галерея народных характеров — в 7-й главе, в тех размышлениях Чичикова, в которые, по собственному замечанию Гоголя, „несколько впутался и сам автор“. Здесь и в юмористических сценах Гоголь снисходителен и мягок к своим героям, а там, где речь заходит о бурлаках, сменяющих „разгул широкой жизни“ на „труд и пот“, речь автора начинает звучать лирическим одушевлением.

В творческом замысле „Мертвых душ“ лирические элементы имеют первостепенное значение; замысел не романа, а поэмы связан не только с широким развертыванием сюжета и его многозначительностью, но и с фор-

мой повествования, которая, как и в стихотворной поэме, должна допускать всё многообразие авторского отношения к изображаемому — от объективно-деловой констатации до высокого лиризма. И знаменательно, что кроме эпизодических образов крестьян ни для кого из действующих лиц первого тома своей поэмы Гоголь не нашел лирических интонаций. Но он нашел их для обобщенного образа *родины* и для определения своего поэтического призвания.

Русь, обобщенная в образе „птицы-тройки“, летящей в „наводящем ужас движении“, — была образом романтическим, который противостоял реалистическим изображениям поэмы. Но самая неопределенность этого образа („Русь! куда же несешься ты? дай ответ... Не дает ответа!“) — свидетельствовала о том, что Гоголю чужды были официальные восторги. Как независимый писатель, верный своим задачам реалистического разоблачения действительности, как писатель-борец, отдающий себе ясный отчет в силе врагов и трудностях борьбы, но отвергающий компромиссы — выступает Гоголь и в знаменитом

лирическом зачине 7-й главы, этом замечательном манифесте критического реализма. Образы и формулы гоголевской параллели двух писателей прочно вошли в современное Гоголю и в последующее литературное сознание; это относится прежде всего к словам о „тине мелочей, опутавших нашу жизнь“ и к заданию: „озирать всю громаднонесущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы“...

„Мертвые души“ были основной работой Гоголя с 1836 по 1842 год. За эти годы Гоголь дважды прерывал свои скитания по Европе и приезжал в Россию: в первый раз в 1839–1840 гг. по семейным делам, во второй раз — в 1841–1842 гг. уже для печатания „Мертвых душ“. В основном же „Мертвые души“ Гоголь писал в Риме — „из своего прекрасного далека“, как выразился сам. Эта работа не была единственной, но всё остальное, над чем работал Гоголь, за немногими исключениями, было связано с прежними его замыслами (и тем самым — с русскими впечатлениями): Гоголь возвращался к написанному раньше для переработки, для дополнений

и улучшений.

Отношение Гоголя к своему труду было проникнуто исключительным сознанием своей писательской ответственности. Он не прекращал работы до тех пор, пока ему не казалось, что произведению дана, как он выражался, — „последняя гармоническая отделка“; при этом сам же он пояснял, что цель этой „отделки“ заключается в том, чтобы „выступила наружу глубина содержания“.[14] Гоголь не успокаивался на достигнутом, даже если произведение было напечатано; работа продолжалась; уточнялись характеристики, произведение освобождалось от балласта, перерабатывался самый язык, — в речах персонажей насыщаясь новой психологической выразительностью, в речи автора приобретая разнообразные оттенки от иронии до высокого лирического пафоса. Так совершенно заново написана была повесть „Портрет“, где значительно ослаблены были внешне-фантастические эффекты, и усилено и углублено изображение реальных, общественных условий творчества (власть денег, психология морально-неустойчивого художника, переход от ис-

кусства к ремеслу); развита эстетическая проблематика: идея назначения искусства.

Полностью переработана была и другая ранняя повесть „Тарас Бульба“, ставшая от этого, как выразился Белинский, „вдвое длиннее и бесконечно прекраснее“: при переработке устранялся прежний схематизм, повесть насыщалась богатым, заново проработанным материалом (отчасти — за счет неосуществленного замысла трагедии из истории Запорожья), а в наиболее ответственных местах прониклась ритмикой и патетическим стилем народного эпоса.

Большая работа предстояла и в связи с комедийными замыслами Гоголя. „Владимир 3-й степени“, как целое, был окончательно признан несостоявшимся, но Гоголь продолжил ту работу, которую начал еще в 1836 г. — обработку отдельных сцен неосуществленной комедии: за „Утром чиновника“ последовали „Тяжба“, „Лакейская“ и „Отрывок“. Вернулся Гоголь и к оставленному лишь на время замыслу „Женитьбы“. Наконец, новой работы потребовал и „Ревизор“, дважды переработанный в начале сороковых годов и только тогда

доведенный до той степени завершенности, которая удовлетворила взыскательного художника.

Ко всему этому можно прибавить еще переработку картины „ужасов“ в „Вии“, доработку „Носа“, ряд поправок к другим повестям. Неудивительно, что для художника, так относившегося ко всему им написанному раньше, — работа над большим „полотном“ должна была стать основной жизненной задачей на долгие годы. Так и случилось: первый том „Мертвых душ“, начатый в 1835 г., был вполне завершен только в 1842 г. — уже в *пятой* редакции. При этом самые отходы от основной работы, обращения к другим произведениям входили в систему работы Гоголя.[15] Поэма, бывшая главным трудом Гоголя, не могла не меняться вместе с ним самим, — но это были скорее колебания в общем тоне и стиле и различия в оттенках, чем сколько-нибудь значительные колебания по существу. Текст сохранившихся редакций и собственные показания Гоголя говорят о том, что задуманы „Мертвые души“ были в более личном, более резком тоне и лишь в процессе работы Гоголь

„увидел, что многие гадости не стоят злобы“, что „лучше показать всю ничтожность их“. Но разоблачение *ничтожности*, осуществленное великим реалистом в мощных образах „крепкою силою неумолимого резца“, было делом еще большего художественного и исторического значения, чем непосредственная сатирическая „злость“. На всем протяжении работы над первым томом „Мертвых душ“ (как и над итоговым четырехтомным собранием сочинений) — Гоголь не только остается верен тем художественным принципам, на которых были основаны „Миргород“, петербургские повести и „Ревизор“, но воплощает эти принципы с наибольшей творческой зрелостью и с наибольшей сознательностью. Не только образы героев получили в окончательной редакции „Мертвых душ“ „последнюю гармоническую отделку“, но и лирико-медитативные элементы поэмы и прежде всего — тот зачин 7-й главы, в работе над которым Гоголь уточнял и углублял свои позиции реалиста и обличителя.

Внимательный анализ не может не отметить и в первом томе „Мертвых душ“, и в од-

новременных гоголевских работах („Портрете“, „Риме“, „Театральном разезде“) — тревожных симптомов эволюции Гоголя в направлении „примирения с жизнью“ (его позднейшая формула). Но пока это были только симптомы, не способные изменить впечатления от всей картины гоголевского творчества и от общего смысла каждого из его основных произведений.

К первому приезду Гоголя в Россию (в Москву и Петербург) — к осени 1839 г. — около половины первого тома было настолько обработано, что главы его могли быть прочитаны друзьям и даже более широкому кругу знакомых. В доме Аксаковых, с которыми Гоголь в этот приезд сошелся ближе, Гоголь читал шесть глав. Зимой 1840 г. в Риме Гоголь уже готовил первый том „к совершенной очистке“, одновременно обдумывая продолжение и уже тогда замышляя его как „что-то колоссальное“ и уводящее далеко от будто бы „незначачего“ сюжета первого тома. П. В. Анненков, приехавший в Рим в мае 1841 г., застал Гоголя в состоянии большого подъема, причиной которого, несомненно, было „удо-

влетворенное художническое чувство“ — чувство мастера, закончившего многолетний труд. Воспоминания Анненкова очень много дают для понимания Гоголя на этом важном этапе его творческой жизни. Анненков писал уже после смерти Гоголя, и, в свете последнего периода гоголевского мировоззрения, Анненкову ясен был тот „предуготовительный процесс“, который он наблюдал в 1841 г. и который он определял как „борьбу, нерешительность, томительную муку соображений“. Показания Анненкова, свидетеля очень достоверного, лишней раз предостерегают от упрощенного взгляда на идейный путь Гоголя и, кроме того, подробно освещают отношение Гоголя к своему труду, которое Анненков мог наблюдать непосредственно, переписывая „Мертвые души“ под диктовку Гоголя.

V.

В декабре 1841 г. Гоголь, еще осенью приехавший в Москву, отдает окончательно обработанную рукопись „Мертвых душ“ в цензуру. После долгих цензурных злоключений, в результате которых пришлось пойти на ряд уступок (самой главной было сильное смягче-

ние „Повести о капитане Копейкине“), — в мае 1842 г. „Мертвые души“ вышли, наконец, в свет. Осенью того же года еще бoльшим цензурным мытарствам подверглись „Сочинения Николая Гоголя“, только в январе 1843 г. поступившие в продажу.

Гоголь был опять далеко от России в те дни, когда имя его повторялось всей грамотной Россией. Занятый мыслями о продолжении „Мертвых душ“ и личными своими „душевыми обстоятельствами“ (как он выражался), он вряд ли мог отдать себе отчет в том громадном значении, какое имели пять изданных им книг. Русская литература, после недавних глубоких впечатлений от первых книг Гоголя, от посмертного наследия Пушкина, от быстрого и яркого явления Лермонтова, получала новые впечатления, которые стали для нее решающими: „Мертвые души“, драматический том „Сочинений“, „Шинель“.

Для русской литературы творческое наследие Гоголя, собранное вместе, было исключительно плодотворным. Сейчас на столетнем расстоянии нам ясна глубочайшая преемственность между Пушкиным и Гоголем, при

большом своеобразии каждого. Для людей сороковых и следующих годов более существенным было своеобразие Гоголя, те его черты, которые сделали его основателем новой школы, родоначальником „гоголевского периода русской литературы“. В сочинениях Гоголя предметом художественного изображения стала современная Россия, в ее социально-исторической конкретности, в сложности ее общественных противоречий. При этом права „обыкновенного“, „низкого“ (на враждебном языке „грязного“) материала были окончательно утверждены; литература овладела труднейшим мастерством изображения „тины мелочей, опутавших нашу жизнь“ и, словно условные схемы, разоблачила пошлость, возникшую на почве крепостнической эксплуатации и бюрократического произвола. При этом выявились особые качества человека, незамеченные раньше и неподводимые ни под одну из традиционных психологических схем „пороков“ или „слабостей“. Эти новые в литературе качества не отделяли индивидуального человека от его среды: создавалась общая картина „пошлости всего вместе“,

как некоторой социальной категории — и в то же время „крепкою силою неумолимого резца“ создавались образы именно индивидуальные, врезающиеся в сознание, как живые, всем хорошо известные лица. Но это не только не были фотографические портреты случайных единичных лиц, — эти обобщения выходили далеко за пределы своего времени, своей социальной среды (в тесном смысле слова) и даже своей национальности: и хлестаковщина, и маниловщина, и чичиковщина — явления широкого международного масштаба, не специфичные, конечно, для русского народа. Так национальные по форме реалистические обобщения приобретали широчайшее историческое содержание.

По этому пути пошли наследники и продолжатели Гоголя. Вся русская общественная жизнь — от характерной внешней детали до глубокого обобщения — стала ее содержанием. Через два года после „Сочинений Гоголя“ вышла в свет „Физиология Петербурга“ — декларативный сборник „натуральной школы“, возводившей свою родословную именно к Гоголю. Еще через год из той же группы вышел

„Петербургский сборник“ Некрасова, с участием талантливейших последователей Гоголя: самого Некрасова, Тургенева, Герцена, Достоевского (дебютная повесть „Бедные люди“). Годом позже появились два романа широкого социального диапазона — „Кто виноват“ Герцена и „Обыкновенная история“ Гончарова; в том же году первой повестью и первыми драматическими сценами дебютировали ближайшие наследники Гоголя — Салтыков-Щедрин и Островский. Приобретая новые качества под воздействием самой исторической действительности и в широком международном взаимодействии, русская реалистическая литература, в основном, развивала наследие Гоголя, и Чернышевский вправе был еще в 1855 г. назвать Гоголя родоначальником особого направления в русской литературе — „сатирического или, как справедливее будет называть его, критического“. Только на основе гоголевских образов могли возникнуть в дальнейшем такие типические обобщения, как обломовщина, щедринский Иудушка, смердяковщина, карамазовщина.

Гоголем разработан и введен в литературу

не только метод реалистического изображения, но и не менее многозначительный метод авторской оценки изображаемого. Богатство и тонкость оттенков гоголевских оценок изумительны. Гоголь знает и легкую насмешку, и острую иронию, и „электрический, живительный“ смех превосходства над изображаемым, и ноты глубокого негодования. Еще в 1835 г. Белинский боролся с поверхностным представлением о Гоголе как о писателе, умеющем „смешить“, и разъяснял, что юмор Гоголя основан не на поисках смешного самого по себе, а на глубоком раскрытии жизни во всей ее многообразии. Это делает гоголевское творчество своеобразным и значительным явлением не только русского, но и общеевропейского масштаба: если Гейне и великие английские реалисты Диккенс и Теккерея могут быть с Гоголем сопоставлены, то в классической французской литературе первой половины XIX века гоголевскому юмору нет соответствия. Напротив, вся последующая русская литература, от Тургенева и Гончарова до Чехова и Горького, отмечена юмором, имеющим, при всех индивидуальных особенностях

этих писателей, общий источник в гоголевском творчестве.

Но Гоголь мог выходить и за пределы юмора в непосредственный лирический пафос — там, где он касался высших для него ценностей: своего писательского призвания и судьбы родного народа. Впечатление от его поэмы складывается из совокупности всех составляющих ее элементов — от реалистических разоблачений до страниц лирических раздумий. Сопоставление мрачного настоящего с надеждами на будущее, с верой в народные силы — делает первый том „Мертвых душ“ особенно глубоким и значительным. Так именно восприняли поэму Гоголя его прогрессивные современники — Белинский и Герцен.

VI.

Восхищаясь „Мертвыми душами“, „Шинелью“ и „Театральным разездом“, восторженно приветствуя новые редакции „Тараса Бульбы“ и „Ревизора“, перечитывая „Вечера“, „Миргород“ и первые петербургские повести, борясь на первых представлениях „Женитьбы“ и „Игроков“ с отрицавшими Гоголя обывателями-рутинерами, — поклонники Гоголя

не могли предвидеть, к чему приведет его тот „предуготовительный процесс“, который наблюдал Анненков в 1841 году. На целых три года Гоголь исчез из литературы вовсе, а новые его выступления, начавшиеся с лета 1846 г., могли вызвать только недоумение друзей Гоголя и злорадство его врагов. Гоголь нарушил трехлетнее молчание статьей „Об Одиссее, переводимой Жуковским“. Статья появилась летом 1846 года в „Московских Ведомостях“, в „Современнике“ Плетнева и в „Москвитянине“ Погодина. Это была не столько литературно-критическая статья, сколько публицистика и притом публицистика право-оппортунистического толка. Гоголь приветствовал появление Одиссеи „именно в нынешнее время... когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедывания новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине“. Мысли о „желанной середине“ между идеями реакции и революции пока еще никак не конкретизировались Гоголем, но объективно призыв его вернуться к патриархальности Гомеровых времен в обста-

новке разгоравшейся классовой борьбы, накануне явно неизбежного падения крепостничества, звучал призывом к застою и отрицанием всякого прогресса. О каком-то повороте в мировоззрении Гоголя свидетельствовало и предисловие ко второму изданию „Мертвых душ“, появившееся в октябре того же года: оно было написано в неожиданном для Гоголя тоне покаяния и самоуничужения. Внушали тревогу и слухи о „развязке“, написанной к „Ревизору“ и толковавшей всю комедию как моралистическую аллегория. Наконец, самые тревожные предположения подтвердились, когда в начале 1847 г. вышла в свет новая книга Гоголя „Выбранные места из переписки с друзьями“. В этой книге писем-статей, лишь отчасти литературного характера, а больше характера интимной исповеди или проповеднической дидактики, всё поражало глубоким контрастом с прежними книгами Гоголя: и религиозный пизетизм в ортодоксально-церковной форме, и ноты пренебрежительного отношения к собственному творчеству, которому предпочиталось раскрываемое лишь в намеках „душевное дело“, и об-

щий тон моралистической проповеди, и самое содержание этой проповеди — философия личного самоусовершенствования, по сути дела отрицавшая все общественные задачи — и, наконец, социально-политические декларации, смысл которых сводился к оправданию и защите „патриархального“, т. е. абсолютистского и крепостнического строя.

Книга Гоголя вызвала единодушный отпор в разнообразных слоях общества. Только в самом узком кругу единомышленников раздались сочувственные отклики, да Булгарин злорадно приветствовал обращение недавнего врага на „истинный“ путь. В официально-бюрократических и церковных кругах книга не была принята — как слишком независимая, говорившая всё же своим языком, а не языком казенных прописей. Официальной России показалась опасной своеобразная гражданская тревога Гоголя, а попытка давать уроки правительству воспринята была как дерзость, и книга могла появиться в свет только с цензурными купюрами. Неприемлемой оказалась книга и для славянофильских кругов, так как во многом выходила из рамок

славянофильской догмы.

Наконец, само собою разумеется, что вся передовая общественность отвергла с негодованием книгу, реакционную в самом своем существе, звавшую назад, а не вперед. Голосом этой общественности стал Белинский в своем знаменитом гневно-обличительном письме к Гоголю из Зальцбрунна — письме, в котором В. И. Ленин видел „одно из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору“ („Из прошлого рабочей печати в России“, 1914).[16]

Чем же объяснить, что великий художник-обличитель, один из вождей народа „на пути сознания, развития и прогресса“, — оказался в стане реакции? Раз навсегда нужно отбросить представления, будто „Выбранные места“ лишь выразили теоретически то, что всегда заключалось в гоголевской творческой практике, что теми же самыми идейными стимулами — желанием „служить своему классу“ — вызваны и „Вечера“, и „Ревизор“, и „Выбранные места“, и обе части „Мертвых душ“. Такому упрощенному истолкованию

творческого пути Гоголя противоречит всё: и сравнительный литературный анализ, обязывающий отделить Гоголя от хора официально-благонамеренной литературы, и показания осведомленных современников (Анненков), и неопровержимые данные о кризисе, действительно пережитом Гоголем в начале 40-х годов и, наконец, определение этого кризиса самим Гоголем: „крутой поворот“.

Причины этого „поворота“ сложны и многообразны. В конечном счете он обусловлен всей российской социально-экономической действительностью, неразвитостью общественных отношений в России, недостаточной организованностью прогрессивных демократических сил. Но эти общие причины не объясняют до конца индивидуального случая гоголевской позиции: в тех же условиях Белинский и Герцен пошли по иному пути. Нельзя преуменьшать значение среды, окружившей Гоголя и боровшейся за него; нельзя преуменьшать всей совокупности впечатлений личной его жизни. В свое время серьезное внимание на эти данные обратил Чернышевский, располагавший значительно мень-

шим биографическим материалом, чем наше время. Внутренняя логика развития Гоголя — выработка в нем общих теоретических основ мировоззрения протекала в конкретной обстановке, игравшей большую и важную роль. Травля после „Ревизора“, бегство из России, впечатления капиталистического Запада и „уединенного“ Рима, смерть Пушкина, чувство оторванности от родины, наконец, целый сплав различных, но, в общем, одинаково направленных влияний — при почти полном отсутствии противодействий — делали свое дело. К личным влияниям на Гоголя нужно отнести со всей серьезностью. В борьбе за Гоголя реакция была представлена значительными силами. Три имени должны быть здесь названы в первую очередь: Жуковский, Плетнев и Языков. В сознании Гоголя связь с ними была продолжением давней связи с Пушкиным и его кругом. На самом деле это было далеко не так: Жуковский был для Пушкина литературным учителем и лично-близким человеком, но отнюдь не идейным руководителем; основы религиозного идеализма Жуковского были чужды Пушки-

ну; между тем, после смерти Пушкина и в годы общения с Гоголем они оформлялись в тот типизм „протестантского“ типа, который в самом Жуковском, а еще больше в Гоголе своеобразно сочетался с православно-церковными настроениями. В кругу тех же тенденций были Плетнев и Языков, оба к началу 40-х годов существенно отошедшие от настроений 30-х годов. С Языковым Гоголь сблизился как равный; Жуковский оставался для него авторитетом и образцом, но известное расстояние между ними всегда оставалось; что же касается Плетнева, то он активно вмешивался в личную идейную и литературную жизнь Гоголя. Именно Плетнев был непосредственным вдохновителем гоголевской „Переписки с друзьями“. 2 октября 1844 г. Плетнев написал Гоголю письмо обличительное и в то же время увещательное: он призывал Гоголя стать на новый писательский путь. „Ты, не прерывая главных своих, обдуманых уже творений, — писал Гоголю Плетнев — должен строже определить себе, как надлежит тебе содействовать развитию в человечестве высшего религиозного и морального настро-

ния... Из гения-самоучки — убеждал Плетнев — ты возвысишься, как Гете, до гения-художника и гения-просветителя“. Само по себе письмо Плетнева, конечно, недостаточно для объяснения „крутого поворота“ в Гоголе, но включенное в сложный ряд воздействий, оно должно быть учтено как оказавшее свое влияние. С другой стороны — активно боролись за Гоголя и пытались воздействовать на него московские славянофилы, и энергичнее всех молодой Константин Аксаков, а также их противники в подробностях и союзники по существу — представители „официальной народности“ Погодин и Шевырев. Постепенное охлаждение давних личных отношений с Погодиным как бы уравнивалось новой дружбой с Шевыревым; совместные влияния Аксаковых и Шевырева не были безрезультатны. Не подчиняясь всецело славянофильскому учению, Гоголь проникся идеями национального миссионизма и идеализацией патриархальных основ общественной жизни.

Противодействие силам реакции, объединенным в борьбе за Гоголя, было явно недостаточно. Оно представлено было в сущности

одним Белинским. Белинский боролся за Гоголя не в одних своих печатных статьях, — он пытался лично воздействовать на Гоголя, пытался оторвать его от круга „Москвитянина“, но эти попытки были безуспешны. Анненков и Прокопович, отчасти примыкавшие к Белинскому, были недостаточно активны и для Гоголя недостаточно авторитетны. С Герценом Гоголь так и не встретился.

VII.

Новые выступления Гоголя были восприняты современниками как отречение от прошлого писательского пути и даже от художественной литературы вообще. Между тем, Гоголь не только продолжал признавать себя писателем, но весь строй его новых идей имел непосредственное отношение к замыслу продолжения „Мертвых душ“. В течение 1843–1844 гг., когда забота о первом томе и о собрании сочинений была уже в прошлом, и Гоголь мог сосредоточиться на втором томе, он, отвечая на нетерпеливые вопросы друзей, то и дело вынужден был признаваться, что „Мертвые души“ „и пишутся и не пишутся“, и что причина медлительности на этот раз — в

нем самом. „Сочиненья мои так тесно связаны с духовным образованием меня самого“ — пишет он Плетневу 6 октября 1843 г. — „и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее, сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений“. Продолжение „Мертвых душ“ всё теснее связывается в сознании Гоголя с новыми его идеями и прежде всего — с идеей личного самосовершенствования, в котором он, — как впоследствии Лев Толстой, — мечтает найти разрешение не только личных, но и общественных задач.

С этой идеей непосредственно связана была другая — славянофильская — идея об особых национальных свойствах *русского* человека, которые могут возродить последнего „подлюку“, если в нем только есть „крупница русского чувства“. Отсюда возникают две задачи в дальнейших частях „Мертвых душ“: с одной стороны, противопоставить пошлым героям первого тома — прекрасные русские характеры (обещания эти были даны уже в 11-й главе первого тома), с другой стороны —

показать возможность внутреннего перерождения даже для Чичиковых и Плюшкиных.

Но Гоголь всё еще мечтает остаться верным принципам реалистического искусства. В 1845 г. он уничтожает всё написанное им из второго тома за то, что, изображая прекрасное, он не сумел указать „путей к прекрасному“, то есть не внес в свои изображения должной психологической убедительности, притом в идейно наиболее важном для него пункте, в изображении перерождения человека. Он стремится не только расширить сферу своих изображений, но и сделать их наиболее верными действительности („верным зеркалом, а не карикатурой“). Еще продолжая жить на чужбине, он всеми доступными ему средствами стремится лучше узнать русскую жизнь, не надеясь, как раньше, на один запас уже сделанных наблюдений и на способность „угадывать человека“. Он просит родных и знакомых присылать ему побольше материалов — бытовых и психологических („портреты“); он изучает „статистику России“ по книжным источникам; он жадно читает произведения русских писателей „натуральной

школы“ и прежде всего — богатого бытовым материалом Даля. Наконец, он прекращает вовсе свои скитания по Европе и, осуществив путешествие в Палестину, с которым были связаны большие, но не сбывшиеся надежды на „обновление сил, бодрость и рвение“, окончательно возвращается осенью 1848 г. в Россию.

Гоголь покидал Европу в знаменательный 1848 год — год европейских революций, когда „призрак коммунизма“ уже бродил по Европе. Гоголь вернулся в Россию чуждый и враждебный идеям революции, и в то же время потрясенный неудачей своей книги, потрясенный гневной отповедью Белинского. Он понял, что должен остаться художником. „В самом деле, — писал он Жуковскому, — не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассужденьями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни“. Он понял и то, что в книге своей „впал в излишества“, и остался далек от мечтавшейся ему (и невозможной на деле) „желанной середины“ между борющимися партиями. Но всё это не

меняло существа дела: Гоголь вернулся на родину не тем вождем „юной России“, каким уехал 12 лет назад, а союзником партии фрондирующих помещиков — славянофилов и, в конечном счете, сторонником основных устоев старой дворянской России.

Основы нового мировоззрения Гоголя не были поколеблены и после неудачи „Выбранных мест“. Это с очевидностью следует из той самозащиты, которую предпринял Гоголь („Авторская исповедь“), и из текста сохранившихся глав второго тома „Мертвых душ“, над которым Гоголь успешно работал по возвращении. При всей верности Гоголя художественному реализму в теории, при всех даже больших частных творческих достижениях в отдельных главах второго тома (образы Тентетникова, Бетрищева, Петуха, дальнейшее развитие характера Чичикова, замечательные пейзажи и другие детали) — в целом и в основном Гоголь неминуемо должен был отступать от реалистического метода. В систему реалистических характеров вторгались схематические фигуры идеального хозяина, идеального богача, идеального чиновника — фи-

туры, изготовленные по рецептам „Выбранных мест из переписки с друзьями“: оживления этих схем нельзя было достигнуть никакими психологическими и бытовыми деталями. Так получилось даже во втором томе, в котором, по собственному показанию Гоголя, должны были действовать „герои недостатков“: еще бóльшие опасности грозили, разумеется, в задуманном третьем томе, где должно было полностью осуществиться преобразование пошлых героев.

Медленно и трудно, но упорно работая над вторым томом в последние годы жизни, Гоголь продолжал по мере сил изучать Россию. Теперь он мог, не ограничиваясь собиранием материалов, осуществить давнее задание, поставленное им в „Выбранных местах“: „Нужно проездиться по России“ (так называлась одна из глав книги). Но Гоголь, правильно чувствуя, что многого в России не знает — искал выхода на ложных путях. Ему казалось, что всё дело — в знании внешних подробностей, географии, „статистики“ России, — в то время, как он был ограничен прежде всего в своем историческом кругозоре и потому пред-

ставлял себе всю борьбу, кипевшую на Западе и в России как „совершенное разложение общества“ (письмо А. С. Данилевскому от 24 сентября 1848 г.). Личные связи его оставались в прежнем кругу — семьи Аксаковых, Шевырева, Погодина, А. О. Смирновой, семьи Вьельгорских, а также А. П. Толстого, в доме которого он поселился; к ним присоединилось еще новое лицо: „духовный отец“ Гоголя, Матвей Константиновский, ограниченный и прямолинейный церковник, с которым Гоголь потратил не мало душевных сил, отстаивая свое право на „мирские“ интересы и прежде всего на свое писательское призвание.

В 1851 г. дошел до Гоголя еще один громкий голос „юной России“, резко его осудивший, — голос эмигранта Герцена. В книге „О развитии революционных идей в России“ Герцен тепло и сочувственно отметил любовь к народу, проникающую творчество Гоголя, и тут же указал на значение гоголевского обличения чиновников и помещиков. Признавая глубокое влияние Гоголя и его школы на развитие в России революционных идей, Герцен с негодованием отзывался о „Выбранных ме-

стах“: „Гоголь, кумир русских читателей, возбудил глубочайшее презрение к себе за рабочую брошюру. В России не прощают отступнику“.

Гоголь чрезвычайно болезненно воспринял обвинения Герцена. Ему не было ясно, что реакционная идеология его книги объективно была именно отступничеством от всего его прежнего пути. Он готов был сглаживать и преуменьшать громадную разницу между основным своим творчеством и этим последним этапом. Предприняв в 1851 г. переиздание своих сочинений, он ничего не меняет в них по существу и продолжает работу лишь над деталями стиля. Он задумывает впоследствии присоединить к четырем томам своих сочинений пятый, и в нем соединить давние статьи „Арабесок“ с „Выбранными местами“ — переработанными, очищенными от всего „неприличного“, от всех „излишеств“. В то же время он читает друзьям новые и новые главы второго тома, быстро подвигающегося к концу и, повидимому, законченного вполне в конце 1851 г.

Мирная работа Гоголя над вторым томом и

над корректурами нового издания сочинений была внезапно резко оборвана. Сложный сплав переживаний, который во всей полноте и последовательности вряд ли может быть восстановлен, привел Гоголя к фанатическому религиозному исступлению. Плетнев в письме к Жуковскому так изображал эту агонию великого писателя: „Гоголем овладело малодушие или, правильнее сказать, суеверие. Итак, он начал говеть. Через два дня слуга гр. А. П. Толстого явился к нему и говорит, что он боится за ум и даже за жизнь Николая Васильевича, потому что он двое суток провел на коленях перед образами без питья и пищи“. Не помогли ни советы Толстого, ни вмешательство митрополита Филарета. В эти страшные дни в полной мере обнаружилось, что с Гоголем „нельзя было шутить идеями“ (слова Н. Г. Чернышевского): идея отречения, овладевшая его сознанием, была доведена им до логического и практического конца.

В эти дни, в условиях не до конца ясных, погиб и последний труд Гоголя, второй том „Мертвых душ“: после неудавшейся попытки передать все свои рукописи А. П. Толстому,

Гоголь сжег их в ночь на 11 февраля 1852 г. На утро он сказал А. П. Толстому: „Вообразите, как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы Мертвых душ, которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти“.

После сожжения рукописей Гоголь прожил еще десять дней — в тяжелой агонии; врачи не сумели оказать умирающему никакой реальной помощи. Гоголь умер утром 21 февраля (4 марта н. с.) 1852 г.

VIII.

24 февраля 1852 г. Гоголя хоронили. Похороны его — проводы тела из церкви Московского университета на кладбище Данилова монастыря, — превратились в грандиозную демонстрацию. „Вся Москва была на этом печальном празднике“ — вспоминал один из современников (А. А. Харитонов). „Кого это хоронят? — спросил прохожий, встретивший погребальное шествие, — неужели это все родные покойника?“ — „Хоронят Гоголя, — отвечал один из молодых студентов, шедших за гробом, — и все мы его кровные родные, да еще с нами вся Россия“.

Правительство, и без того встревоженное книгой Герцена, в которой прямо утверждалось значение Гоголя в развитии революционных идей в России, — было еще больше обеспокоено этой демонстрацией народной любви к Гоголю. Репрессии в отношении к литературе были усилены вообще; в особенности же запретными стали сочинения и самое имя Гоголя. Молодой И. С. Тургенев (также сочувственно упомянутый Герценом) был выслан из Москвы за некролог, напечатанный в Москве, в обход петербургской цензуры. Выход в свет нового издания сочинений Гоголя был запрещен, и в течение целых трех лет не могло быть и речи об его разрешении. Но никакие репрессии не властны были остановить влияния Гоголя на русскую литературу и глубокой любви к нему в рядах молодой русской демократии. В 1855 г. в некрасовском „Современнике“ начинают печататься „Очерки гоголевского периода“ Н. Г. Чернышевского. Имя Гоголя — еще недавно почти запретное — и имя Белинского — вовсе запретное в начале печатания „Очерков“ — соединились здесь как имена учителей, чье наследие вос-

принимается и развивается революционно-демократической мыслью. Гоголь был объяснен как основатель „критического направления“ — критического реализма, Белинский, лучший его истолкователь — как борец за реализм в литературе и за прогрессивные идеи общественного развития. И в „Очерках гоголевского периода“ и в рецензиях на новые издания Гоголя Чернышевский высказал много проницательных и верных наблюдений над творчеством Гоголя и над личной его судьбой; вполне единодушен с ним в оценке Гоголя был и Н. А. Добролюбов.

Имя Гоголя, великого обличителя пошлости, возникшей на почве старой, самодержавно-крепостнической России, стало знаменем всего передового в литературе и общественности. Группа дворянских либералов 50-х годов пыталась противопоставить „гоголевскому“ направлению — „пушкинское“, — якобы вне-общественное, чисто эстетическое. Ограниченное и тенденциозное понимание Пушкина соединялось в этой полемике с невольным признанием огромного общественного значения творчества Гоголя. Таким — обще-

ственно острым, наделенным революционизирующей силой — всегда и было творчество Гоголя для всей передовой России. Революционная мысль неизменно четко отделяла основной творческий период Гоголя от последнего — реакционного и вслед за Чернышевским объединяла имена Гоголя и Белинского. Объединил их Некрасов — в известных строках своей поэмы „Кому на Руси жить хорошо“, в мечте о „желанном времячке“, когда народ понесет с базара книги и портреты Белинского и Гоголя, двух „заступников народных“. Эти некрасовские слова были приведены и поддержаны В. И. Лениным в его статье 1912 года „Еще один поход на демократию“. „Желанное для одного из старых русских демократов «времячко» пришло“ — писал В. И. Ленин. — „Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая базарная литература“.[17] В. И. Ленин, так высоко оценивший обличительное письмо Белинского к Гоголю (вспомнивший о нем и в этой самой статье) — приведенными сло-

вами противопоставил реакционным идеям „Выбранных мест из переписки с друзьями“ прогрессивное идейное содержание всего основного творческого наследия Гоголя. Образы Гоголя не раз помогали В. И. Ленину в его борьбе с врагами революции — реакционерами, либералами, народниками, меньшевиками: достаточно вспомнить, каким острым оружием оказывался в литературной практике Ленина образ Манилова и понятие маниловщины.[18]

Творчество Гоголя живо и в наше время. В многонациональную и единую культуру советских народов творчество Гоголя вошло как один из наиболее значительных ее элементов. Гоголь для нас не только гениальное отображение ушедшей навсегда эпохи „старой русской монархии, старой держиморды“ (выражение В. И. Ленина): Гоголь очень живой писатель и для нас. С особым волнением переживается в наши дни величавая простота „Тараса Бульбы“ — этого эпоса о народной борьбе за свободу и независимость. Но и самое острое жало гоголевского творчества — его разоблачение „пошлости пошлого челове-

ка“ методом глубочайших типических обобщений, критическое существо его реализма — сохраняет силу и в нашу эпоху, когда объекты гоголевских обличений в новых вариантах представляют реальную опасность для дела социализма. Гоголевские образы встречаются в исторических речах товарища Сталина и в выступлениях его соратников. Гоголь помогает нам и всему прогрессивному человечеству познавать жизнь и изменять ее.

Вас. Гиппиус.

Ганц Кюхельгартен*

идиллия в картинах

Предлагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к тому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. Не принимаясь судить ни о достоинстве, ни о недостатках его, и предоставляя это просвещенной публике, скажем только то, что многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта.

Картина I

*Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Всё видно, всё светло.
Вся в золоте сияет колокольня
И блещет луч на стареньком заборе.*

Пленительно оборотилось всё
Вниз головой, в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие
ж.

Всё движется в серебряной воде:
Синеет свод, и волны облак хо-
дят,

И лес живой вот только не шу-
мит./п

На берегу далеко вшедшем в море,
Под тенью лип, стоит уютный
домик

Пастора. В нем давно старик жи-
вет.

Ветшает он, и старенькая кровля
Посунулась; труба вся почернела;
И лепится давно цветистый мох
Уж по стенам; и окна искосились;
Но как-то мило в нем, и ни за что
Старик его б не отдал. Вот та
липа,

Где отдыхать он любит, тож
дряхлеет.

Зато вокруг ней зеленые прилавки
Из дерну свежего. В дуплистых но-
рах

Ее гнездятся птички, старый дом
И сад веселой песнью оглашая.

Пастор всю ночь не спал, да пред
рассветом

Уж вышел спать на чистый воз-
дух;

И дремлет он под липой в старых
креслах,

И ветерок ему свежит лицо,

И белые взвевает волоса.

Но кто прекрасная подходит?

Как утро свежее, горит

И на него глаза наводит?

Очаровательно стоит?

Взгляните же, как мило будит

Ее лилейная рука,

Его касаясь слегка,

И возвратиться в мир наш нудит.

И вот в полглаза он глядит,

И вот спросонья говорит:/п

„О дивный, дивный посетитель!

Ты навестил мою обитель!

Зачем же тайная тоска

Всю душу мне насквозь проходит,

И на седого старика

Твой образ дивный сдалека

Волненье странное наводит?

Ты посмотри: уже я хил,

Давно к живущему остыл,

Себя погреб в себе давно я,
Со дня я на день жду покоя,
О нем и мыслить уж привык,
О нем и мелет мой язык.
Чего ж ты, гостья молодая,
К себе так пламенно влечешь?
Или, жилища неба-рая,
Ты мне надежду подаешь,
На небеса меня зовешь?
О, я готов, да недостойн.
Велики тяжкие грехи:
И я был злой на свете воин,
Меня робели пастухи;
Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую по-
весть...“

Тоски, смятения полна,
„Сказать“ — подумала она —
„Он, бог знает, куда заедет...
Сказать ему, что он ведь бредит“./п
Но он в забвенье погружен.
Его объемлет снова сон.
Склонясь над ним, она чуть ды-

шет.

Как поживает! как он спит!
Вздых чуть заметный грудь колыхает;

Незримым воздухом обвит,
Его архангел сторожит;
Улыбка райская сияет,
Чело святое осеняет./п

Вот он открыл свои глаза:
„Луиза, ты ль? мне снилось...
странно...

Ты поднялась, шалунья, рано;
Еще не высохла роса.

Сегодня, кажется, туманно“./п
„Нет, дедушка, светло, свод чист;
Сквозь рошу солнце светит ярко;
Не колыхнется свежий лист,
И по утру уже всё жарко.

Узнаете ль, зачем я к вам? —
У нас сегодня будет праздник.
У нас уж старый Лодельгам,
Скрыпач, с ним Фриц проказник;
Мы будем ездить по водам...
Когда бы Ганц...“ Добросердечный
Пастор с улыбкой хитрой ждет,
О чем рассказ свой поведет
Младенец резвый и беспечный.

„Вы, дедушка, вы можете помочь
Одни неслыханному горю:
Мой Ганц страх болен; день и ночь
Всё ходит к сумрачному морю;
Всё не по нем, всему не рад,
Сам говорит с собой, к нам ску-
чен,
Спросить — ответит невпопад,
И весь ужасно как измучен.
Ему зазнаться уж с тоской —
Да эдак он себя погубит.
При мысли я дрожу одной:
Быть может, недоволен мной;
Быть может, он меня не любит.

—
Мне это — в сердце нож сталь-
ной.
Я вас просить, мой ангел, смею...“
И кинулась к нему на шею,
Стесненной грудью чуть дыша;
И вся зарделась, вся смешалась
Моя красавица-душа;
Слеза на глазках показалась...
Ах, как Луиза хороша!/
„Не плачь, спокойся, друг мой ми-
лый!
Ведь стыдно плакать, наконец“,
Духовный молвил ей отец. —

„Бог нам дарит терпенье, силы;
С твоей усердною мольбой,
Тебе ни в чем он не откажет.
Поверь, Ганц дышет лишь тобой;
Поверь, он то тебе докажет.
Зачем же мыслию пустой
Душевный растравлять покой?“
/п
Так утешает он свою Луизу,
Ее к груди дряхлеющей прижав.
Вот старая Гертруда ставит ко-
фий
Горячий и весь светлый, как ян-
тарь.
Старик любил на воздухе пить ко-
фий,
Держа во рту черешневый чубук.
Дым уходил и кольцами ложился.
И, призадумавшись, Луиза хлебом
Кормила с рук своих кота, кото-
рый
Мурлыча крался, слыша сладкий
запах.
Старик привстал с цвеченых ста-
рых кресел,
Принес мольбу и руку внучке по-
дал;
И вот надел нарядный свой ха-
лат,

Весь из парчи серебряной, блестящей,
И праздничный неношенный колпак
— Его в подарок нашему пастору
Из города привез недавно Ганц, —
И, опираясь на плечо Луизы
Лилейное, старик наш вышел в поле.

Какой же день! Веселые вились
И пели жавронки; ходили волны
От ветру золотого в поле хлеба;
Сгустились вот над ними деревья,
На них плоды пред солнцем наливались
Прозрачные; вдали темнели воды
Зеленые; сквозь радужный туман
Неслись моря душистых ароматов;
Пчела работница срывала мед
С живых цветов; резвунья стрекоза
Треща вилась; разгульная вдали
Неслася песнь, — то песнь гребцов
удалых.
Редееет лес, видна уже долина,
По ней мычат игривые стада;
А издали видна уже и кровля

Луизина; краснеют черепицы
И ярко луч по краям их скользит.

Картина II

Волнуем думой непонятной,
Наш Ганц рассеянно глядел
На мир великий, необъятной,
На свой неизвестный удел.
Доселе тихий, безмятежной
Он жизнью радостно играл;
Душой невинною и нежной
В ней горьких бед не прозревал;
Земного мира уроженец,
Земных губительных страстей
Он не носил в груди своей,
Беспечный, ветренный младенец.
И было весело ему.
Он разрезвлялся мило, живо
В толпе детей; не верил злу;
Пред ним цвел мир как бы на ди-
во.
Его подруга с детских дней
Дитя-Луиза, ангел светлый,
Блистала прелестью речей;
Сквозь кольца русые кудрей
Лукавый взгляд жег неприметно;
В зеленой юбочке сама
Поет, танцует ли она —

Всё простодушно, в ней всё живо,
Всё детски в ней красноречиво;
На шейке розовый платок
С груди слетает понемножку,
И стройно белый башмачок
Ее охватывает ножку.
В лесу ль играет вместе с ним —
Его обгонит, всё проникнет,
В куст притаясь с желаньем
злым,
Ему вдруг в уши громко крикнет
—

И испугает; спит ли он —
Ему лицо всё разрисует,
И, звонким смехом пробужден,
Он покидает сладкий сон,
Шалунью резвую целует.

Уходит за весной весна.
Круг детских игр их стал уж
скромен. —
Меж ними резвость не видна;
Огонь очей его стал томен,
Она застенчиво-грустна.
Они понятно угадали
Вас, речи первые любви!
Покуда сладкие печали!
Покуда радужные дни!

Чего б желать с Луизой милой?
Он с ней и вечер, с ней и день,
К ней привлечен он дивной силой,
Как верно бродящая тень.
Полны сердечного участия,
Не наглядятся старики
Их простодушные на счастье
Своих детей; и далеки
От них дни горя, дни сомнений:
Их осеняет мирный Гений./п
Но скоро тайная печаль
Им овладела; взор туманен,
И часто смотрит он на даль,
И беспокоен весь и странен.
Чего-то смело ищет ум,
Чего-то тайно негодует;
Душа, в волненьи темных дум,
О чем-то, скорбная, тоскует;
Он как прикованный сидит,
На море буйное глядит.
В мечтаньи всё кого-то слышит
При стройном шуме ветхих вод.

...

Или в долине ходит думный;
Глаза торжественно блестят,
Когда несетя ветер шумный
И громы жарко говорят;
Огонь мгновенный колет тучи;

Дождя источники горючи
Секутся звучно и шумят. —
Иль в час полночи, в час мечта-
ний
Сидит за книгою преданий,
И, перевертывая лист,
Он ловит буквы в ней немые
— Глаголят в них века седые,
И слово дивное гремит. —
Час углубясь в раздумьи целой,
С нее и глаз он не сведет;
Кто мимо Ганца ни пройдет,
Кто ни посмотрит, скажет сме-
ло:
Назад далеко он живет.
Чудесной мыслью очарован,
Под дуба сумрачную сень
Идет он часто в летний день,
К чему-то тайному прикован;
Он видит тайно чью-то тень,
И к ней он руки простирает,
Ее в забвеньи обнимает. —

А простодушна и одна
Луиза-ангел, что же? где же?
Ему всем сердцем предана,
Не знает, бедненькая, сна;
Ему приносит ласки те же;

Его рученкой обовьет;
Его невинно поцелует;
Он на минуту растоскует
И снова то же запоет./п
Они прекрасны, те мгновенья,
Когда прозрачною толпой
Далеко милые виденья
Уносят юношу с собой.
Но если мир души разрушен,
Забит счастливый уголок,
К нему он станет равнодушен,
И для простых людей высок,
Они ли юношу наполнят?
И сердце радостью ль исполнят?

Пока в жилище суеты
Его подслушаем украдкой,
Доселе бывшие загадкой,
Разнообразные мечты.

Картина III

Земля классических, прекрасных
созиданий,
И славных дел, и вольности
земля!
Афины, к вам, в жару чудесных
трепетаний,
Душой приковываюсь я!

Вот от треножников до самого
Пирея
Кипит, волнуется торжествен-
ный народ;
Где речь Эсхинова, гремя и пламе-
нея,

 Всё своенравно вслед влечет,
Как воды шумные прозрачного
Иллиса.

Велик сей мраморный изящный
Парфенон!
Колон дорических он рядом обне-
сен;

Минерву Фидий в нем переселил
резцом,
И блещет кисть Парразия, Зевк-
сиса.

Под портиком божественный
мудрец
Ведет высокое о дольном мире
слово;
Кому за доблести бессмертие го-
тово,

 Кому позор, кому венец.
Фонтанов стройных шум,
нестройных песней клики;
С восходом дня толпа в амфите-
атр валит,

Персидский кандис весь испещренный
блестит,

И вьются легкие туники.

Стихи Софокловы порывисто звучат;

Венки лавровые торжественно летят;

С медоточивых уст любимца Эпикура

Архонты, воины, служители Амурса

Спешат прекрасную науку изучить:

Как жизнью жить, как наслаждение пить.

Но вот Аспазия! Не смеет и дохнуть

Смятенный юноша, при черных
глаз сих встрече.

Как жарки те уста! как пламенны
те речи!

И темные как ночь, те кудри как-
нибудь,

Волнуясь, падают на грудь,

На беломраморные плечи.

Но что при звуке чаш тимпанов
дикой вой?

Плющем увенчаны вакхические

девы,
Бегут нестройною, неистовой
толпой
В священный лес; всё скрылось...
что вы? где вы?..

Но вы пропали, я один.
Опять тоска, опять досада;
Хотя бы Фавн пришел с долин;
Хотя б прекрасная Дриада
Мне показалась в мраке сада.
О, как чудесно вы свой мир
Мечтою, греки, населили!
Как вы его обворожили!
А наш — и беден он, и сир,
И расквадрачен весь на ми-
ли./п
И снова новые мечты
Его, смеясь, обнимают;
Его воздушно поднимают
Из океана суеты.

Картина IV

В стране, где сверкают живые
ключи;
Где, чудно сияя, блистают лучи;
Дыхание амры и розы ночной
Роскошно объемлет эфир голу-

бой;
И в воздухе тучи курений висят;
Плоды мангустана золотые го-
рят;
Лугов Кандагарских сверкает ко-
вер;
И смело накинут небесный ша-
тер;
Роскошно валится дождь яркий
цветов,
То блещут, трепещут рои мо-
тыльков; —
Я вижу там Пери: в забвеньи она
Не видит, не внемлет, мечтаний
полна.
Как солнца два, очи небесно го-
рят;
Как Гемасагара, так кудри бле-
стят;
Дыхание — лилий серебряных чад,
Когда засыпает истомленный сад
И ветер их вздохи развеет порой;
А голос, как звуки сиринды ноч-
ной,
Или трепетанье серебряных
крыл,
Когда ими звукнет, резвясь, Исра-
зил,

Иль плески Хиндары таинственных струй;
А что же улыбка? А что ж поцелуй?
Но вижу, как воздух, она уж летит,
В края поднебесны, к родимым спешит.
Постой, оглянися! Не внемлет она.
И в радуге тонет, и вот не видна.
Но воспоминанье мир долго хранит,
И благоуханьем весь воздух обвит.

...

Живого юности стремленья
Так испестрялися мечты.
Порой небесного черты,
Души прекрасной впечатленья,
На нем лежали; но чего
В волненьях сердца своего
Искал он думою неясной,
Чего желал, чего хотел,
К чему так пламенно летел
Душой и жадною, и страстной,
Как будто мир желал обнять, —

Того и сам не мог понять.
Ему казалось душно, пыльно
В сей позаброшенной стране;
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней стороне.
Тогда когда б вы повидали,
Как воздымалась буйно грудь,
Как взоры гордо трепетали,
Как сердце жаждало прильнуть
К своей мечте, мечте неясной;
Какой в нем пыл кипел прекрас-
ной;
Какая жаркая слеза
Живые наполнила глаза.

Картина VI

От Висмара в двух милях та де-
ревня,
Где ограничился лиц наших мир.
Не знаю, как теперь, но Люнен-
сдорфом
Она тогда, веселая, звалась.
Уж издали белеет скромный до-
мик
Вильгельма Бауха, мызника. —
Давно,
Женившись на дочери пастора,
Его построил он! Веселый домик!

Он выкрашен зеленой краской,
крыт
Красивою и звонкой черепицей;
Вокруг каштаны старые стоят,
Нависши ветвями, как будто в ок-
на
Хотят продраться; из-за них
мелькает
Решетка из прекрасных лоз, кра-
сиво
И хитро сделана самим Вильгель-
мом;
По ней висит и змейкой вьется
хмель;
С окна протянут шест, на нем бе-
лье
Блится белое пред солнцем.
Вот
В пролом на чердаке толпится
стая
Мохнатых голубей; протяжно
клохчут
Индейки; хлопая встречает день
Крикун петух и по двору вот важ-
но,
Меж пестрых кур, он кучи разгре-
бает
Зернистые; гуляют тут же две

Ручные козы резвяся щиплют
Душистую траву. Давно курился
Уж дым из белых труб, курчаво
он

Вился и облака приумножал.
С той стороны, где с стен вали-
лась краска

И серые торчали кирпичи,
Где древние каштаны стлали
тень,

Которую перебегало солнце,
Когда вершину их ветер резво ко-
лыхал, —

Под тенью тех деревьев вечно ми-
лых

Стоял с утра дубовый стол, весь
чистой

Покрытый скатертью и весь
установлен

Душистой яствой: желтый вкус-
ный сыр,

Редис и масло в фарфоровой утке,
И пиво, и вино, и сладкой бишеф,

И сахар, и коричневые вафли;

В корзине спелые, блестящие пло-
ды:

Прозрачный грозд, душистая ма-
лина,

И как янтарь желтеющие груши,
И сливы синие, и яркий персик,
В затейливом виднелось всё по-
рядке.

Сегодня праздновал живой Виль-
гельм

Рожденье дорогой своей супруги,
С пастором и драгоценными дочерьми:
Луизой старшей и меньшою Фан-
ни.

Но Фанни нет, она давно пошла
Звать Ганца и не возвращалась.

Верно,

Он где-нибудь опять в раздумьи
бродит.

А милая Луиза всё глядит

Внимательно на темное окно

Соседа Ганца. Два шага всего ведь

К нему; но не пошла моя Луиза:

Чтоб не заметил он в ее лице

Тоски докучливой, чтоб не прочел

В ее глазах он едкою упрека.

Вот говорит Вильгельм, отец, Лу-
изе:

„Смотри, ты Ганца пожужи по-
рядком:

Зачем он к нам так долго не
идет?

Ведь ты его сама избаловала“.
И вот дитя-Луиза так в ответ:
„Боюсь журить прекрасного я Ганца:

И без того он болен, бледен, худ...“

—
— „Что за болезнь“, сказала
мать,

Живая Берта: „не болезнь, тоска
Незванная к нему сама пристала;

Вот женится, и отпадет тоска.
Так молодой побег, совсем
приглохший,

Опрыснутый дождем, в миг зацветет;

И что ж жена, как не веселье мужа?“

„Речь умная“, седой пастор примолвил:

„Всё, верь, пройдет, когда захочет бог,

И будь во всем его святая воля“.

—
Уже два раза он из трубки выбивал

Золу, и в спор вступал с Вильгельмом,

Разговорясь про новости газет,

Про злой неурожай, про греков и
про турок,
Про Мисолунги, про дела войны,
Про славного вождя Колокотро-
ни,
Про Канинга, про парламент,
Про бедствия и мятежи в Мадри-
те.
Как вдруг Луиза вскрикнула и ми-
гом,
Увидя Ганца, бросилась к нему.
Воздушный стан ее обнявши
стройный,
С волненьем юноша ее поцеловал.
Оборотясь к нему, вот молвит
пастор:
„Эх, стыдно, Ганц, забыть своего
друга!
Да что, коли уже забыл Луизу,
Об нас ли, стариках, и ду-
мать?“ — „Полно
Тебе всё Ганца, папенька, жу-
рить“,
Сказала Берта: „лучше сядем мы
Теперь за стол, не то простынет
всё:
И каша с рисом и вином души-
стым,

И сахарный горох, каплун горячий,
Зажаренный с изюмом в масле“.

Вот

За стол они садятся мирно;
И скоро вмиг вино всё оживило
И, светлое, смех в душу пролило.
Старик скрипач и Фриц на звон-
кой флейте

Согласно грянули хозяйке в честь.
Все понеслись и закружились в
вальсе.

Развеселясь, румяный наш Виль-
гельм

Пустился сам с своей женой, как с
павой;

Как вихорь, несся Ганц с своей Луи-
зой

В бурливом вальсе; и пред ними
мир

Вертелся весь в чудесном, шум-
ном строе.

А милая Луиза нидохнуть,
Ни посмотреть вокруг не может,
вся

В движеньи потерялась. Ими
Не налюбуйся, говорит пастор:
„Любезная, прекрасная чета!
Мила моя веселая Луиза,

Прекрасен и умен, и скромен Ганц;
—

*Сотворены они уж друг для друга
И счастливо свою жизнь прове-
дут.*

*Благодарю тебя, о боже милосер-
дый!*

*Что ниспослал на старость бла-
годать,*

Мои продлил дряхлеющие силы —

*Чтобы узреть таких прекрасных
внучат,*

*Чтобы сказать, прощаясь с вет-
хим телом:*

Прекрасное я видел на земли“.

Картина VII

*С прохладою спокойный тихий ве-
чер*

*Спускается; прощальные лучи
Целуют где-где сумрачное море;*

И искрами живыми, золотыми

Деревья тронуты; и вдалеке

*Виднеют, сквозь туман морской,
утесы,*

Все разноцветные. Спокойно всё.

*Пастушьих лишь рожков унывный
голос*

Несется вдаль с веселых берегов,
Да тихий шум в воде всплеснувшей
рыбы
Чуть пробежит и вздернет море
рябью,
Да ласточка, крылом черпнувши
моря,
Круги по воздуху скользя дает.
Вот заблестел вдали, как точка,
катер;
А кто же в нем, в том катере, си-
дит?
Сидит пастор, наш старец седо-
власый
И с дорогой супругою Вильгельм;
А резвая всегда шалунья Фанни,
С удой в руках и свесившись с пе-
рил,
Смеясь, рученкою болтала волны;
Возле кормы с Луизой милой Ганц,
И долго все в молчаньи любова-
лись:
Как за кормой широкая ходила
Волна и в брызгах огнецветных,
вдруг
Веслом разорванная, трепетала;
Как разъяснялась розовая даль-
ность

И южный ветер дыханье навевал.
И вот пастор, исполнен умиленья,
Проговорил: „Как мил сей божий вечер!
Прекрасен, тих он, как благая жизнь
Безгрешного; она ведь также мирно
Кончает путь, и слезы умиленья
Священный прах, прекрасные, кропят.
Пора и мне уж; срок назначен,
И скоро, скоро я не буду ваш,
Но эдак ли прекрасно опочию?..“
Все прослезилась. Ганц, который песню
Наигрывал на сладостном гобое,
Задумался и выронил гобой;
И снова сон какой-то осенил
Его чело; далеко мчались мысли,
И чудное на душу натекло.
И вот ему так говорит Луиза:
„Скажи мне, Ганц, когда еще ты любишь
Меня, когда я пробудить могу
Хоть жалость, хоть живое страданье

В душе твоей, не мучь меня, скажи, —

Зачем один с какой-то книгой
Ты ночь сидишь? (мне видно всё,
И окнами ведь друг мы против
друга).

Зачем дичишься всех? зачем грустишь?

О, как меня твой грустный вид
тревожит!

О, как меня печаль твоя печалит!“

И, тронутый, смутился Гани;
Ее к груди с тоскою прижимает,
И брызнула невольная слеза.

„Не спрашивай меня, моя Луиза,
И беспокойством сим тоски не
множь.

Когда ж кажусь погружен в мысли —

Верь, занят и тогда тобой одною,
И думаю я, как бы отворотить
Все от тебя печальные сомненья,
Как радостью твое наполнить
сердце,

Как бы души твоей хранить покой,

Оберегать твой детский сон

невинный:
Чтобы недоброе не приближа-
лось,
Чтобы и тень тоски не прикаса-
лась,
Чтоб счастье твое всегда цвело“.
Спустясь к нему головкою на
грудь,
В избытке чувств, в признатель-
ности сердца
Ни слова вымолвить она не мо-
жет. —
По берегу неслася лодка плавно
И вдруг причалила. Все вышли
Вмиг из нее. „Ну! берегитесь, де-
ти“, —
Сказал Вильгельм: „здесь сыро и
роса,
Чтоб не нажить несносного вам
кашля“. —
Дорогой Ганц наш мыслит: „что
же будет,
Когда услышит то, чего и знать
бы
Не должно ей?“ И на нее глядит
И чувствует он в сердце укоризну:
Как будто бы недоброе что сде-
лал,

Как будто бы пред богом лицемерил.

Картина VIII

На башне бьет час полуночный.
Так, это час, час дум урочный,
Как Ганц один всегда сидит!
Свет лампы перед ним дрожит
И бледно сумрак освещает,
Как бы сомненья разливает.
Всё спит. Ничей блудящий взор
На поле никого не встретит;
И, как далекий разговор,
Волна шумит, а месяц светит.
Всё тихо, дышит ночь одна.
Теперь его глубоких дум
Не потревожит дневный шум:
Над ним такая ж тишина.

А что ж она? — Встает она,
Садится прямо у окна:
„Он не посмотрит, не приметит,
А насмотрюсь я на него;
Не спит для счастья моего!..
Благослови, господь, его!“/п
Волна шумит, а месяц светит.
И вот над нею вьется сон
И голову невольно клонит.

Но Ганц всё так же в мыслях то-
нет,
В глубь их далеко погружен.

1.

Всё решено. Теперь ужели
Мне здесь душою погибать?
И не узнать иной мне цели?
И цели лучшей не сыскать?
Себя обречь бесславыю в жертву?
При жизни быть для мира мерт-
ву?

2.

Душой ли, славу любившей,
Ничтожность в мире полюбить?
Душой ли, к счастью не остыв-
шей,
Волненья мира не испытать?
И в нем прекрасного не встре-
тить?
Существованья не отметить?

3.

Зачем влечете так к себе вы,
Земли роскошные края?
И день и ночь, как птиц напевы,
Призывный голос слышу я;

*И день и ночь мечтами скован,
Я вами, вами очарован.*

4.

*Я ваш! я ваш! из сей пустыни
Вниду я в райские места;
Как пилигрим бредет к святыне,
...*

*Корабль пойдет, забрызжут вол-
ны;
Им чувства вслед, веселья полны.*

5.

*И он спадет, покров неясный,
Под коим знала вас мечта,
И мир прекрасный, мир прекрас-
ный
Отворит дивные врата,
Приветить юношу готовый
И в наслажденьях вечно новый.*

6.

*Творцы чудесных впечатлений!
Резец ваш, кисть увижу я,
И ваших пламенных творений
Душа исполнится моя.
Шумы ж, мой океан широкий!
Неси корабль мой одинокий!*

7.

*А ты прости, мой угол тесный,
И лес, и поле! луг, прости!
Кропи вас чаще дождь небесный!
И дай бог долее цвести!
По вас душа как будто страждет,
В последний раз обнять вас жаждет.*

8.

*Прости, мой ангел безмятежный!
Чела слезами не кропи!
Не предавайсь тоске мятежной
И Ганца бедного прости!
Не плачь, не плачь, я скоро буду,
Я возвращусь — тебя ль забуду?..*

Картина IX

*Кто это позднею порой
Ступает тихо, осторожно?
Видна котомка за спиной,
Посох за поясом дорожный.
Направо домик перед ним,
Налево дальняя дорога,
Итти путем он хочет сим
И просит твердости у бога.*

Но мукой тайною томим,
Назад он ноги обращает
И в домик тот он поспешает./п
Одно окно открыто в нем;
Облокотясь, пред тем окном
Краса-девица поживает,
И, вея ветер над ней крылом,
Ей сны чудесные внушает;
И, ими, милая, полна,
Вот улыбается она.
С душеволненьем к ней подхо-
дит...
Стеснилась грудь; дрожит слеза...
И на прекрасную наводит
Свои блестящие глаза.
Он наклонился к ней, пылает,
Ее целует и стенает./п
И, вздрогнув, быстро он бежит
Опять дорогою далекой;
Но мрачен беспокойный вид,
Но грустно в сей душе глубокой.
Вот оглянулся он назад:
Но уж туман окрестность кро-
ет,
И пуще юноши грудь ноет,
Прощальный посылая взгляд.
Ветр, пробудившись, суровой
Качнул зеленою дубровой.

Исчезло всё в дали пустой.
Сквозь сон лишь смутною порой

Готлиб привратник будто слышал,
Что из калитки кто-то вышел,
Да верный пес, как бы в укор,
Пролаял звучно на весь двор.

Картина X

Не всходит долго светлый вождь.
Ненастно утро; на поляны
Валяются серые туманы;
Звенит по кровлям частый
дождь.
С зарей красавица проснулась;
Сама дивится, что она
Проспала ночь всю у окна.
Поправив кудри, улыбнулась,
Но, против воли, взор живой,
Блеснул досадною слезой.
„Что Ганц так долго не приходит?
Он обещал мне быть чуть свет.
Какой же день! тоску наводит;
Туман густой по полю ходит,
И ветер свистит; а Ганца нет“./n
Полна живого нетерпенья,

Глядит на милое окно:
Не отворяется оно.
Ганц, верно, спит, и сновиденья
Ему творят любой предмет;
Но день давно уж. Рвут долины
Ручьи дождя; дубов вершины
Шумят; а Ганца нет, как нет.

Уж скоро полдень. Неприметно
Туман уходит; лес молчит;
Гром в размышлении гремит
Вдали... Дугою семицветной
Горит на небе райский свет;
Унизан искрами дуб древний;
И песни звонкие с деревни
Звучат; а Ганца нет, как нет./п
Что б это значило?.. находит
Злодейка грусть; слух утомлен
Считать часы... Вот кто-то вхо-
дит
И в дверь... Он! он!.. ах, нет, не он!
В халате розовом покойном,
В цветном переднике с каймой,
Приходит Берта: „Ангел мой!
Скажи, что сделалось с тобой?
Ты ночь всю спала беспокойно;
Ты вся томна, ты вся бледна.
Не дождь ли помешал шумливый?

Или ревущая волна?
Или петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна?
Иль потревожил дух нечистой
Во сне покой девицы чистой,
Навеял черную печаль?
Скажи, тебя всем сердцем жаль!“

—/n

„Нет, не мешал мне дождь шум-
ливый,
И не ревущая волна,
И не петух, буян крикливый,
Всю ночь не ведающий сна;
Не эти сны, не те печали
Мне грудь младую взволновали,
Не ими дух мой возмущен,
Иной мне снился дивный сон.

„Мне снилось: в темной я пусты-
не,
Вокруг меня туман и глушь.
И на болотистой равнине
Нет места, где была бы сушь.
Тяжелый запах: топко, вязко;
Что шаг, то бездна подо мной:
Боюсь я ступить ногой;
И вдруг мне сделалось так тяж-
ко,

Так тяжко, что нельзя сказать...
Где ни возьмись Ганц дикий,
странный,
— Бежала кровь, струясь из раны

—
Вдруг начал надо мной рыдать;
Но, вместо слез, лились потоки
Какой-то мутная воды...
Проснулась я: на грудь, на щеки,
На кудри русой головы,
Бежал ручьями дождь досадной;
И было сердцу не отрадно.
Меня предчувствие берет...
И я кудрей не выжимала;
И я всё утро тосковала;
Где он? и что с ним? что ней-
дет?"/n
Стоит, качает головою,
Разумная, пред нею мать:
„Ну, дочка! мне с твоей бедою,
Не знаю, как уж совладать.
Пойдем к нему, узнаем сами,
Да будь святая сила с нами!“/n
Вот входят в комнату оне;
Но в ней всё пусто. В стороне
Лежит, в густой пыли, том дав-
ний,
Платон и Шиллер своенравный,

Петрарка, Тик, Аристофан
Да позабытый Винкельман;
Куски изодранной бумаги;
На полке — свежие цветы;
Перо, которым, полн отваги,
Передавал свои мечты.
Но на столе мелькнуло что-то.
Записка!.. с трепетом взяла
Луиза в руки. От кого-то?
К кому?.. И что ж она прочла?..
Язык лепечет странно пени...
И вдруг упала на колени;
Ее кручина давит, жжет,
Гробовый холод в ней течет.

Картина XI

Ты посмотри, тиран жестокий,
На грусть убитыя души!
Как вянет цвет сей одинокий,
Забывший в пасмурной глуши!
Вглядись, взглядишь в свое творе-
нье:
Ее ты счастья лишил
И жизни радость претворил
В тоску ей, в адское мученье,
В гнездо разоренных могил.
О, как она тебя любила!
С каким восторгом чувств жи-

вым

*Простые речи говорила!
И как внимал речам ты сим!
Как пламенен и как невинен
Был этот блеск ее очей!
Как часто ей, в тоске своей,
Тот день казался скучен, длинен,
Когда, раздумью предана,
Тебя не видела она.
И ты ль, и ты ль ее оставил?
Ты ль отвернулся от всего?
В страну чужую путь направил,
И для кого? и для чего?
Но посмотри, тиран жестокий:
Она всё также, под окном,
Сидит и ждет в тоске глубокой,
Не промелькнет ли милый в нем.
Уж гаснет день; сияет вечер;
На всё наброшен дивный блеск;
Прохладный вьется в небе ветер;
Волны чуть слышен дальний
плеск.
Уже ночь тени настигает;
Но запад всё еще сияет.
Свирель чуть льется; а она
Сидит недвижно у окна.*

Ночные видения

Темнеет, тухнет вечер красный;
Спит в упоении земля;
И вот на наши уж поля
Выходит важно месяц ясный.
И всё прозрачно, всё светло;
Сверкает море, как стекло. —

В небе чудные вот тени
Развились и свились,
И чудесно понеслись
На небесные ступени.
Прояснилось: две свечи;
Двое рыцарей косматых;
Два зубчатые мечи
И чеканенные латы;
Что-то ищут; стали в ряд.
И зачем-то переходят;
И дерутся, и блестят;
И чего-то не находят...
Всё пропало, слилось с тьмой;
Светит месяц над водой.

Блистательно всю рошу оглаша-
ет
Царь соловей. Звук тихо разнесен.
Чуть дышит ночь; земля сквозь
сон
Мечтательно певцу внимает.

*Лес не колышется; всё спит,
Лишь вдохновенна песнь звучит.*

*Показался дивной феи
Слитый с воздуха дворец,
И в окне поет певец
Вдохновенные затеи.
На серебряном ковре,
Весь затканый облаками,
Чудный дух летит в огне;
Север, юг покрыл крылами.
Видит: фея спит в плену
За решеткою коральной;
Перламутрную стену
Рушит он слезой хрусталь-
ной.
Обнялись... слился с тмой...
Светит месяц над водой.*

*Сквозь пар окрестность чуть
сверкает.
Какую кучу тайных дум
Наводит моря странный шум!
Огромный кит спиной мелькает;
Рыбак закутался и спит;
А море всё шумит, шумит.*

Вот из моря молодые

Девы чудные плывут;
Голубые, огневые
Волны белые гребут.
Призадумавшись, колышет
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышет...
И роскошная нога
Стелет брызги в два ряда.../п
Улыбается, хохочет,
Страстно манит и зовет,
И задумчиво плывет,
Будто хочет и не хочет,
И задумчиво поет
Про себя, младу сирену,
Про коварную измену,
А на тверди голубой,
Светит месяц над водой.

Вот в стороне глухой кладбище:
Ограда ветхая кругом,
Кресты, каменья... скрыто мхом
Немых покойников жилище.
Полет да крики только сов
Тревожат сон пустых гробов.

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно

Оттирает, молодец,
С чела давнего хлад веет,
В глазе палевый огонь,
И под ним великой конь,
Необъятный, весь белеет
И всё более растёт,
Скоро небо обоймет;
И покойники с покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колетса и — бух
Тени разом в бездну... Уф!

И стало страшно ей; мгновенно
Она прихлопнула окно.
Всё в сердце трепетном смятен-
но,
И жар, и дрожь попеременно
По нем текут. В тоске оно.
Внимание развлечено./п
Когда, рукою беспощадной,
Судьба надвинет камень хладный
На сердце бедное, — тогда,
Скажите, кто рассудку верен?
Чья против зол душа тверда?
Кто вечно тот же завсегда?
В несчастьи кто не суверен?
Кто крепкой не бледнел душой
Перед ничтожною мечтой?

С боязнью, с горестию тайной,
В постель кидается она;
Но ждет напрасно в ложе сна.
В тме прошумит ли что случай-
но,
Скребунья-мышь ли пробежит, —
От вежд коварный сон летит.

Картина XIII

Печальны древности Афин.
Колон, статуй ряд обветшалый
Среди глухих стоит равнин.
Печален след веков усталых:
Изящный памятник разбит,
Изломлен немощный гранит,
Одни обломки уцелели.
Еще доныне величав,
Чернеет дряхлый архитрав,
И вьется плющ по капители;
Упал расщепленный карниз
В давно-заглохшие окопы.
Еще блестит сей дивный фриз,
Сии рельефные метопы;
Еще доныне здесь грустит
Коринфский орден многолепный,
— Рой ящериц по нем скользит —
На мир с презреньем он глядит;
Всё тот же он великолепный,

Времен минувших вдавлен в тму,
И без вниманья ко всему.

Печальны древности Афин.
Туманен ряд былых картин.
Облокотясь на мрамор хладный,
Напрасно путник алчет жадный
В душе былое воскресить,
Напрасно силится развить
Протекших дел истлевший сви-
ток, —
Ничтожен труд бессильных пы-
ток;
Везде читает смутный взор
И разрушенье, и позор.
Промеж колон чалма мелькает,
И мусульманин по стенам,
По сим обломкам, камням, рвам,
Коня свирепо напирает,
Останки с воплем разоряет.
Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлет,
Души он тяжкий ропот внемлет;
Ему и горестно, и жаль,
Зачем он путь сюда направил.
Не для истлевших ли могил
Кров безмятежный свой оставил,
Покой свой тихий позабыл?

Пускай бы в мыслях обитали
Сии воздушные мечты!
Пускай бы сердце волновали
Зерцалом чистой красоты!
Но и убийственно, и хладно
Разворожились вы теперь.
Безжалостно и беспощадно
Пред ним захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой,
Дверь в тихий мир мечтаний,
жаркой! —
И грустно, медленной стопой
Руины путник покидает;
Клянется их забыть душой;
И всё невольно помышляет
О жертвах бренности слепой.

Картина XVI

Ушло два года. В мирном Люнен-
сдорфе
Попрежнему красуется, цветет;
Всё те ж заботы, и забавы те же
Волнуют жителей покойные
сердца.
Но не попережнему в семье Виль-
гельма:
Пастора уж давно на свете нет.
Окончив путь и тягостный, и

трудный,
Не нашим сном он крепко опочил.
Все жители останки провожали
Священные, с слезами на глазах;
Его дела, поступки поминали:
Не он ли нам спасением служил?
Нас наделял своим духовным хле-
бом,
В словах добру прекрасно поучая.
Не он ли был утехою скорбящих;
Сирот и вдов нетрепетным щи-
том. —
В день праздничный, как кротко
он, бывало,
Всходил на кафедру! и с умиле-
ньем
Нам говорил про мучеников чи-
стых,
Про тяжкие страдания Христо-
вы,
А мы ему, растроганны, внимали,
Дивилися и слезы проливали./п
От Висмара когда кто держит
путь,
Встречается налево от дороги
Ему кладбище: старые кресты
Склонились, обшиты мохом,
И времени изведены резцом.

Но промеж них белеет резко урна
На черном камне, и над ней сми-
ренно

Два явора зеленые шумят,
Далеко хладной обнимая тенью.

Тут бранные покоятся останки
Пастора. Вызвались на свой же
счет

Сооружить над ним благие посе-
ляне

Последний знак его существова-
нья

В сем мире. Надпись с четырех
сторон

Гласит, как жил и сколько мир-
ных лет

Провел на пастве, и когда оста-
вил

Свой долгий путь, и богу дух вру-
чил. —

И в час, когда стыдливый развива-
ет

Румяные восток свои власы;

Подыметя по полю свежий ве-
тер;

Посыплется алмазами роса;

В своих кустах малиновка за-
льется;
Полсолнца на земле всходя горит;
—

К нему идут молодые поселанки,
С гвоздиками и розами в руках.
Увешают душистыми цветами,
Гирляндю зеленой обовьют,
И снова в путь назначенный идут.
Из них одна, молодая, остается
И, опершись лилейною рукой,
Над ним сидит в раздумьи долго,
долго,
Как будто бы о непостижном
мыслит.

В задумчивой, скорбящей деве сей
Кто б не узнал печальныя Луизы?
Давно в глазах веселье не бле-
стит;
Не кажется невинная усмешка
В ее лице; не пробежит по нем,
Хотя ошибкой, радостное чув-
ство;
Но как мила она и в грусти том-
ной!
О, как возвышенен невинный этот
взгляд!
Так светлый серафим тоскует

О пагубном паденьи человека.
Мила была счастливая Луиза,
Но как-то мне в несчастьи милее.
Осьмнадцать лет тогда минуло
ей,
Когда преставился пастор разум-
ный.
Всей детскою она своей душой
Богopodobного любила старца;
И думает в душевной глубине:
„Нет, не сбылись живые упованья
Твои. Как, добрый старец, ты же-
лал
Нас обвенчать перед святым на-
лоем,
Навеки наш союз соединить.
Как ты любил мечтательного
Ганца!
А он...“

Заглянем в хижину Вильгельма.
Уж осень. Холодно. И дома он
Вытачивал с искусством хитрым
кружки
Из крепкого с слоями бука,
Затейливой резьбою украшая;
У ног его свернувшись лежал
Любимый друг, товарищ верный,

Гектор.

А вот разумная хозяйка Берта
С утра уже заботливо хлопочет
О всем. Толпится также под ок-
ном

Гусей ватага долгошейных; так
же

Неугомонные кудахчут куры;
Чиликают нахалы воробьи,
Весь день в навозной куче роясь.
Видали уж красавца снигиря;
И осенью давно запахло в поле,
И пожелтел давно зеленый лист,
И ласточки давно уж отлетели
За дальние, роскошные моря.

Кричит разумная хозяйка Берта:
„Так долго не годится быть Луи-
зе!

Темнеет день. Теперь не то, что
летом;

Уж сыро, мокро, и густой туман
Так холодом всего и пронимает.
Зачем бродить? беда мне с этой
девкой;

Не выкинет она из мыслей Ганца;
А бог знает, он жив ли, или нет“.
Не то совсем раздумывает Фан-
ни,

За пяльцами сидя в своем углу.
Шестнадцать лет ей, и, полна
тоски
И тайных дум по идеальном дру-
ге,
Рассеянно, невнятно говорит:
„И я бы так, и я б его любила“. —

Картина XVII

Унывна осени пора;
Но день сегодняшний прекрасен:
На небе волны серебра,
И солнца лик блестящ и ясен.
Один дорогой почтовой
Бредет, с котомкой за спиной,
Печальный путник из чужбины.
Уныл, и томен он, и дик,
Идет согнувшись, как старик;
В нем Ганца нет и половины.
Полупотухший бродит взор
По злачным холмам, желтым
нивам,
По разноцветной цепи гор.
Как бы в забвении счастливом,
Его касается мечта;
Но мысль не тем уж занята. —
Он в думы крепкие погружен.
Ему покой теперь бы нужен./п

Прошел он дальний, видно, путь;
Страдает больно, видно, грудь;
Душа страдает, жалко ноя;
Ему теперь не до покоя./п
О чем же думы крепки те?
Дивится сам он суете:
Как был измучен он судьбою;
И зло смеется над собою,
Что поверял своей мечтой
Свет ненавистный, слабоумной;
Что задивился в блеск пустой
Своей душою неразумной;
Что, не колеблясь, смело он
Сим людям кинулся в объятья;
И, околдован, охмелен,
В их злые верил предприятия. —
Как гробы холодны они;
Как тварь презреннейшая низки;
Корысть и почести одни
Им лишь и дороги, и близки.
Они позорят дивный дар:
И попирают вдохновенье,
И презирают откровенье;
Их холоден притворный жар,
И губельно их пробужденье.
О, кто б нетрепетно проник
В их усыпительный язык!
Как ядовито их дыханье!

Как ложно сердца трепетанье!
Как их коварна голова!
Как пустозвучны их слова!

И много истин он, печальный,
Теперь изведal и узнал,
Но сам счастливее ли стал
Во глубине души опальной?
Лучистой, дальнею звездой
Его влекла, тянула слава,
Но ложен чад ее густой,
Горька блестящая отрава. — /п
Склоняется на запад день,
Вечерняя длиннеет тень.
И облаков блестящих, белых
Ярче алые края;
На листьях темных, пожелте-
лых
Сверкает золота струя.
И вот завидел странник бедный
Свои родимые луга.
И взор мгновенно вспыхнул блед-
ный,
Блеснула жаркая слеза.
Рой прежних, тех забав невинных
И тех проказ, тех дум старинных
—
Всё разом налегло на грудь

*И не дает емудохнуть.
И мыслит он: что это значит?..
И, как ребенок слабый, плачет.*

Дума

*Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознанья,
В поре могучих сил своих,
Тот, небом избранный, постиг
Цель высшую существованья;
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожат ночь и день,
Его влекут в мир шумный, бур-
ный;
Но мысль и крепка, и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра;
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не щадит.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд средь сих живых облом-
ков.
И только слышит, как шумит
Благословение потомков./п
Когда ж коварные мечты
Взволнуют жаждой яркой доли,
А нет в душе железной воли,*

Нет сил стоять средь суеты, —
Не лучше ль в тишине укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скром-
ной
И шуму света не внимать?

Картина XVIII

Выходят звезды плавным хором,
Обозревают кротким взором
Опочивающий весь мир;
Блюдут сон тихий человека,
Ниспосылают добрым мир;
А злым яд губительный упреха.
Зачем же, звезды, грустным вы
Не посылаете покоя?
Для горемычной головы
Вы — радость, и, на вас покоя
Свой грустный стосковальный взор,
Страстей он слышит разговор
В душе, и вас он призывает,
И вам он пени поверяет.
Попрежнему всегда томна,
Еще Луиза не разделась;
Не спится ей; в мечтах она
На ночь осенню загляделась.
Предмет и тот же, и один...
И вот восторг к ней в душу вхо-

дит:

Песнь стройную она заводит,
Звучит веселый клавесин./п
Внимая шуму листопада,
Промеж деревьев, где сквозит
Из стен решетчатых ограда,
В забвеньи сладостном, у сада,
Наш Ганц закутавшись стоит.
И что же с ним, когда он звуки
Давно-знакомые узнал,
И голос тот, со дня разлуки
Что долго, долго не слышал;
И песню ту, что в страсти жар-
кой,
В любви, в избытке дивных сил,
Под строй души в напевах яркой,
Ее, восторженный, сложил?
Чрез сад она звенит, несется
И в упоеньи тихом льется:

Тебя зову! тебя зову!
Твоей улыбкою чаруюсь,
С тобой не час, не два сижу,
С тебя очей я не свожу:
Дивуюсь, не надивуюсь.

* * *

Поешь ли ты — и звон речей

Твоих, таинственный, невинный,
Ударит в воздух ли пустынный —
Звук в небе льется соловьиный,
Гремит серебряный ручей.

* * *

Приди ко мне, прижмись ко мне
В жару чудесного волнения.
Пылает сердце в тишине;
Они горят, они в огне,
Твои покойные движенья.

* * *

Я без тебя грущу, томлюсь,
И позабыть тебя нет силы.
И пробуждаюсь ли, ложусь,
Всё о тебе молюсь, молюсь,
Всё о тебе, мой ангел милый.

* * *

И вот почудилось ей:
Чудесным заревом очей
Возле нее блистает кто-то,
И слышит вздох она кого-то,
И страх, и дрожь ее берет...
И оглянулась...

„Ганц!“...

О, кто поймет

Всю эту радость чудной встречи!
И взоров пламенные речи!
И этот чувств счастливый гнет!
О, кто так пламенно опишет
Сию душевную волну,
Когда она грудь рвет и пышет,
Терзает сердца глубину,
А сам дрожишь, в весельи млеешь,
Ни дум, ни слов найти не смеешь;
В восторге, в куче сладких мук,
Сольешься в стройный, светлый
звук!

Опомнясь, Ганц глядит сквозь
слезы
В глаза подруги своей;
И мыслит: „Полно, это грезы;
Пусть же не просыпаюсь я.
Она всё та ж, и так любила
Меня всей детскою душой!
Чело печалию накрыла,
Румянец свежий иссушила,
Губила век свой молодой;
А я, безумный, бестолковой,
Летел искать кручины новой!..“
И спал страданий тяжкий сон
С его души; живой, спокойной,
Переродился снова он.

На время бурей возмущен,
Так снова блещет мир наш строй-
ной;

В огне закаленный булат
Так снова ярче во сто крат./п
Пируют гости, рюмки, чаши
Кругом обходят и гремят; —
И старики болтают наши;
И в танцах юноши кипят.
Звучит протяжным, шумным
громом

Музыка яркая весь день;
Ворочает веселье домом;
Гостеприимно блещет сень.
И поселянки молодые
Чету влюбленную дарят:
Несут фиалки голубые,
Несут им розы огневые,
Их убирают и шумят:
Пусть век цветут их дни младые,
Как те фиалки полевые;
Сердца любовью да горят,
Как эти розы огневые! —

И в упоеньи, в неге чувств
Заране юноша трепещет, —
И светлый взор весельем блещет;
И беспритворно, без искусств,

Оковы сбросив принужденья,
Вкушает сердце наслажденья.
И вас, коварные мечты,
Боготворить уж он не станет, —
Земной поклонник красоты.
Но что ж опять его туманит?
(Как непонятен человек!)
Прощаясь с ними он навек, —
Как бы по старом друге верном,
Грустит в забвении усердном.
Так в заключеньи школьник
ждет,
Когда желанный срок придет.
Лета к концу его ученья —
Он полон дум и упоенья,
Мечты воздушные ведет:
Он независимый, он вольный,
Собой и миром всем довольный,
Но, расставаяся с семьей
Своих товарищей, душой
Делил с кем шалость, труд, по-
кой, —
И размышляет он, и стонет,
И с невыразною тоской
Слезу невольную уронит.

Эпилог

В уединении, в пустыне,

В никем неизвестной глуши,
В моей неизвестной святыне,
Так создаются отныне
Мечтанья тихие души.
Дойдет ли звук подобно шуму,
Взволнует ли кого-нибудь,
Живую юноши ли думу,
Иль девы пламенную грудь?
Веду с невольным умиленьем
Я песню тихую мою,
И с неразгаданным волненьем
Свою Германию пою.
Страна высоких помышлений!
Воздушных призраков страна!
О, как тобой душа полна!
Тебя обняв, как некий Гений,
Великий Гётте бережет,
И чудным строем песнопений
Свекает облака забот. —

Вечера на хуторе близ Диканьки

Часть первая

Предисловие*

„Это что за невидаль: *Вечера на хуторе близ Диканьки*? Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарали пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее“.

Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! — Это всё равно, как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь обо-

рвавшийся мальчишка, посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. „Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..“ Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором, вот уже пять лет, как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великой свет. А показался — плачь, не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему, или куму), — у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брежжет огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум... Это у нас *вечерницы!* Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать,

чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрыпачем — подыметя крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только ни расскажут! Откуда старины ни выкопают! Каких страхов ни нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком — ей богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся, накануне праздничного

дня, добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному, и по-выше пасичника, сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в тонком суконном балахоне, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из пазухи опрятно сложенный, белый платок, вышитый

по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю, и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели, или подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать — вычурно, да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему на счет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латыньщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата, у него лопатус; баба, бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латыньщик увидел грабли и спрашивает отца: „Как это, батьку, по вашему называется?“ Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и — хватить его по лбу. „Проклятые грабли!“ за-

кричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин: „как же они, чорт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!“ Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! — Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, — и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный платок, тогда только проворчал про себя, чуть ли еще не поговорку: *„не мечите бисера перед свиньями“*... „Быть же теперь ссоре“, подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись

за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того, чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как чорта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину, в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали, да читали, а у меня, пожалуй, лень только проклятая рыться, наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора.

Про Диканьку же, думаю, вы наслушались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: „А где живет пасичник Рудый Панько?“ — „А вот там!“ скажет он, указавши пальцем, и если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу однако ж не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич, третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

За то уже, как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя, какой: чист, как слеза, или

хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что то за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло, так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушовый квас с терновыми ягодами, или варенуху с изюмом и сливами? Или, не случилось ли вам, подчас, есть пугрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж, что я в самом деле разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

ПАСИЧНИК РУДЫЙ ПАНЬКО*.

На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны*.

Банду́ра, инструмент, род гитары.

Бато́г, кнут.

Боля́чка, золотуха.

Бо́ндарь, бочарь.

Бу́блик, круглый крендель, баранчик.

Буря́к, свекла.

Буха́нец, небольшой хлеб.

Ви́нница, винокурня.

Галу́шки, клёцки.

Голодра́бец, бедняк, бобыль.

Гопа́к, Горлица, малороссийские танцы.

Дивчина, девушка.

Дивча́та, девушки.

Дижá, кадка.

Дрибу́шки, мелкие косы.

Домови́на, гроб.

Ду́ля, шиш.

Дукáт, род медали, носится на шее.

Зна́хор, многознающий, ворожея.

Жи́нка, жена.

Жупáн, род кафтана.

Кагане́ц, род светильни.

Кле́пки, выпуклые дощечки, из коих со-
ставлена бочка.

Книш, род печеного хлеба.

Кóбза, музыкальный инструмент.

Комóра, анбар.

Кора́блик, головной убор.

Кунтуш, верхнее старинное платье.
Корова́й, свадебный хлеб.
Кúхоль, глиняная кружка.
Лысый дидько, домово́й, демон.
Лю́лька, трубка.
Маки́тра, горшок, в котором трут мак.
Макогóн, пест для растирания маку.
Малаха́й, плеть.
Ми́ска, деревянная тарелка.
Молоди́ца, замужняя женщина.
На́ймыт, нанятой работник.
На́ймычка, нанятая работница.
Оселéдец, длинный клочок волос на голове,
заматывающийся на ухо.
Очи́пок, род чепца.
Пампу́шки, кушанье из теста.
Па́сичник, пчеловод.
Па́рубок, парень.
Пла́хта, нижняя одежда женщин.
Пе́кло, ад. Пере́купка, торговка.
Переполо́х, испуг.
Пейсики, жидовские локоны.
Повѣ́тка, сарай.
Полу́табенек, шелковая материя.
Пу́тря, кушанье, род каши.

Рушнік, утиральник.

Світка, род полукафтанья.

Синдзячки, узкіе ленты.

Сластёны, пышкі.

Свóлок, перекладина под потолком.

Сливянка, наливка из слив.

Смúшки, бараний мех.

Сóняшница, боль в животе.

Сопíлка, род флейты.

Стусáн, кулак.

Стрíчки, ленты.

Тройчáтка, тройная плеть.

Хлóпец, парень.

Хúтор, небольшая деревушка.

Хúстка, платок носовой.

Цибúля, лук.

Чумаки́, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.

Чупрíна, чуб, длинный клочок волос на голове.

Шíшка, небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.

Юшка, соус, жижа.

Ятка, род палатки или шатра.

Сорочинская ярмарка*

*Мини нудно в хати жить.
Ой вези ж меня из дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дивкы,
Де гуляють парубки!
Из старинной легенды.*

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Всё как-будто умерло; вверху только, в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой

только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало — река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот... восемьсот... Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутаных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонни-

ков роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одинок в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот с смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных и особливо молодых парубков брались за шапку, поровнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть

причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбающимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Всё, казалось, занимало ее; всё было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, наши-

ты были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому про-скальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.

Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл; издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы, волною, когда с презрением кидает од-

ни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет — она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы, — всё опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую, прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во всё продолжение пути, как вдруг слова: „ай да дивчина!“ поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетилловских смушек, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжаю-

щих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось, стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово. „Славная дивчина!“ продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. „Я бы отдал всё свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит!“ Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка:

„Чтоб ты подавился, негодный бурлак! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете чорт бороду обжег!“

„Вишь, как ругается!“ сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий: „и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова“.

„Столетней!“ подхватила пожилая красавица. „Нечестивец! поди, умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! что у него молоко еще на губах...“ Тут воз начал спускаться с мосту, и последних слов уже невозможно было расслушать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новою силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригородье к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на

время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

II

Що боже, ты мій госпODE! чого нема на тій ярмарци! колеса, скло, деготь, тютюн, ремень, цыбуля, крамари всяки... так, що хоть бы в кишени було рублив и с тридцять, то и тогди б не закупив усиеи ярмаркы.

Из малороссийской комедии.

Вам, верно, случалось слышать где-то валяющийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаос чудных, неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, бляение, рев, — всё сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки — всё яр-

ко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применялся к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочери заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги оловянные, медные кресты и дукаты. Но и тут однако ж она находила себе много предметов для наблюдения: ее смешило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид да-

вал бабе киселя; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась — и парубок, в белой свитке, с яркими очами, стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилося так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею. „Не бойся, серденько, не бойся!“ говорил он ей вполголоса, взявши ее руку: „я ничего не скажу тебе худого!“ — „Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого“, подумала про себя красавица: „только мне чудно... верно это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так... а силы недостает взять от него руку“. — Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его, в ту же минуту, присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот, что

говорили негоцианты о пшенице:

III

*Чи бачишь вин якый парныще?
На свити трохи есть таких.
Сывуху так мов брагу хлыще!
Котляревский. Энвида.*

Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница?“ говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому в синей, местами уже с заплатами, свитке, и с огромною шишкою на лбу.

„Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку“.

„Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе“, возразил человек в пестрядевых шароварах. — „Да, говорите себе, что хотите“, думал про себя отец нашей красавицы, не пропуская ни одного слова из разговора двух негоциантов: „а у меня десять мешков есть в запасе“.

„То-то и есть, что если где замешалась чер-

товщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля“, значительно сказал человек с шишкою на лбу.

„Как чертовщина?“ подхватил человек в пестрядевых шароварах.

„Слышал ли ты, что поговаривают в народе?“ продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

„Ну!“

„Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою?“ (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание). „В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь — в слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять покажется *красная свитка!*“

„Что ж это за красная свитка?“

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

„Эге, ге, ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то спасибо куму: бывши дружкой, уже надоумил“.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. „Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал“.

„Может и узнал“.

„Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик“.

„Так, Солопий Черевик“.

„А взглядишь-ко хорошенько: не узнаешь ли

меня?“

„Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что чорт их и припомнит всех!“

„Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!“

„А ты будто Охримов сын?“

„А кто ж? Разве один только *лысый дидько*, если не он“.

Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопупенков сын однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

„Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и на-веки жить вместе“.

„Что ж, Параска“ сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери: „может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того... чтоб и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай могарычу!“ — и все трое очутились в известной ярмарочной ресторации — под яткою у жи-довки, усеянною многочисленной флотилией сулей, бутылей, флажек всех родов и возрас-

тов. „Эх, хват! за это люблю!“ говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварти и, нимало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее вдребезги. „Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри: как он молодецки тянет пенную!..“ и, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода — двух знаменитых городов Полтавской губернии, — выглядывать лучшую деревянную люльку в медной, щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

IV

*Хоть чоловікам не онее,
Да коли жинци, бачишь, тее,
Так треба угодыты...
Котляревский.*

„Ну жинка! а я нашел жениха дочке!“
„Вот, как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Дурень, дурень! тебе,

верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев“.

„Э, как бы не так, посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует... Чорт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварты, не поморщившись“.

„Ну, так: ему если пьяница, да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадет-ся мне: я бы дала ему знать“.

„Что ж, Хивря, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?“

„Э! чем же он сорванец! Ах, ты безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, на-

несли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было“.

„Всё однако же я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве, что заклеил на миг образину твою навозом“.

„Эге! да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего...“

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями. „Туда к чорту! Вот тебе и свадьба!“ думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. „Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи, боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!“

V

*Не хилися явороньку,
Ще ты зелененькій;
Не журыся козаченьку,*

*Ще ты молоденькій!
Малоросс. песня.*

Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам. „О чем загорюнился, Грицько?“ вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. „Что ж, отдавай волы за двадцать!“

„Тебе бы всё волы, да волы. Вашему племени всё бы корысть только. Поддеть, да обма-

нуть доброго человека“.

„Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?“

„Нет, это не по-моему; я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на полшеляга: сказал, да и назад... Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Всё это штуки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем, или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам...“

„А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?“

В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле — виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язви-

тельною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов, всё это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темнокоричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы; башмаки, надетые на босые, загорелые ноги, — всё это, казалось, приросло к нему и составляло его природу. „Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только!“ отвечал парубок, не сводя с него испытательных очей.

„За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток!“

„Ну, а если солжешь?“

„Солгу — задаток твой!“

„Ладно! Ну, давай же по рукам!“

„Давай!“

VI

*От бида, Роман иде, оттепер, як раз,
надсадыть мени бебехив, да и вам, па-*

*не Хомо, не без лыха буде.
Из малоросс. комедии.*

„Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали на случай не подцепили чего“. Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше прыгнуть, и наконец с шумом обрушился в бурьян.

„Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже оборони, шеи?“ лепетала заботливая Хивря.

„Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна!“ болезненно и шопотно произнес попович, подымаясь на ноги: „выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа“.

„Пойдемте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Ивано-

вич, что к вам *болячка* или *соняшница* пристала. Нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!“

„Суцая безделица, Хавронья Никифоровна, батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, кнышей с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частью протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна!“ продолжал попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

„Вот вам и приношения, Афанасий Иванович!“ проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся кофту: „варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!“

„Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода!“ сказал попович, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. „Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаж-

дет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек“.

„Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович!“ отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающею.

„Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!“ шопотом произнес попович, держа в одной руке вареник, а другую обнимая широкий стан ее.

„Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович!“ сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. „Чего доброго! вы, пожалуй, затеете еще целоваться!“

„Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя“, продолжал попович: „в бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот, как теперь помню...“ Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. „Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос...“ Вареник остановился в горле поповича... Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что

сделал ему перед сим визит свой. „Полезайте сюда!“ кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь. Опасность придала духу нашему герою. Опамятовавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски; а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с бóльшею силою и нетерпением.

VII

*Да тут чудасія, мосьпане!
Из малоросс. комедии.*

На ярмарке случилось странное происшествие: всё наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка*. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана, в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто ища чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавица бубликов, которой подвижная лавка бы-

ла рядом с яткою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостями произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела, как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты. „Что, кума!“ вскричал вошедший кум: „тебя всё еще трясет лихорадка?“ — „Да, нездоровится“, отвечала Хивря, беспокойно поглядыв-

вая на доски, накладенные под потолком. — „А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку!“ говорил кум приехавшей с ним жене: „мы черпнем ее с добрыми людьми; проклятые бабы понапугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей богу, братцы, по пустякам приехали сюда!“ продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. „Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, передо мною: будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!“ — „Отчего же ты вдруг побледнел весь?“ закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом. „Я... Господь с вами! приснилось!“ Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца. „Куда теперь ему побледнеть!“ подхватил другой: „щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк — или лучше, сама красная свитка, которая так напугала людей“. Баклажка прокатилась по столу и сделала го-

стей еще веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму. „Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку*“.

„Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!“ Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал:

„Раз, за какую вину, ей богу, уже и не знаю, только выгнали одного чорта из пекла“.

„Как же, кум!“ прервал Черевик: „как же могло это статься, чтобы чорта выгнали из пекла?“

„Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну, и указали двери. Вот, чорту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что де-

дать? Давай с горя пьянствовать. Угнездилися в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою, и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал чорт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера, то и дела, что сидит в шинке!..“

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика: „Бог знает, что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы чорта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове“.

„Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял — наконец пришлось до того, что пропил всё, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: „смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги ее!“ и пропал как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а

красный цвет горит, как огонь, так что не на-
гляделся бы! Вот жиду показалось скучно до-
жидаться срока. Почесал себе песики, да и со-
драл с какого-то приезжего пана мало не пять
червонцев. О сроке жид и позабыл было со-
всем. Как вот раз, под вечерок, приходит ка-
кой-то человек: „ну, жид, отдавай свитку
мою!“ Жид сначала было и не познал, а после
как разглядел, так и прикинулся, будто в гла-
за не видал: „какую свитку? у меня нет ника-
кой свитки! я знать не знаю твоей свитки!“
Тот, глядь, — и ушел; только к вечеру, когда
жид, заперши свою конуру и пересчитавши
по сундукам деньги, накинул на себя просты-
ню и начал по жидовски молиться богу —
слышит шорох... глядь — во всех окнах пове-
ставлялись свиные рыла...“

Тут в самом деле послышался какой-то
неясный звук, весьма похожий на хрюканье
свиньи; все побледнели... Пот выступил на
лице рассказчика.

„Что?“ произнес в испуге Черевик.

„Ничего!..“ отвечал кум, трясясь всем те-
лом.

„Ась!“ отозвался один из гостей.

„Ты сказал...“

„Нет!“

„Кто ж это хрюкнул?“

„Бог знает, чего мы переполошились! Никого нет!“ Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива, ни мертва. „Эх вы, бабы! бабы!“ произнесла она громко: „вам ли козаковать, и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости господи... Под кем-нибудь скамейка заскрыпела, а все и метнулись, как полуумные!“ Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее: „Жид обмер; однако ж свиньи на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили его плетеными тройчатками, заставя плясать его повыше вот этого сволока. Жид — в ноги, признался во всем... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, ди-

вилась и наконец смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее всё давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь — не горит бесовская одежда! Э, да это чортов подарок! Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку! Схватил топор и изрубил ее в куски; глядь — и лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, чорт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава недостает ему. Люди с тех пор отрециваются от того места, и вот уже будет лет с десятков, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от...“ Другая половина слова замерла на устах рассказчика:

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выстави-

лась, поводя очами, как будто спрашивая: а что вы тут делаете, добрые люди?

VIII

*...Пиджав хвист, мов собака,
Мов Каин затрусывсь увесь;
Из носа потекла табака.
Котляревский. Энеида.*

Ужас оковал всех, находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверзтые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец, в непобедимом страхе, подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. „Ай! ай! ай!“ отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. — „Спасайте!“ горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на го-

лову горшок, вместо шапки, бросился к дверям и, как полуумный, бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним... Дух у него занялся... „Чорт! чорт!“ кричал он без памяти, утраивая силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. „Чорт! чорт!“ кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.

IX

*Ще спереди, и так, и так;
А сзади, ей же ей, на чорта!
Из простонародной сказки*

„Слышишь, Влас!“ говорил, приподняв-
шись ночью, один из толпы народа,
спавшего на улице: „возле нас кто-то помянул
чорта!“

„Мне какое дело?“ проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган: „хоть бы и всех своих родичей помянул“.

„Но ведь так закричал, как будто давят его!“

„Мало ли чего человек не соврет спросо-нья!“

„Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а вырубил-ка огня!“ Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги; два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами трут и с каганцем в руках, обыкновенною малорос-сийскою светильнею, состоящею из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, — отпра-вился, освещая дорогу. „Стой; здесь лежит что-то, свети сюда!“

Тут пристало к ним еще несколько чело-век.

„Что лежит, Влас?“

„Так, как будто бы два человека: один на-верху, другой нанизу; который из них чорт, уже и не распознаю!“

„А кто наверху?“

„Баба!“

„Ну, вот, это ж-то и есть чорт!“ Всеобщий

хохот разбудил почти всю улицу.

„Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить!“ говорил один из окружавшей толпы.

„Смотрите, братцы!“ говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове Черевика: „какую шапку надел на себя этот добрый молодец!“ Увеличившийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган. Озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи.

Х

*Щур тобі, пек тобі, сатаныньське
наваждєніє!*

Из малоросс. комедии.

Свежесть утра веяла над пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб понесли навстречу показавшемуся солнцу.

Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговок понесся снова по всему табору — и страшные толки про красную свитку, наведшие такую робость на народ, в таинственные часы сумерек, исчезли с появлением утра. Зевая и потягиваясь, дремал Черевик у кума, под крытым соломой сараем, вместе с волами, мешками муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желаний расстаться с своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище лени — благословенная печь его хаты, или шинок дальней родички, находившийся не далее десяти шагов от его порога. „Вставай, вставай!“ дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку. Черевик, вместо ответа, надул щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою.

„Сумасшедший!“ закричала она, уклоняясь от замашки рук его, которою он чуть было не задел ее по лицу. Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг: „Враг меня возьми, если мне, голубко, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те са-

мые свиные рожи, от которых, как говорит кум...“ — „Полно, полно тебе чепуху молотить! Ступай, веди скорей кобылу на продажу. Смех, право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали...“

„Как же, жинка“, подхватил Солопий: „с нас ведь теперь смеяться будут“.

„Ступай! ступай! с тебя и без того смеются!“

„Ты видишь, что я еще не умывался“, продолжал Черевик, зевая и почесывая спину и стараясь между прочим выиграть время для своей лени.

„Вот некстати пришла блажь быть чисто-плотным! Когда это за тобою водилось? Вот рушник, оботри свою рожу...“ Тут схватила она что-то свернутое в комок — и с ужасом отбросила от себя: это был *красный обшлаг свитки!*

„Ступай, делай свое дело“, повторила она, собравшись с духом, своему супругу, видя, что у него страх отнял ноги и зубы колотились один об другой.

„Будет продажа теперь!“ ворчал он сам себе, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь.

„Недаром, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто кто взвалил на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник мы выехали. Ну, вот и зло всё!.. Неугомонен и чорт проклятый: носил бы уже свитку без одного рукава; так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь, примерно, я чорт, — чего оборони боже: стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?“

Тут философствование нашего Черевика прервано было толстым и резким голосом. Пред ним стоял высокий цыган: „Что продаешь, добрый человек?“ Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

„Сам видишь, что продаю!“

„Ремешки?“ спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду.

„Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки“.

„Однако ж, чорт возьми, земляк, ты, видно,

ее соломою кормил!“

„Соломою?“ Тут Черевик хотел было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи бесстыдного поносителя, но рука его с необыкновенною легкостью ударилась в подбородок. Глянул — в ней перерезанная узда и к узде привязанный — о ужас! волосы его поднялись горою! — кусок красного рукава свитки!.. Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и, быстрее молодого парубка, пропал в толпе.

XI

*За мое ж жито, та мене и побыто.
Пословица.*

„Лови! лови его!“ кричало несколько хлопцев, в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками.

„Вязать его! это тот самый, который украл у доброго человека кобылу“.

„Господь с вами! за что вы меня вяжете?“

„Он же и спрашивает! А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?“

„С ума спятили вы, хлопцы! Где видано, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?“

„Старые штуки! старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?“

„Поневоле побежишь, когда сатанинская одежда...“

„Э, голубчик! обманывай других этим; будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщиною людей“.

„Лови! лови его!“ слышался крик на другом конце улицы: „вот он, вот беглец!“ и глазам нашего Черевика представился кум, в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами. „Чудеса завелись!“ говорил один из них: „послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора, когда стали спрашивать, от чего бежал он, как полуумный. Полез, говорит, в карман понюхать табак и, вместо тавлинки, вытащил кусок чортовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он давай бог ноги!“

„Эге, ге! да это из одного гнезда обе птицы!“

Вязать их обоих вместе!“

XII

„Чым, люди добри, так оце я провинывся?

За що глузуете?“ сказав наш неборак,

„За що знущаетесь вы надо мною так?

За що, за що?“ сказав, тай попустыв патіоки,

Патіоки гирких слиз, узявшия за боки.

Артемовский-Гулак. Пан та собака.

Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь?“ спросил Черевик, лежа связанный вместе с кумом, под соломенной яткой.

„И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаною у матери, да и то еще, когда мне было лет десять отроду“.

„За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего; тебя винят по крайней мере за то, что у другого украл; за что же мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой: будто у самого себя стянул кобылу. Видно, нам, кум, на роду уже написано не иметь счастья!“

„Горе нам, сиротам бедным!“ Тут оба кума принялись всхлипывать навзрыд. „Что с тобою, Солопий?“ сказал вошедший в это время Грицько. „Кто это связал тебя?“

„А! Голопупенко, Голопупенко!“ закричал, обрадовавшись, Солопий: „Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! вот, бог убей меня на этом месте, если не высуслил при мне кухоль мало не с твою голову, и хоть бы раз поморщился“.

„Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка?“

„Вот, как видишь“, продолжал Черевик, оборотясь к Грицьку: „наказал бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек! Ей богу, рад бы был сделать всё для тебя... Но что прикажешь? В старухе дьявол сидит!“

„Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя!“ Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. „За то и ты делай как нужно: свадьбу! — да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака“.

„Добре! от добре!“ сказал Солопий, хлоп-

нув руками. „Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увезли. Да что думать: годится, или негодится так — сегодня свадьбу, да и концы в воду!“

„Смотри ж, Солопий: через час я буду к тебе; а теперь ступай домой: там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы!“

„Как! разве кобыла нашлась?“

„Нашлась!“

Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.

„Что, Грицько, худо мы сделали свое дело?“ сказал высокий цыган спешившему парубку.

„Волы ведь мои теперь?“

„Твои! твои!“

XIII

*Не бійся, матинко, не бійся,
В червоніе чобитки обуїся,
Топчи вороги
Пид ноги;
Щоб твої подкивки
Брязчались!
Щоб твої вороги
Мовчались!
Свадебная песня.*

Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови; то снова облако задумчивости опускало их на карие, светлые очи. „Ну, что, если не сбудется то, что говорил он?“ шептала она с каким-то выражением сомнения. „Ну, что, если меня не выдадут? если... Нет, нет; этого не будет! Мачеха делает всё, что ей ни вздумается; разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. Какой же он хороший! как чудно горят его черные очи! как любо говорит он: *Парасю, голубко!* как пристала к нему белая свитка! еще бы пояс поярче!.. пускай, уже правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости“, продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием: „как я встречу тогда где-нибудь с нею — я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, ма-

чеха, полно колотить тебе свою падчерицу! Скорее песок взойдет на камне, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою! Да я и позабыла... дай примерять очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется! Тут встала она, держа в руках зеркальце и, наклонясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою, вместо полу, потолок с наложенными под ним досками, с которых низринул недавно попович, и полки, уставленные горшками. „Что я, в самом деле, будто дитя“, вскричала она смеясь: „боюсь ступить ногою“. И начала притопывать ногами всё чем далее, смелее; наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцовать, побрякивая подковами, держа перед собою зеркало и напевая любимую свою песню:

*Зелененькій барвиночку,
Стелися низенько!
А ты, мылий, чернобрывый,
Присунься близьенько!
Зелененькій барвиночку,
Стелися ще нызче!
А ты, мылий, чернобрывый,*

Присунься ще бльжче!

Черевик заглянул в это время в дверь, и, увидя дочь свою танцующею перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего; но когда же услышал знакомые звуки песни, — жилки в нем зашевелились; гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. „Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее: жених пришел!“ При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он. „Ну, дочка! пойдём скорее! Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала“, говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам: „побежала закупать себе плахт и дерюг всяких, так нужно до приходу ее всё кончить!“ Не успела переступить она за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучею народа выжидал ее на улице. „Боже, благослови!“

сказал Черевик, складывая им руки. „Пусть их живут, как венки вьют!“ Тут послышался шум в народе: „Я скорее тресну, чем допущу до этого!“ кричала сожительница Солопия, которую однако ж с хохотом отталкивала толпа народа. „Не бесись, не бесись, жинка!“ говорил хладнокровно Черевик, видя, что парадюжих цыган овладела ее руками: „что сделано, то сделано; я переменять не люблю!“ — „Нет! нет! этого-то не будет!“ кричала Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую, танцующую стену.

Странное неизъяснимое чувство овладело бы зрителем, при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке, с длинными закрученными усами, всё обратилось, волею и неволею, к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Всё несло. Всё танцовало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие моги-

лы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подтанцовывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету.

Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро всё стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые дружки бурной и вольной юности, по одиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют наконец одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.

Вечер накануне Ивана Купала*

Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви

За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то, смотри, что-нибудь да вкинет новое, или переиначит так, что узнать нельзя. Раз, один из тех господ — нам простым людям мудрено и назвать их — писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках. Нахватают, попросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки, не толще букваря, каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли; привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так

как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. „Постойте! наперед скажите мне, что это вы читаете?“ Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. „Как, что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова“. — „Кто вам сказал, что это мои слова?“ — „Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*“. — Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучый москаль*. Так ли я говорил? *Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови!* Слушайте, я вам расскажу ее сейчас“. Мы придвинулись к столу, и он начал:

* * *

Дед мой (царство ему небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханци пшеничные, да маковники в меду) умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь — целый день не подвинулся бы с места, и всё бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет *москаля везть*, [19] да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за шапку, да из

хаты. Как теперь помню — покойная старуха, мать моя, была еще жива — как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости, более пяти лет, с своей печки. Но ни дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что всё с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится, ночью выйдешь за чем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И, чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не

принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы — есть уменье. Им всё, что ни расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету! Да чего, — вот, не люби бог меня и пречистая дева! вы, может, даже не поверите: раз как-то заикнулся про ведьм — что ж? нашелся сорви-голова, ведьмам не верит! Да, слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым *провозить попа в решете*[20] было легче, нежели нашему брату понюхать табаку; а и те отрецивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.

Лет — куды! более чем за сто, говорил по-

койник дед мой, нашего села и не узнал бы никто: хутор, самый бедный хутор! Избенок десять, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там, посереде поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это ж еще богачи так жили; а посмотрели бы на нашу братью, на голь: вырытая в земле яма — вот вам и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность не бедность; потому что тогда козаковал почти всякой и набирал в чужих землях не мало добра; а больше оттого, что незачем было заводитья порядочною хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало.

В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь — снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет и которое было, может, не

дальше ста шагов от Диканьки. Понаберет встречных козаков: хохот, песни, деньги сыплются, водка как вода... Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист — девать некуда! Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки: бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же и не взять: всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда; а возьмешь — так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душисть за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками! Но вот беда — и отвязаться

нельзя: бросишь в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки.

В селе была церковь, чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на Светлое Воскресение не бывал в церкви, задумал было пожурить его — наложить церковное покаяние. Куды! насилу ноги унес. „Слушай, *паноце!*“ загремел он ему в ответ: „знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячею кутею!“ Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто зазнается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой церкви и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем Коржа, работник, которого люди звали Петром Безродным; может, оттого, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы; но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами стара-

лась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожьи, был в плену у турок, натерпелся мук бог знает каких и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым дивчатам и молодницам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего на всего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще не большая беда; а вот беда: у старого Коржа была дочка красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, — а женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чортом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькие щеки козачки были

свежи и яркие, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись божьею росой, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком; что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи; что ротик, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни; что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен (тогда еще девушки наши не заплетали их в дрибушки, перевивая красивыми, ярких цветов, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотом кунтуш. Эх, не доведи господь возглашать мне больше на крилосе алилуя, если бы, вот тут же, не расцеловал ее, несмотря на то, что седь пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушу, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого... сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет, ни заря, подкоч-

вы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем. Но всё бы Коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз — ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый дернул — вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки козачки, и тот же самый лукавый, чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой! настроил сдурю старого хрена отворить дверь хаты. Одеревянял Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутю, за неимением фузеи и пороха.

Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как, откуда ни возмись, шестилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: „тятя, тятя! не бей Петруся!“ Что прикажешь делать? у отца сердце не каменное: повесивши нагайку на стену, вывел он

его потихоньку из хаты: „Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слушай, Петро: ей богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей!“ Сказавши это, дал он ему легонькою рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались! Взяла кручина наших голубков; а тут и слух по селу, что к Коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, с шпорами, с карманами, бренчавшими как звонок от мешечка, с которым понамарь наш, Тарас, отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот, один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: „Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука; расскажи ему всё: любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя. Не один рушник вымочила горячими слезами. Тошно мне. Тяжело на сердце.

И родной отец — враг мне: неволит итти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе; будут дьяки петь, вместо кобз и сопелок. Не пойду я танцевать с женихом своим; понесут меня. Темная, темная моя будет хата: из кленового дерева, и, вместо трубы, крест будет стоять на крыше!“

Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. „А я думал, несчастный, итти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка! будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон черный прокрячет, вместо попа, надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча — моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди козацкие косточки, и вихорь высушит их. Но что я? на кого? кому жаловаться? Так уже, видно, бог велел, — пропадать, так пропадать!“ — да прямехонько и побрел в шинок.

Тетка покойного деда немного изумилась,

увидевши Петруся в шинке, да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он кухоль сивухи, мало не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. „Полно горевать тебе, козак!“ загремело что-то басом над ним. Оглянулся: Басаврюк! у! какая картина! Волосы — щетина, очи — как у вола! „Знаю, чего недостает тебе: вот чего!“ Тут брякнул он с бесовскою усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса, кошельком. Вздрогнул Петро. „Ге, ге, ге! да как горит!“ заревел он, пересыпая на руку червонцы: „ге, ге, ге! да как звенит! А ведь и дела только одного потребую за целую гору таких цяцек“. — „Дьявол!“ закричал Петро. „Давай его! на всё готов!“ Хлопнули по рукам. „Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай! Я тебя буду ждать, о полночи, в Медвежьем овраге“.

Я думаю, куры так не дожидаются той по-

ры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дела, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне. И оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, примеркает и — смерклось. Насилу! С сердцем, только что не хотевшим выско-чить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро: никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остано-вился и Басаврюк. „Видишь ли ты, стоят пе-ред тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных; но, сохрани тебя нездешняя сила, вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что

бы тебе позади ни чудилось“. Петро хотел было спросить... глядь — и нет уже его. Подошел к трем пригоркам; где же цветы? Ничего не видать. Дикой бурьян чернел кругом и глушил всё своею густотою. Но вот блеснула на небе зарница, и перед ним показалась целая гряда цветов, всё чудных, всё невиданных; тут же и простые листья папоротника. Посумнился Петро и раздумно стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. „Что тут за невидальщина? десять раз на день, случается, видишь это зелье; какое ж тут диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?“ — Глядь — краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле чудно! Движется и становится всё больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. „Теперь пора!“ подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, и позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его

руках. Всё утихло. На пне показался сидящим Басаврюх, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; рот в половину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но вот слышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики; деревья загремели сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдруг ожило; очи сверкнули. „Насилу воротилась, яга!“ проворчал он сквозь зубы. „Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица: делай всё, что ни прикажет, не то пропал навеки!“ Тут разделил он суковатую палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках. Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, оборотившись в кошку, кинулась в глаза им. „Не бесись, не бесись, старая чертовка!“ проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь,

вместо кошки, старуха с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу; нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи. „Славная красавица!“ подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта; пена показалась на губах. „Бросай!“ сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил, и, что за чудо? цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и, словно лодка, плавал по воздуху; наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. „Здесь!“ глухо прохрипела старуха; а Басаврюк, подавая ему заступ, примолвил: „копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось“. — Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю, в другой, в третий, еще раз... что-то твердое!.. Заступ звенит и нейдет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окован-

ный железом, сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и всё, чем далее, глубже, глубже; а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипеньем. „Нет, не видать тебе золота, покаместь не достанешь крови человеческой!“ сказала ведьма и подвела к нему дитя, лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах, сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест; и головку повесило... Как бешеный, подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку... „А что ты обещал за девушку?..“ грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою: синее пламя выхватилось из земли; середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита; и всё, что ни было под землею, сделалось видимо, как на ладоне. Червонцы, дорогие камни, в сундуках, в котлах, грудями были навалены под тем самым местом, где они

стояли. Глаза его загорелись... ум помутился... Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь... Всё пошло кругом в голове его! Сбравши все силы, бросился бежать он. Всё покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились ему в глаза. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачужку и, как сноп, повалился на землю. Мертвый сон схватил его.

Два дни и две ночи спал Петро без просыпа. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит: два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу... Но за

какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять.

Увидел Корж мешки и — развежился: „Сякой, такой Петрусь, немазанный! да я ли не любил его? да не был ли у меня он, как сын родной?“ и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Дивно только показалось Пидорке, когда стала рассказывать, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Он не мог даже вспомнить лица его: так обморочила проклятая бесовщина! Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бочку горелки; посадили за стол молодых; разрезали коровай; брякнули в бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы — и пошла потеха...

В старину свадьба водилась не в сравнение нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет — люли только! Как девчата, в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьян-

ных сапогах на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и с шумом, что вихорь, скакали в горлице. Как молодницы, с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сутозолотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, из которого выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися, один наперед, другой назад, рожками, самого мелкого черного смушка; в синих, из лучшего полутабе-неку, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали по одиночке и мерно выбивали гопака. Как парубки, в высоких козацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали турысы. Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина, при громком крике гуляк, в присядку. Чего не выдумают навеселе? Начнут, бывало, наряжаться в хари — боже ты мой, на человека не похожи! Уж не нынешних переодеваний, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? —

только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом, а другой чортом, начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы... Бог с вами! смех нападет такой, что за живот хватается. Пооденутся в турецкие и татарские платья: всё горит на них, как жар... А как начнут дуреть да строить штуки... ну, тогда хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история: была она одета тогда в татарское широкое платье, и с чаркою в руках угощала собрание. Вот, одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег... пламя вспыхнуло, бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать с себя, при всех, платье... Шум, хохот, ералаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панею. Всего вдоволь, всё блестит... Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. „От чорта не будет добра“, поговаривали все в один голос. „Отку-

да, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдруг, в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал, как в воду?“ — Говорите же, что люди выдумывают! Ведь в самом деле, не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, бог знает. Сидит на одном месте, и хоть бы слово с кем. Всё думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже; но ненароком, посмотрит на мешки — „постой, постой, позабыл!“ кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот всё сызнава приходит на ум... и опять всё ушло. Кажется: сидит в шинке; несут ему водку; жжет его водка; противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его... но далее всё как будто туманом укрывается перед ним. Пот валится градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.

Чего ни делала Пидорка: и совещалась с

знахорами, и переполох выливали, и соняшницу заваривали[21] — ничто не помогало. Так прошло и лето. Много козаков откосилось, много козаков, поразгульнее других, и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших; но крапивянок уже и в помине не было. В степях покраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно козацкие шапки, пестрели по полю. Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег стал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польской шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженной люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец, или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец, снега стали таять, и *щука хвостом лед расколотила*, а Петро всё

так же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный, сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки свои. Одичал; оброс волосами; стал страшен; и всё думает об одном, всё силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово — и неподвижно останавливаются... Бешенство овладевает им, как полумудрый, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волосы, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытьи, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука... Что это за напасть божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате; да после свыклась бедняжка с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки; изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз, кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал итти к колдунье, жившей в Медвежьем оврагу, про которую ходила сла-

ва, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху итти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспмятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостьи. Как вот, мало по малу, стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою... и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. „Вспомнил, вспомнил!“ закричал он в страшном весельи и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посереди хаты... Простыня слетела. „Ивась!“ закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение всё, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом... В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна. Вся хата

полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевелинуть усом, стояли козаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет итти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; да один раз приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку; что еще никто не слышал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе божьей матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этим еще не всё кончилось. В

тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк; только все бегом от него. Узнали, что это за птица: никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады, а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село; но и там однако ж не было покою от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по Опошнянской дороге, и всеми силами старался выместить всё на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый, жареный баран. Калякали о сем и о том, было и про диковинки разные, и про чуда. Вот и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей го-

лове рожу Басаврюка; тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки... Честные старшины за шапки, да скорей во-свояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще ра-за два достать дна, как видит, что чарка кла-няется ему в пояс. Чорт с тобою! давай кре-ститься!.. А тут с половиною его тоже диво: только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. „Стой, стой!“ куды! подбоченившись важно, пустилась в присядку по всей хате... Смей-тесь; однако ж не до смеха было нашим де-дам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу с святою водою и гонял чорта кро-пилом по всем улицам, а всё еще тетка покой-ного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене.

Да чего! Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, всё спокойно; а ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после

того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валился дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и чорт, нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей кануре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.

Майская ночь, или утопленница*

Враг его батька знае! начнуть що небудь робить люды хрещены, то мурдуютця, мурдуютця, мов хорты за зайцем, а все щось не до шмыгу; тильки ж куды чорт уплетеця, то верть хвостыком — так де воно й возмеця ниначе з неба.

I.

Ганна

Звонкая песня лилась рекою по улицам села***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки,

всегда неразлучные с уныньем. И вечер, вечно задумавшийся, мечтательно обнимал синее небо, преобразая всё в неопределенность и даль. Уже и сумерки; а песни всё не утихали. С бандурою в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой козак Левко, сын сельского головы. На козаке решетиловская шапка. Козак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подтанцовывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел:

*Сонце нызенько, вечер бльзенько,
Выйды до мене, мое серденько!*

„Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица!“ сказал козак, окончивши песню и приближаясь к окну: „Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел, или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод! Не бойся: никого нет. Вечер теплый. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою

руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отопрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою... Нет, ты не спишь, гордая дивчина!“ проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. „Тебе любо издеваться надо мною, прощай!“ Тут он отворотился, насунул набекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери в это время завертелась: дверь распахнулась со скрипом, и девушка на пороге семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи; блистало красное коралловое монисто, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. „Какой же ты нетерпеливый“, говорила она ему вполголоса. „Уже и рассердился! Зачем выбрал ты та-

кое время: толпа народу шатается то и дела по улицам... Я вся дрожу...”

„О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче!“ говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты. „Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько“.

„Знаешь ли, что я думаю“, прервала девушка, задумчиво потопив в него свои очи. „Мне всё что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди: девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было“. Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.

„Два месяца только в стороне родной и уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?“

„О, ты мне не надоел“, молвила она, усмехнувшись. „Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими — у меня как будто на душе усмежается: и весело и хорошо ей; что привет-

ливо моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя“.

„О, моя милая девушка!“ вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.

„Постой! полно, Левко! Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?“

„Что?“ сказал он, будто проснувшись. „Да, что я хочу жениться, а ты выдти за меня замуж — говорил“. Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово: говорил.

„Что же?“

„Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен, по своему обыкновению, глухим: ничего не слышит и еще бранит, что шагаюсь бог знает где, повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю! Вот тебе слово козацкое, что уломаю его“.

„Да тебе только стоит, Левко, слово сказать — и всё будет по-твоему. Я знаю это по себе: иной раз не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно делаю, что тебе хочется. Посмотри, посмотри!“ продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза

вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. „Посмотри, вон-вон далеко мелькнули звездочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая... Не правда ли, ведь это ангелы божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они глядят на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, как у птиц — туда бы полететь, высоко, высоко... Ух, страшно! Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то, в какой-то далекой земле, такое дерево, которое шумит вершиною в самом небе, и бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником“.

„Нет, Галю; у бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становятся перед светлым воскресением святые архангелы; и как только бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло, и оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле“.

„Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке!“ продолжала Ганна, указывая на

пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далекое, темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночи. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая свою тенью, бросал на него дикую мрачность; ореховая роща стлалась у подножия его и скатывалась к пруду.

„Я помню, будто сквозь сон“, сказала Ганна, не спуская глаз с него: „давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..“

„Бог с ним, моя красавица! Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться и не заснетя тебе покойно“.

„Расскажи, расскажи, милый, чернобрый парубок!“ говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. „Нет! ты, видно, не любишь меня, у тебя есть другая девушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!..“

„Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит чорт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная панночка, белая как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумал сотник жениться на другой. „Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?“ — „Буду, моя дочка; еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!“ — Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена; только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши, и хоть бы слово во весь день сказала

суровая мачеха. Настала ночь: ушел сотник с молодой женой в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку: кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку: кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке; да нечего делать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и кус-

ка хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое: „Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя бог; а мне, несчастной, видно, не велит он жить на белом свете!..“ И вон, видишь ли ты...“ Тут оборотился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. „Гляди сюда: вон, подальше от дома, самый высокий берег! С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете...“

„А ведьма?“ боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.

„Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили, в лунную ночь, в панский сад греться на месяце; и сотникова дочка сделалась над ними главной. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась: оборотилась под водою в одну из утопленниц, и через то ушла от плети из зеленого тростника, которою хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает по

одиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма; но до сих пор не узнала. И если попадетя из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот, моя Галю, как рассказывают старые люди!.. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю! Спи спокойно; да не думай об этих бабьих выдумках!“ Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.

„Прощай, Левко!“ говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес.

Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею; а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени. „Прощай, Ганна!“ раздалась позади ее слова, сопровождаемые поцелуем. „Ты воротился!“ сказала она, оглянувшись; но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону. „Прощай, Ганна!“ раздалось

снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку. „Вот принесла нелегкая и другого!“ проговорила она с сердцем. „Прощай, милая Ганна!“ — „Еще и третий!“ — „Прощай! прощай! прощай, Ганна!“ и поцелуи засыпали ее со всех сторон. „Да тут их целая ватага!“ кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее. „Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей богу, нельзя будет показаться на улице!“ Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.

II. Голова

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий.“ Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от се-

бя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темнозеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветерник — ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг всё ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посереде неба... Как очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезаются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Всё тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.

„Да, гокак не так танцуется! То-то я гляжу,

не клеится всё. Что ж это рассказывает кум?.. А, ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!“ Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. „Ей богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей богу не так! А, ну: гоп трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!“

„Вот одурел человек! добро бы еще хлопец какой, а то старый кабан, детям на смех, танцует ночью по улице!“ вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. „Ступай в хату свою! Пора спать давно!“

„Я пойду!“ сказал, остановившись, мужик. „Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, *дидько б утысса его батькови*, что он голова, что он обливает людей на морозе холодной водою, так и нос поднял! Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот, убей меня бог! Бог меня убей, я сам себе голова. Вот что, а не то что...“ продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. „Баба, отворяй! Баба, живей, говорят тебе, отворяй! Козаку спать пора!“

„Куда ты, Каленик? Ты в чужую хату попал!“ закричали, смеясь, позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. „Показать тебе твою хату?“

„Покажите, любезные молодушки!“

„Молодушки? слышите ли“, подхватила одна: „какой учтивый Каленик! За это ему нужно показать хату... но нет, наперед потанцуй!“

„Потанцовать?.. эх, вы, замысловатые девушки!“ протяжно произнес Каленик, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. „А дадите перецеловать себя? Всех перецелую, всех!..“ и косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались; но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидя, что Каленик не слишком был скор на ноги.

„Вон твоя хата!“ закричали они ему, уходя и показывая на избу, гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Каленик послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бранить голову.

Но кто же этот голова, возбуждавший такие

невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова важное лицо на селе. Покаместь Каленик достигнет конца пути своего, мы, без сомнения, успеем кое-что сказать о нем. Всё село, завидевши его, берется за шапки; а девушки, самые молоденькие, отдают добридень. Кто бы из парубков не захотел быть головою! Голове открыт свободный вход во все тавлинки; и дюжий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во всё продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубошную табакерку. В мирской сходке, или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет верх и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, ровнять и гладить дорогу, или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые; целые два дни находился он в этой должности и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные,

закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд исподлобья. И с той поры голова, об чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства: носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме, выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий козацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села; а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов; но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать, моет лавки, белит хату, прядет ему на рубашки и заведывает всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница; но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если го-

лова заходил в поле, усеянное жницами, или к козаку, у которого была молодая дочка. Голова крив; но зато одинокий глаз его злодей и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж, он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти всё уже рассказали, что нужно, о голове; а пьяный Каленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.

III.

Неожиданный соперник. Заговор.

„Нет, хлопцы, нет, не хочу! Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы, бог знает, какими буянами. Ложитесь лучше спать!“ Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подготавливавшим его на новые проказы. „Прощайте, братцы! покойная вам ночь!“ и быстрыми шагами шел от них по улице. „Спит ли моя ясноокая Ганна?“ думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди ти-

шины послышался тихий говор. Левко остановился. Между деревьями забелела рубашка... „Что это значит?“ подумал он и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свете месяца блистало лицо стоявшей перед ним девушки... Это Ганна! Но кто же этот высокий человек, стоявший к нему спиною? Напрасно обсматривал он: тень покрывала его с ног до головы. Спереди только он был освещен немного; но малейший шаг вперед Левка уже подвергал его неприятности быть открытым. Тихо прислонившись к дереву, решил он остаться на месте. Девушка ясно выговорила его имя. „Левко? Левко еще молокосос!“ говорил хрипло и вполголоса высокий человек. „Если я встречу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чуб...“ — „Хотелось бы мне знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чуб!“ тихо проговорил Левко и протянул шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомец продолжал так тихо, что нельзя было ничего расслушать. „Как тебе не стыдно!“ сказала Ганна по окончании его речи. „Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не поверю, чтобы ты

меня любил!“ — „Знаю“, продолжал высокий человек: „Левко много наговорил тебе пустяков и вскружил твою голову“ (тут показалось парубку, что голос незнакомца не совсем незнаком, и как будто он когда-то его слышал). „Но я дам себя знать Левку!“ продолжал всё так же незнакомец: „он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня кулаки“. При сем слове Левко не мог уже более удержать своего гнева. Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте; но в это время свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, увидевши, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головою и легкий сквозь зубы свист одни только выразили его изумление. В стороне послышался шорох; Ганна поспешно влетела в хату, захлопнув за собою дверь.

„Прощай, Ганна!“ закричал в это время один из парубков, подкравшись и обнявши голову; и с ужасом отскочил назад, встретивши жесткие усы. „Прощай, красавица!“ вскри-

чал другой; но на сей раз полетел стремглав от тяжелого толчка головы. „Прощай, прощай, Ганна!“ закричало несколько парубков, повиснув ему на шею. „Провалитесь, проклятые сорванцы!“ кричал голова, отбиваясь и притопывая на них ногами. „Что я вам за Ганна! Убирайтесь вслед за отцами на виселицу, чортовы дети! Поприставали, как мухи к меду! Дам я вам Ганны!..“

„Голова! голова! это голова!“ закричали хлопцы и разбежались во все стороны.

„Ай да батько!“ говорил Левко, очнувшись от своего изумления и глядя вслед уходившему с ругательствами голове. „Вот какие за тобою водятся проказы! славно! А я дивлюсь да передумываю, что б это значило, что он всё притворяется глухим, когда станешь говорить о деле. Постой же, старый хрен, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек, будешь знать, как отбивать чужих невест! Гей, хлопцы! сюда! сюда!“ кричал он, махая рукою к парубкам, которые снова собирались в кучу: „ступайте сюда! Я увещевал вас итти спать; но теперь раздумал и готов, хоть целую ночь, сам гулять с вами“.

„Вот это дело!“ сказал плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе. „Мне всё кажется тошно, когда не удастся погулять порядком и настроить штук. Всё как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак да и только“.

„Согласны ли вы побесить хорошенько сегодня голову?“

„Голову!“

„Да, голову. Что он в самом деле задумал! Он управляетя у нас, как будто гетьман какой. Мало того, что помыкает, как своими холопьями, еще и подъезжает к девчатам нашим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазливой девки, за которую бы не волочился голова“.

„Это так, это так“, закричали в один голос все хлопцы.

„Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки! Покажем ему, хлопцы, что мы вольные козаки!“

„Покажем!“ закричали парубки. „Да если голову, то и писаря не минуть!“

„Не минем и писаря! А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу“, продолжал Левко, ударив рукою по струнам бандуры. „Да слушайте: попереодевайтесь, кто во что ни попало!“

„Гуляй, козацкая голова!“ говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу и хлопнув руками. „Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься, — чудится, будто поминаешь давние годы. Любо, вольно на сердце; а душа как будто в раю. Гей, хлопцы! Гей, гуляй!..“ И толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: „ну, теперь гуляют парубки!“

IV.

Парубки гуляют

Одна только хата светилась еще в конце улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончил свой ужин и, без сомнения, давно бы уже заснул; но у него был в это время гость, винокур, присланный строить винокурню помещиком, имевшим небольшой участок земли между вольными козаками. Под самым по-

кутом, на почетном месте, сидел гость — низенькой, толстененькой человечек, с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцем вылезавший из нее превращенный в золу табак. Облака дыма быстро разрастались над ним, одевая его в сизый туман. Казалось, будто широкая труба с какой-нибудь винокурни, наскуча сидеть на своей крыше, задумала прогуляться и чинно уселась за столом в хате головы. Под носом торчали у него коротенькие и густые усы; но они так неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур поймал и держал во рту своем, подрывая монополию анбарного кота. Голова, как хозяин, сидел в одной только рубашке и полотняных шароварах. Орлиный глаз его, как вечернее солнце, начинал мало по малу жмуриться и меркнуть. На конце стола курил люльку один из сельских десятских, составлявших команду головы, сидевший из почтения к хозяину в свитке.

„Скоро же вы думаете“, сказал голова, оборотившись к винокуру и кладя крест на зевнувший рот свой: „поставить вашу винокурню?“

„Когда бог поможет, то сею осенью, может, и закурим. На Покрову-то, я готов поставить бог знает что, если пан голова не будет писать ногами немецкие крендели по дороге“. По произнесении сих слов, глазки винокура пропали; вместо их протянулись лучи до самых ушей; всё туловище стало колебаться от смеха, и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку.

„Дай бог“, сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке. „Теперь еще, слава богу, винниц развелось немного. А вот, в старое время, когда провожал я царицу по переяславской дороге, еще покойный Безбородько...“

„Ну, сват, вспомнил время! Тогда от Кременчуга до самых Ромен не начитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что повывдумывали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а каким-то чертовским па-

ром“. Говоря эти слова, винокур в размышлении глядел на стол и на расставленные на нем руки свои. „Как это паром — ей богу, не знаю!“

„Что за дурни, прости господи, эти немцы!“ сказал голова. „Я бы батогом их, собачьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром можно было кипятить что. По этому ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губ, вместо молодого поросенка...“

„И ты, сват“, отозвалась сидевшая на лежанке, поджавши под себя ноги, свояченица: „будешь, всё это время, жить у нас без жены!“

„А для чего она мне? Другое дело, если бы что доброе было“.

„Будто не хороша?“ спросил голова, устремив на него глаз свой.

„Куды тебе хороша! *Старà як бис*. Харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелёк“. И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха.

В это время что-то стало шарить за дверью; дверь растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал, как будто в раздумьи, посреди хаты, разинувши рот и огляды-

вая потолок. Это был знакомец наш, Каленик. „Вот, я и домой пришел!“ говорил он, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого внимания на присутствующих. „Вишь, как растянул, вражий сын, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нет! Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп, подостлать мне. На печь к тебе не приду, ей богу, не приду: ноги болят! Достань его, там он лежит, близ покута; гляди только, не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь! Ты, может быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я сам достану“. Каленик приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его к скамейке.

„За это люблю“, сказал голова: „пришел в чужую хату и распоряжается, как дома! Выпроводить его по добру по здорову!..“

„Оставь, сват, отдохнуть!“ сказал винокур, удерживая его за руку. „Это полезный человек; побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла...“ Однако ж не добродушие вынудило эти слова. Винокур верил всем приметам, и тотчас прогнать человека, уже севшего на лавку, значило у него накликать

беду.

„Что то, как старость придет!..“ ворчал Каленик, ложась на лавку. „Добро бы, еще сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей богу, не пьян! Что мне лгать! Я готов объявить это хоть самому голове. Что мне голова? Чтобы он издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб его, одноглазого чорта, возом переехало! Что он обливает людей на морозе...“

„Эге! влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол“, сказал голова, гневно подымаясь с своего места; но в это время увесистый камень, разбивши окно вдребезги, полетел ему под ноги. Голова остановился. „Если бы я знал“, говорил он, подымая камень: „какой это висельник швырнул, я бы выучил его, как кидаться! Экие проказы!“ продолжал он, рассматривая его на руке пылающим взглядом. „Чтобы он подавился этим камнем...“

„Стой, стой! Боже тебя сохрани, сват!“ подхватил, побледневши, винокур. „Боже сохрани тебя, и на том, и на этом свете, поблагословить кого-нибудь такую побранкою!“

„Вот нашелся заступник! Пусть он пропадет!..“

„И не думай, сват! Ты не знаешь, верно, что случилось с покойною тещею моей?“

„С тещей?“

„Да, с тещей. Вечером, немного, может, раньше теперешнего, уселись вечерять: покойная теща, покойный тесть, да наймыт, да наймычка, да детей штук с пятеро. Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, какого он роду, бог его знает, просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено. Покаместь те съели по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, как панский помост. Теща насыпала еще; думает, гость наелся и будет убирать меньше. Ничего не бывало. Еще лучше стал уплетать! и другую выпорожнил! „А чтоб ты подавился этими галушками!“ подумала голодная теща; как вдруг тот поперхнулся и упал. Кинулись к нему — и дух вон. Удавил-

ся“.

„Так ему, обжоре проклятому, и нужно!“
сказал голова.

„Так бы, да не так вышло: с того времени покою не было теще. Чуть только ночь, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах. Днем всё покойно, и слуху нет про него; а только станет примеркать, погляди на крышу, уже и оседлал, собачий сын, трубу...“

„И галушка в зубах?“

„И галушка в зубах“.

„Чудно, сват! Я слышал что-то похожее еще за покойницу царицу...“ Тут голова остановился. Под окном послышался шум и топанье танцующих. Сперва тихо звукнули струны бандуры, к ним присоединился голос. Струны загремели сильнее; несколько голосов стали подтягивать, и песня зашумела вихрем:

*Хлопцы, слышали ли вы?
Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
Вдруг рассыпались клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!*

*Вспрысни, бондарь, голову
Батогоами! батогоами!*

*Голова наш сед и крив;
Стар, как бес; а что за дурень!
Прихотлив и похотлив:
Жметя к девкам... Дурень, ду-
рень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам, да по шеям!
За чуприну! за чуприну!*

„Славная песня, сват!“ сказал винокур, на-
клоня немного на-бок голову и оборотившись
к голове, остолбеневшему от удивления при
виде такой дерзости. „Славная! скверно толь-
ко, что голову поминают не совсем благопри-
стойными словами...“ И опять положил руки
на стол с каким-то сладким умилением в гла-
зах, приготавливаясь слушать еще, потому что
под окном гремел хохот и крики: снова! сно-
ва! Однако ж пронизательный глаз увидел
бы тотчас, что не изумление удерживало дол-
го голову на одном месте. Так только старый,
опытный кот допускает иногда неопытной
мыше бегать около своего хвоста; а между

тем быстро созидает план, как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давши знак десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик... Винокур, к числу многих достоинств своих присоединявший и любопытство, быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу; но шалуны уже разбежались. „Нет, ты не ускользнешь от меня!“ кричал голова, таща за руку человека в вывороченном шерстью вверх овчинном черном тулупе. Винокур, пользуясь временем, подбежал, чтобы посмотреть в лицо этому нарушителю спокойствия; но с робостию попятился назад, увидевши длинную бороду и страшно размазанную рожу. „Нет, ты не ускользнешь от меня!“ кричал голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сени, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. „Карпо, отворяй комору!“ сказал голова десятскому. „Мы его в темную комору! А там разбудим писаря, соберем десятских, переловим всех этих буянов и сегодня же и резолюцию всем

им учиним!“ Десятский забренчал небольшим висячим замком в сенях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою сеней, вдруг вырвался с необыкновенною силою из рук его. „Куда?“ закричал голова, ухватив еще крепче за ворот. „Пусти, это я!“ слышался тоненький голос. „Не поможет! не поможет, брат! Визжи себе хоть чортом, не только бабою, меня не проведешь!“ и толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавши на пол, и, в сопровождении десятского, отправился в хату писаря, и вслед за ними, как паролод, задымился винокур.

В размышлении шли они все трое, потупив голову, и вдруг, на повороте в темный переулок, разом вскрикнули от сильного удара по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумлением увидел писаря с двумя десятскими.

„А я к тебе иду, пан писарь“.

„А я к твоей милости, пан голова“.

„Чудеса завелися, пан писарь“.

„Чудные дела, пан голова“.

„А что?“

„Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами... словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится выбросить их нечестивым своим языком“. (Всё это худощавый писарь, в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час в прежнее состояние.) „Вздремнул было немного, подняли с постели проклятые сорванцы своими страдными песнями и стуком! Хотел было хорошенько приструнить их, да покаместь надел шаровары и жилет, все разбежались, куды попало. Самый главный, однако же, не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажею, как у чорта, который кует гвозди для грешников“.

„А как он одет, пан писарь?“

„В черном вывороченном тулупе, собачий сын, пан голова“.

„А не лжешь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе?“

„Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь“

сказано, погрешил немного“.

„Давайте огня! мы посмотрим его!“ Огонь принесли, дверь отперли, и голова ахнул от удивления, увидев пред собою свояченицу.

„Скажи, пожалуста“, с такими словами она приступила к нему: „ты не свихнулся еще с последнего ума? Была ли в одноглазой башке твоей хоть капля мозгу, когда толкнул ты меня в темную комору; счастье, что не удари-лась головою об железный крюк“. Разве я не кричала тебе, что это я? Схватил, проклятый медведь, своими железными лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете толкали чер-ти!..“ Последние слова вынесла она за дверь на улицу, куда отправилась для каких-нибудь своих причин.

„Да, я вижу, что это ты!“ сказал голова, очнувшись. „Что скажешь, пан писарь, не шельма этот проклятый сорвиголова?“

„Шельма, пан голова“.

„Не пора ли нам всех этих повес прошко-лить хорошенько и заставить их заниматься делом?“

„Давно пора, давно пора, пан голова“.

„Они, дурни, забрали себе... Кой чорт? мне

почудился крик свояченицы на улице; они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровень. Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!..“ Небольшой, последовавший за сим кашель и устремление глаза исподлобья вокруг давало догадываться, что голова готовился говорить о чем-то важном. „В тысячу... этих проклятых названий годов, хоть убей, не выговорю; ну, году, комиссару тогдашнему *Ледачому*, дан был приказ выбрать из козаков такого, который бы был посмышленее всех. О!“ — это „о“ голова произнес, поднявши палец вверх — „посмышленее всех! в проводники к царице. Я тогда...“

„Что и говорить! это всякой уже знает, пан голова. Все знают, как ты выслужил царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла; хватил немного на душу греха, сказавши, что поймал этого сорванца в вывороченном тулупе?“

„А что до этого дьявола в вывороченном тулупе, то его, в пример другим, заковать в кандалы и наказать примерно. Пусть знают, что значит власть! От кого же и голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и

до других хлопцев: я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы; я не забыл, как чортовы дети отказались вымолотить мое жито; я не забыл... Но провались они, мне нужно непременно узнать, какая это шельма в вывороченном тулупе“.

„Это проворная, видно, птица!“ сказал винокур, которого щеки, в продолжение всего этого разговора, непрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый огненный фонтан. „Эдакого человека не худо, на всякой случай, и при виннице держать; а еще лучше повесить на верхушку дуба, вместо паникадила“. Такая острота показалась не совсем глупою винокуру, и он тот же час решился, не дожидаясь одобрения других, награждать себя хриплым смехом.

В это время стали приближаться они к небольшой, почти повалившейся на землю хате; любопытство наших путников увеличилось. Все столпились у дверей. Писарь вынул ключ, загремел им около замка; но этот был от сундука его. Нетерпение увеличилось. За-

сунув руку, начал он шарить и сыпать побрякки, не отыскивая его. „Есть!“ сказал он наконец, нагнувшись и вынимая его из глубины обширного кармана, которым снабжены были его пестрядевые шаровары. При этом слове сердца наших героев, казалось, слились в одно, и это огромное сердце забилося так сильно, что неровный стук его не был заглушен даже брякнувшим замком. Двери отворились, и... Голова стал бледен, как полотно; винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь на небо; ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинувших ртов своих: перед ними стояла свояченица.

Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение подойти к ним. „Стой!“ закричал диким голосом голова и захлопнул за нею дверь. „Господа! это сатана!“ продолжал он. „Огня! живее огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чортовых не осталось на земле!“ Сваяченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение. „Что вы,

братцы!“ говорил винокур: „слава богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до сих пор ума не нажили: от простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня. Пойдите, я сейчас всё улажу!“ Сказавши это, высыпал он горячую золу из трубки в пук соломы и начал раздувать ее. Отчаяние придало в это время духу бедной свояченице, громко стала она умолять и разуверять их.

„Пойдите, братцы! Зачем напрасно греха набираться; может быть, это и не сатана“, сказал писарь. „Если оно, то есть то самое, которое сидит там, согласится положить на себя крестное знамение, то это верный знак, что не чорт“. Предложение одобрено. „Чур меня, сатана!“ продолжал писарь, приложась губами к скважине в дверях: „если не пошевелишься с места, мы отворим дверь“.

Дверь отворилась.

„Перекрестись!“ сказал голова, оглядываясь назад, как будто выбирая безопасное место, в случае ретирады.

Свояченица перекрестилась.

„Кой чорт! Точно, это свояченица!“

„Какая нечистая сила затащила тебя, кума, в эту кануру?“ И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопцы в охапку на улице и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем. Писарь взглянул: завески у широкого ставня оторваны, и он приколотчен только сверху деревянным брусом.

„Добро ты, одноглазый сатана!“ вскричала она, приступив к голове, который попятился немного и всё еще продолжал ее мерять своим глазом. „Я знаю твой умысел: ты хотел, ты рад был случаю сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за девчатами, чтобы некому было видеть, как дурачится седой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил ты сего вечера с Ганною? О! я знаю всё. Меня трудно провесть и не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не погневайся...“ Сказавши это, она показала кулак и быстро ушла, оставив в остолбенении голову. „Нет, тут не на шутку сатана вмешался“, думал он, сильно почесывая свою макушу.

„Поймали!“ вскрикнули вошедшие в это время десятские.

„Кого поймали?“ спросил голова.

„Дьявола в вывороченном тулупе“.

„Подавайте его!“ закричал голова, схватив за руки приведенного пленника. „Вы с ума сошли: это пьяный Каленик“.

„Что за пропасть! в руках наших был, пан голова. В переулке окружили проклятые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки, вырывать из рук... чорт с вами!.. И как мы попали эту ворону, вместо его, бог знает!“

„Властью моею и всех мирян дается повеление — изловить сей же миг сего разбойника; а оным образом и всех, кого найдете на улице, и привести на расправу ко мне!..“

„Помилуй, пан голова!“ закричали некоторые, кланяясь в ноги. „Увидел бы ты, какие хари: убей бог нас, и родились и крестились — не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан голова, перепугают доброго человека так, что после ни одна баба не возьметса вылить переполоху“.

„Дам я вам переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, верно, держите их руку? Вы бунтовщики? Что это?.. Что это?.. Вы заводите

разбои!.. Вы... Я донесу комиссару! Сей же час! слышите, сей час. Бегите, летите птицею! Чтоб я вас... Чтоб вы мне...“ Все разбежались.

V.

Утопленница

Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Черный тулуп его был расстегнут. Шапку держал он в руке. Пот валился с него градом. Величественно и мрачно чернел кленовый лес, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицом к месяцу, тонкою серебряною пылью. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Всё тихо; в глубокой чаще леса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сон быстро стал смыкать ему зеницы; усталые члены готовы были забыться и онеметь; голова клонилась... „Нет, эдак я засну еще здесь!“ говорил он, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, упоительное сияние примешалось

к блеску месяца. Никогда еще не случилось ему видеть подобного. Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле. С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, виден был в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота. И вот почувдилось, будто окно отворилось. Притаивши дух, не дрогнув и не спуская глаз с пруда, он, казалось, переселился в глубину его и видит: наперед белый локоть выставился в окно, потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, тихо светившими сквозь темно-русые волны волос, и оперлась на локоть. И видит: она качает слегка головою, она машет, она усмехается... Сердце его разом забилося... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом: мрачные ставни были открыты; стекла сияли при месяце. „Вот как мало нужно полагаться на людские толки“, подумал про себя герой наш. „Дом новехонькой; краски живы, как

будто сегодня он выкрашен. Тут живет кто-нибудь“ — и молча подошел он ближе, но всё было в нем тихо. Сильно и звучно перекликались блистательные песни соловьев, и когда они, казалось, умирали в томлении и неге, слышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы, ударявшей скользким носом своим в широкое водное зеркало, какую-то сладкую тишину и тихое раздолье ощутил он в своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и запел:

*Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку,
И ты, зоре ясна!
Ой, свитьть там по подворью,
Де дивчина красна.*

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отражение видел он в пруде, выглянула, внимательно прислушиваясь к песни. Длинные ресницы ее были полуопущены на глаза. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца; но как чудна, как прекрасна! Она засмеялась!.. Левко вздрогнул. „Спой мне, молодой козак, какую-нибудь песню!“ тихо молвила она, наклонив свою голову на-бок и опустив совсем густые ресницы.

„Какую же тебе песню спеть, моя ясная панночка?“

Слезы тихо покатались по бледному лицу ее. „Парубок“, говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось в ее речи. „Парубок, найди мне мою мачеху! Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золото есть... Парубок, найди мне мою мачеху! Она страшная ведьма: мне не было от нее покою на белом свете. Она мучила меня; заставляла работать, как простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянец своими нечистыми чарами с щек моих. Погляди на белую шею мою: они не смываются! они не смываются! они ни за что не смоются, эти синие пятна от железных когтей ее. Погляди на белые ноги мои: они много ходили; не по коврам только, по песку горячему, по земле сырой, по колючему терновнику они ходили; а на очи мои, посмотри на очи: они не глядят от слез... Найди ее, парубок, найди мне мою мачеху!..“

Голос ее, который вдруг было возвысился, остановился. Ручьи слез покатались по бледному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство сперлось в груди парубка.

„Я готов на всё для тебя, моя панночка!“ сказал он в сердечном волнении: „но как мне, где ее найти?“

„Посмотри, посмотри!“ быстро говорила она: „она здесь! она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяце. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от ней. Я не могу чрез нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Отыщи ее, парубок!“

Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, как будто тени, девушки, в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилося насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Послыша-

лись голоса. „Давайте в ворона, давайте играть в ворона!“ зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра. „Кому же быть вороном?“ Кинули жребий — и одна девушка вышла из толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, всё на ней такое же, как и на других. Заметно только было, что она неохотно играла эту роль. Толпа вытянулась вереницею и быстро перебежала от нападения хищного врага. „Нет, я не хочу быть вороном!“ сказала девушка, изнемогая от усталости. „Мне жалко отнимать цыпленков у бедной матери!“ — „Ты не ведьма!“ подумал Левко. „Кто же будет вороном?“ Девушки снова собирались кинуть жребий. „Я буду вороном!“ вызвалась одна из середины. Левко стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницею и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих: внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик: ворон бросился на одну из вереницы и схватил ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились

когти и на лице сверкнула злобная радость. „Ведьма!“ сказал он, вдруг указав на нее пальцем и оборотившись к дому. Панночка засмеялась, и девушки с криком увели за собою представлявшую ворона. „Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает; возьми, отдай ему эту записку...“ Белая ручка протянулась, лицо ее как-то чудно засветилось и засияло... С непостижимым трепетом и томительным биением сердца схватил он записку и... проснулся.

VI.

Пробуждение

„Неужели это я спал?“ сказал про себя Левко, вставая с небольшого пригорка. „Так живо, как будто наяву!.. Чудно, чудно!“ повторил он, оглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь; везде тишина; от пруда веял холод; над ним печально стоял ветхий дом с закрытыми ставнями; мох и дикий бурьян показывали, что давно из него удалились люди. Тут он разогнул свою руку, которая судорожно была сжата во всё

время сна, и вскрикнул от изумления, почувствовав в ней записку. „Эх, если бы я знал грамоте!“ подумал он, оборачивая ее перед собою на все стороны. В это мгновение послышался позади его шум.

„Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсили? нас десяток. Я держу заклад, что это человек, а не чорт!“ так кричал голова своим спутникам, и Левко увидел себя схваченным несколькими руками, из коих иные дрожали от страха. „Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину! Полно тебе дурачить людей!“ проговорил голова, ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на него глаз свой. „Левко, сын!“ вскричал он, отступая от удивления и опуская руки. „Это ты, собачий сын! вишь, бесовское рождение! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьявол строит штуки! А это, выходит, всё ты, неваренный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбои, сочиняешь песни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!“

„Постой, батько! велено тебе отдать эту записочку“, проговорил Левко.

„Не до записок теперь, голубчик! Вязать его!“

„Постой, пан голова!“ сказал писарь, развернув записку: „Комиссарова рука!“

„Комиссара?“

„Комиссара?“ повторили машинально десятские.

„Комиссара? чудно! еще непонятнее!“ подумал про себя Левко.

„Читай, читай!“ сказал голова: „что там пишет комиссар?“

„Послушаем, что пишет комиссар!“ произнес винокур, держа в зубах люльку и вырубившая огонь.

Писарь откашлялся и начал читать: *„Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости...“*

„Вот, ей богу!“ прервал голова: „ничего не слышу!“

Писарь начал снова: *„Приказ голове, Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, что ты, старый ду...“*

„Стой, стой! не нужно!“ закричал голова:

„Я хоть и не слышал, однако ж знаю, что главного тут дела еще нет. Читай далее!“

„А вследствие того, приказываю тебе сей же час женить твоего сына, Левка Макого-ненка, на козачке из вашего же села Ганне Петрыченковой, а также подчинить мосты по столбовой дороге и не давать обывательских лошадей без моего ведома судовым паничам, хоть бы они ехали прямо из казенной палаты. Если же, по приезде моем, найду оное приказание мое не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский.“

„Вот что!“ сказал голова, разинувши рот. „Слышите ли вы, слышите ли: за всё с головы спросят, и потому слушаться! беспрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя!“ продолжал он, оборотясь к Левку: „вследствие приказания комиссара, хотя чудно мне, как это дошло до него, я женю; только наперед попробуешь ты нагайки! Знаешь ту, что висит у меня на стене возле покута? Я поновлю ее завтра... Где ты взял эту записку?“

Левко, несмотря на изумление, происшед-

шее от такого нежданного оборота его дела, имел благоразумие приготовить в уме своем другой ответ и утаить настоящую истину, каким образом досталась записка. „Я отлучался“, сказал он: „вчера ввечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брычки. Узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батюшко, что заедет на возвратном пути к нам пообедать“.

„Он это говорил?“

„Говорил“.

„Слышите ли?“ говорил голова с важною осанкою, оборотившись к своим спутникам: „комиссар сам своею особою приедет к нашему брату, т. е. ко мне, на обед. О!“ Тут голова поднял палец вверх и голову привел в такое положение, как будто бы она прислушивалась к чему-нибудь. „Комиссар, слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это не совсем пустая честь! Не правда ли?“

„Еще, сколько могу припомнить“, подхватил писарь: „ни один голова не угощал комиссара обедом“.

„Не всякой голова голове чета!“ произнес с самодовольным видом голова. Рот его покрылся, и что-то в роде тяжелого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в устах. „Как думаешь, пан писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы с каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще коего чего... А?“

„Нужно бы, нужно, пан голова!“

„А когда же свадьбу, батько?“ спросил Левко.

„Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу!.. Ну, да для именитого гостя... завтра вас поп и обвенчает. Чорт с вами! Пусть комиссар увидит, что значит исправность! Ну, ребята, теперь спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я...“ При сих словах голова пустил обыкновенный свой важный и значительный взгляд исподлобья.

„Ну, теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу!“ сказал Левко и быстрыми шагами и радостно спешил к знакомой хате, окруженной низенькими вишнями. „Дай тебе бог небесное царство, добрая и прекрасная

панночка“, думал он про себя. „Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь; тебе одной только, Галю, передам его. Ты одна только поверишь мне и вместе со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!“ Тут он приблизился к хате: окно было отперто; лучи месяца проходили чрез него и падали на спящую перед ним Ганну; голова ее оперлась на руку; щеки тихо горели; губы шевелились, неясно произнося его имя. „Спи, моя красавица! Приснись тебе всё, что есть лучшего на свете; но и то не будет лучше нашего пробуждения!“ Перекрестив ее, закрыл он окошко и тихонько удалился. И чрез несколько минут всё уже уснуло на селе; один только месяц так же блистательно и чудно плыл в необъятных пустынях роскошного украинского неба. Так же торжественно дышало в вышине, и ночь, божественная ночь, величественно догорала. Так же прекрасна была земля, в дивном серебряном блеске; но уже никто не упивался ими: всё погрузилось в сон. Изредка только перерывалось молчание лаем собак, и долго

еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату.

Пропавшая грамота*

Быль, рассказанная дьячком *ской церкви**

Так вы хотите, чтобы я вам еще рассказал про деда? — Пожалуй, почему же не потешить прибауткой? Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед — ну, тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам всё это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе... Нет, мне пуще всего наши девчата и молодичицы; покажись только на глаза им: „Фома Григорьевич, Фома Григорьевич! *а нуте якунебудь страховинну казочку! а нуте, нуте!..“ тара та та, та та та, и пойдут, и пойдут... Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что делается с ними в постеле. Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом, как*

будто бьет ее лихорадка, и рада бы с головою влезть в тулуп свой. Царапни горшком крыса, сама как-нибудь задень ногою кочергу, и боже упаси! и душа в пятках. А на другой день ничего не бывало; навязывается сызнова: расскажи ей страшную сказку да и только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум... Да, расскажу я вам, как ведьмы играли с покойным дедом в дурни.[22] Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте с толку, а то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед, надобно вам сказать, был не из простых в свое время козачков. Знал и твердо-он — то и словотитлу поставит. В праздник отхватает Апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется. Ну, сами знаете, что в тогдашние времена, если собрать со всего Батурина грамотеев, то нечего и шапки подставлять, — в одну горсть можно было всех уложить. Стало быть и дивиться нечего, когда всякой встречный кланялся ему мало не в пояс.

Один раз, задумалось вельможному гетьману послать за чем-то к царице грамоту. Тогдашний полковый писарь, вот нелег-

кая его возьми, и прозвища не вспомню... *Вискряк не Вискряк, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцек не Голопуцек...*знаю только, что как-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвал к себе деда и сказал ему, что, вот, наряжает его сам гетьман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться: грамоту зашил в шапку; вывел коня; чмокнул жену и двух своих, как сам он называл, поросенков, из которых один был родной отец хоть бы и нашего брата; и поднял такую за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлопцев задумали посередеи улицы играть в кашу. На другой день, еще петух не кричал в четвертый раз, дед уже был в Конотопе. На ту пору была там ярмарка: народу высыпало по улицам столько, что в глазах рябело. Но так как было рано, то всё еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом; подале храпела, сидя, перекупка с кремнями, синькою, дробью и бубликами; под телегою лежал цыган; на возу с рыбой чумак; на самой дороге раскинул ноги бородач-москаль с поясами и рукавицами... ну, всякого

сброду, как водится по ярмаркам. Дед приостановился, чтобы разглядеть хорошенько. Между тем в ятках начало мало по малу шевелиться: жидовки стали побрякивать флясками; дым покатило то там, то сям кольцами, и запах горячих сластен понесся по всему табору. Деду вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготове: вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов — навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно! Красные как жар шаровары, синий жупан, яркой цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самые пяты — запорожец да и только! Эх народец! станет, вытянется, поведет рукою молодецкие усы, брякнет подковами и — пустится! да ведь как пустится: ноги отплясывают словно веретено в бабьих руках; что вихорь, дернет рукою по всем струнам бандуры, и тут же, подпершись в боки, несется в присядку; залетится песней — душа гуляет!.. Нет, прошло времячко: не увидать больше запорожцев! Да: так встретились. Слово за слово, долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать так, что дед совсем уже было позабыл про

путь свой. Попойка завелась, как на свадьбе перед постом великим. Только, видно, наконец прискучило бить горшки и швырять в народ деньгами, да и ярмарке не век же стоять! Вот сговорились новые приятели, чтоб не разлучаться и путь держать вместе. Было давно под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых; где-где горели вместо него красноватые полосы; по полю пестрели нивы, что праздничные плахты чернобровых молодлиц. Нашего запорожца раздобар взял страшный. Дед и еще другой, приплевшийся к ним гуляка, подумали уже, не бес ли засел в него. Откуда что набиралось. Истории и присказки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем далее, сумрачнее; а вместе с тем становилась несвязнее и молодецкая молвь. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе. „Ге, ге, земляк! да ты не на шутку принялся считать сов. Уж думаешь, как бы домой, да на печь!“ — „Перед вами нечего таиться“, сказал он, вдруг оборотившись и неподвижно уставив на них глаза

свои. „Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому“. — „Экая невидальщина! Кто на веку своем не знался с нечистыми? Тут-то и нужно гулять, как говорится, на прах“. — „Эх, хлопцы! гулял бы, да в ночь эту срок молодцу! Эй, братцы!“ сказал он, хлопнув по рукам их: „эй, не выдайте! не поспите одной ночи, век не забуду вашей дружбы!“ Почему ж не побить человеку в таком горе? Дед объявил напрямик, что скорее даст он отрезать оседедец с собственной головы, чем допустит чорта понюхать собачьей мордой своей христианской души.

Козаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло всего неба ночью, словно черным рядом, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом. Издали только мерещился огонек, и кони, чуя близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи в мрак. Огонек, казалось, несся навстречу, и перед козаками показался шинок, повалившийся на одну сторону, словно баба на пути с веселых крестин. В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку не только развернуться, приударить горлицы

или гопака, прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель и ноги начнут писать покой-он — по. Двор был уставлен весь чумацкими возами; под поветками, в яслях, в сенях, иной свернувшись, другой развернувшись, храпели как коты. Шинкарь один перед каганцем нарезывал рубцами на палочке, сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивши треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться, как видит, что его земляки спят уже мертвецким сном. Разбудивши приставшего к ним третьего казака, дед напомнил ему про данное товарищу обещание. Тот привстал, протер глаза и снова уснул. Нечего делать, пришлось одному караулить. Чтобы чем-нибудь разогнать сон, посмотрел он возы все, проведал коней, закурил люльку, пришел назад и сел опять около своих. Всё было тихо, так что, кажись, ни одна муха не пролетела. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги... Тут глаза его начали смыкаться так, что принужден он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшеюся водкой. Но

как скоро немного прояснились они, всё пропало. Наконец, мало погодя, опять показывается из-под воза чудище... Дед вытаращил глаза сколько мог; но проклятая дремота всё туманила перед ним; руки его окостенели; голова скатилась, и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый. Долго спал дед, и как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушу, тогда только схватился он на ноги. Потянувшись раза два и почесав спину, заметил он, что возов стояло уже не так много, как с вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до света. К своим — козак спит; а запорожца нет. Выспрашивать — никто знать не знает; одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумье взяло деда. Пошел посмотреть коней — ни своего, ни запорожского! Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая сила; кто же коней? Сообразя всё, дед заключил, что, верно, чорт пришел пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал козацкого слова. „Ну“, думает: „нечего делать, пойду пешком: авось попадетя на дороге какой-нибудь барышник,

едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня“. Только хватился за шапку — и шапки нет. Всплеснул руками покойный дед, как вспомнил, что вчера еще поменялись они на время с запорожцем. Кому больше утащить, как не нечистому. Вот тебе и гетьманский го-нец! Вот тебе и привез грамоту к царице! Тут дед принялся угощать чорта такими прозвищами, что, думаю, ему не один раз чихалось тогда в пекле. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесал дед, никак не мог ничего придумать. Что делать? Кинулся достать чужого ума: собрал всех бывших тогда в шинке добрых людей, чумаков и просто заезжих, и рассказал, что так и так, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои; крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеном свете, чтобы гетьманскую грамоту утащил чорт. Другие же прибавили, что когда чорт да москаль украдут что-нибудь — то поминай, как и звали. Один только шинкарь сидел молча в углу. Дед и подступил к нему. Уж когда молчит человек, то, верно, зашиб много умом. Только шинкарь не так-то

был щедр на слова; и если бы дед не полез в карман за пятью золотыми, то простоял бы перед ним даром. „Я научу тебя, как найти грамоту“, сказал он, отводя его в сторону. У деда и на сердце отлегло. „Я вижу уже по глазам, что ты козак — не баба. Смотри же! близко шинка будет поворот направо в лес. Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже наготове. В лесу живут цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих. Чем они промышляют на самом деле, знать тебе нечего. Много будет стуку по лесу, только ты не иди в те стороны, откуда заслышишь стук; а будет перед тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева, дорожкой этою иди, иди, иди... Станет тебя терновник царапать, густой орешник заслонять дорогу — ты всё иди; и как придешь к небольшой речке, тогда только можешь остановиться. Там и увидишь кого нужно; да не позабудь набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны... Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят“. Сказавши это, шинкарь ушел в свою кануру и не хотел больше говорить ни слова.

Покойный дед был человек не то, чтобы из трусливого десятка; бывало, встретит волка, так и хватает прямо за хвост; пройдет с кулаками промеж козаками, — все, как груши, повалятся на землю. Однако ж что-то подирало его по коже, когда вступил он в такую глухую ночь в лес. Хоть бы звездочка на небе. Темно и глухо, как в винном подвале; только слышно было, что далеко-далеко вверху, над головою, холодный ветер гулял по верхушкам деревьев, и деревья, что охмелевшие козацкие головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пьяную мольвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и про овчинный тулуп свой, и вдруг словно сто молотов застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И будто зарницею, осветило на минуту весь лес. Дед тотчас увидел дорожку, пробиравшуюся промеж мелким кустарником. Вот и обожженное дерево и кусты терновника! Так, всё так, как было ему говорено; нет, не обманул шинкарь. Однако ж не совсем весело было продираться через колючие кусты; еще от роду не видывал он, чтобы проклятые шипы и сучья так больно царапались:

почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Мало по малу, выбрался он на просторное место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем далее, такие широкие, каких дед не видывал и по ту сторону Польши. Глядь, между деревьями мелькнула и речка, черная, словно вороненая сталь. Долго стоял дед у берега, посматривая на все стороны. На другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот готовится погаснуть, и снова отсвечивается в речке, вздрагивавшей, как польской шляхтич в козачьих лапах. Вот и мостик! Ну, тут одна только чертовская таратайка разве проедет. Дед, однако ж, ступил смело, и скорее, чем бы иной успел достать рожок понюхать табаку, был уже на другом берегу. Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди, и такие смазливые рожи, что в другое время, бог знает, чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь, нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон, мало не в пояс: „Помогай бог вам, добрые люди!“ Хоть бы один кивнул головой; сидят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незаня-

тым, дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи ничего; ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и прискучило; давай шарить в кармане, вынял люльку, посмотрел вокруг — ни один не глядит на него. „Уже, добродейство, будьте ласковы: как бы так, чтобы, примерно сказать, того... (дед жывал в свете не мало, знал уже, как подпускать турысы и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь) чтобы, примерно сказать, и себя не забыть, да и вас не обидеть, — люлька-то у меня есть, да того, чем бы зажечь ее, *чорт-ма*[23]“. И на эту речь хоть бы слово; только одна рожа сунула горячую головню прямехонько деду в лоб, так, что, если бы он немного не посторонился, то, статья может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решил — будет ли слушать нечистое племя, или нет — рассказать дело. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед догадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул словно собакам им в середину. Как только кинул он деньги, всё перед ним перемешалось, земля задрожала, и как уже, — он

и сам рассказать не умел, — попал чуть ли не в самое пекло. Батюшки мои! ахнул дед, разглядевши хорошенько: что за чудища! рожи на роже, как говорится, не видно. Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу: разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли, боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде, как высоко скакало бесовское племя. Деда, несмотря на страх весь, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек; а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как в волторны. Только завидели деда — и турнули к нему ордою. Свинные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла — все повытягивались, и вот, так и лезут целоваться. Плюнул дед, такая мерзость напала! Наконец, схватили его и посадили за стол, длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина. „Ну, это еще

не совсем худо“, подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы, крошенный с капустой лук и много всяких сластей: „видно, дьявольская сволочь не держит постов“. Дед таки, не мешает вам знать, не упустил при случае перехватить того-сего на зубы. Едал покойник аппетитно; и потому, не распускаясь на рассказы, придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины; взял вилку, мало чем поменьше тех вил, которыми мужик берет сено, захватил ею самый увесистый кусок, подставил корку хлеба и — глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот возле самых ушей, и слышно даже, как чья-то морда жуёт и щелкает зубами на весь стол. Дед ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и по губам зацепил, только опять не в свое горло. В третий раз — снова мимо. Взбеленился дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находится он. Прискочил к ведьмам: „Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же час, моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переверочу свинных рыл ваших на затылок!“ Не успел он докончить последних слов, как все чудища

выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло. „Ладно!“ провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что личина у ней была чуть ли не красивее всех: „шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня!“ Что прикажешь делать? Козаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец, сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов. „Слушай же!“ залаяла ведьма в другой раз: „если хоть раз выиграешь — твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся, не только шапки, может, и света более не увидишь!“ — „Сдавай, сдавай, хрычовка! что будет, то будет“. Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки — смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма всё подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем! Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: „дурень! дурень! дурень!“ — „Чтоб вы перелопались, дьявольское племя!“

закричал дед, затыкая пальцами себе уши. „Ну“, думает: „ведьма подтасовала; теперь я сам буду сдавать“. Сдал. Засветил козыря. Поглядел на карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло, как нельзя лучше, только ведьма пятерик с королями! У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, хватить королей по усам всех козырями. „Ге, ге! да это не по-козацки! А чем ты кроешь, земляк?“ — „Как чем? козырями!“ „Может быть, по-вашему это и козыри, только по-нашему нет!“ Глядь — в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертаньё пошло снова драть горло: „дурень, дурень!“ так, что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей. „Козырь!“ вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. „А чем ты, старый дьявол, бьешь!“ Ведьма подняла карту: под нею была простая шестерка. „Вишь, бесовское обморачиванье!“ сказал дед и с досады хватил кула-

ком, что силы, по столу. К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет: дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел, уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. „Вот тебе на! это что? э, э, верно, что-нибудь да не так!“ Вот, дед карты потихоньку под стол — и перекрестил; глядь — у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралю. „Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? а? Кошечье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!..“ Гром пошел по пеклу; ведьму напали корчи, и, откуда ни возмись, шапка бух деду прямёхонько в лицо. „Нет, этого мало!“ закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. „Если сейчас не станет передо мною молодецкой конь мой, то вот, убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас!“ и уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости. „Вот тебе конь твой!“ Заплакал бедняга, глядя на них, что дитя неразумное. Жаль стало товарища! „Дайте

ж мне какого-нибудь коня, выбраться из гнезда вашего!“ Чорт хлопнул арапником — конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх.

Страх, однако ж, напал на него посередине дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что деялось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем; перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты.

Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! что за пропасть, какие с человеком чудеса деются! Глядь на руки — все в крови; посмотрел в стоявшую сторчмя бочку с водою — и лицо также. Обмывшись хорошень-

ко, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату; смотрит: дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: „Дывысь, дывысь, маты, мов дурна, скаче!“ [24] И в самом деле, баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее: „Здравствуй, жена! здорова ли ты?“ Та долго смотрела, выпучивши глаза, и наконец уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездил по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки и, чорт знает, что еще такое. „Ну“, говорит дед: „тебе во сне, мне на яву. Нужно, вижу, будет освятить нашу хату; мне же теперь мешкать нечего“. Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там навиделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать: как повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату — нет; в другую — нет; в тре-

тью — еще нет; в четвертой даже нет; да в пятой уже, глядь — сидит сама, в золотой короне, в серой новехонькой свитке, в красных сапогах и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку *синицами*, как... — всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл, и если случилось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать всё, как было. И, видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься в присядку.

Часть вторая

Предисловие*

Вот вам и другая книжка, а лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною: вот, говорят, одурел старый дед: на старости лет тешится ребяческими игрушками! И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только стариком. Куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет! Теперь, если что мягкое попадется, то буду как-нибудь жевать, а твердое — то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощаньи, особенно с тем, с которым, бог знает, скоро ли увидите. В этой книжке услышите рассказчиков всё почти для вас знакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как

рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказывал этого случая? Послушайте, тут прекомедия была. Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости (нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог им здоровье, не забывают старика. Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть, близ семидесяти. Диканьский-то поп, отец Харлампий, знал, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесят лет, как его нет на свете). Вот, приехали ко мне гости: Захар Кирилович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кирилович Хлоста; приехал еще... вот позабыл, право, имя и фамилию... Осип... Осип... Боже мой, его знает весь Миргород! он еще, когда говорит, то всегда щелкнет наперед пальцем и подпрется в боки... Ну, бог с ним! в другое время вспомню. Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человек. Разговорились все

(опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры; чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была), разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже... „Ничего из этого не будет!“ подхватил полтавец, заложивши руку в гороховый кафтан свой и прошедши важным шагом по комнате: „ничего не будет! Прежде всего нужно пересыпать канупером, а потом уже...“ Ну, я на вас ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совести, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупером? Правда, кладут смородинный лист, нечуй-ветер, трилистник; но чтобы клали канупер... нет, я не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. Ну, говорите же вы! Нарочно, как доброго человека, отвел я его потихоньку в сторону: „Слушай, Макар Назарович, эй, не смеди народ! Ты человек немаловажный: сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, ска-

жешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все!“ Что ж бы, вы думали, он сказал на это? Ничего! плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою; только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал. И лучше! Не нужно нам таких гостей! Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как эта знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. Да будто комиссар такой уже чин, что выше нет его на свете. Слава богу, есть и больше комиссара. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример Фома Григорьевич; кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви, когда запоет на крылосе — умиление неизобразимое! растаял бы, казалось, весь!.. А тот... ну, бог с ним! он думает, что без его сказок и обойтись нельзя. Вот всё же таки набралась книжка.

Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел было это

сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте! Долго, а может быть совсем, не увидимся. Да что? ведь вам всё равно, хоть бы и не было совсем меня на свете. Пройдет год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке*.

В этой книжке есть много слов, не всякому понятных*. Здесь они почти все означены:

Баштан, место, засеянное арбузами и дынями.

Бублик, круглый крендель, баранчик.

Варенуха, вареная водка с пряностями.

Видлога, откидная шапка из сукна, пришитая к кобеняку.

Выкрутасы, трудные па.

Галушки, клёцки.

Гаман, род бумажника, где держут огниво, кремь, губку, табак, а иногда и деньги.

Голодная кутья, сочельник.

Горлица, танец.

Гречаник, хлеб из гречневой муки.
Дивчына, девушка; дивчата, девушки.
Дукат, род медали, носится на шее женщи-
нами.

Жинка, жена.

Запаска, род шерстяного передника у жен-
щин.

Кавун, арбуз.

Каганець, светильня, состоящая из разби-
того черепка, наполненного салом.

Канупер, трава.

Кацап, русской человек с бородою.

Книш, спеченый из пшеничной муки хлеб,
обыкновенно едомый горячим с маслом.

Кобеняк, род суконного плаща с приши-
тою назад видлогою.

Кожух, тулуп.

Комора, амбар.

Кораблик, старинный головной убор.

Корж, сухая лепешка из пшеничной муки,
часто с салом.

Курень, соломенный шалаш.

Кухва, род кадки, похожая на опрокинутую
дном кверху бочку.

Кухоль, глиняная кружка.

Левада, усадьба.

Люлька, трубка.

Намитка, белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами, с откинутыми назад концами.

Нечуй-вѣтер, трава.

Паляница, небольшой хлеб, несколько плоской.

Парубок, парень.

Пейсики, жидовские локоны.

Пекло, ад.

Переполох, испуг. Выливать переполох, лечить испуг.

Петрови батоги, трава.

Плахта, нижняя одежда женщин из шерстяной, клетчатой материи.

Пивкопы, двадцать пять копеек.

Пыщик, пищалка, дудка, небольшая свирель.

Покут, место под образами.

Полутабенек, старинная шелковая материя.

Свитка, род полукафтаныя.

Скрыня, большой сундук.

Смалець, бараний жир.

Сопилка, свирель.

Сукня, старинная одежда женщин из сукна.

Сыровець, хлебный квас.

Тесная баба, игра, в которую играют школьники в классе: жмутся тесно на скамье, покаместь одна половина не вытеснит другую.

Хлопець, мальчик.

Хустка, платок носовой.

Цыбуля, лук.

Черевики, башмаки.

Чумаки, малороссияне, едущие за солью и рыбою обыкновенно в Крым.

Швець, сапожник.

Шибеник, висельник.

Ночь перед Рождеством*

Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа.[25] Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа

парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски-сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, заметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят и сколько в сундуке лежит полотна и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала

вверху. Но где ни показывалось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг, с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос, вместо очков, колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец:[26] узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая всё, что ни попадалось, мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто чорт, которому последняя ночь осталась шататься по белому

свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу. Между тем чорт крался потихоньку к месяцу, и уже протянул было руку, схватить его; но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чорт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем ни бывал, побежал далее. В Диканьке никто не слышал, как чорт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четверенках из шинка, видел, что месяц, ни с сего, ни с того, танцевал на небе, и уверял с божбою в том всё село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться чорту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дья-

ком на кутю, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутти, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке наверное придет кузнец, силач и детина хоть куда, который чорту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить досчатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуган-

ный чорт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, полами и всем, чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, чорт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на всё, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры чорт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоенная на шафран, могла бы заманить Чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за

что не отважится итти к дочке, несмотря на свою силу. Таким-то образом, как только чорт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякой бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут чорт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Всё, что ни живет в нем, всё силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а всё мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетилловских смушек с суконною покрышкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе на лето нанковые шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, всё лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим пока-

жется удивительно видеть чорта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура — взглянуть совестно. Роба, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

* * *

„Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?“ говорил козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому в коротком тулупе мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. „Там теперь будет добрая попойка!“ продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. „Как бы только нам не опоздать“. При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут — страх и грозу докучливых собак, но, взглянув вверх, остановился... „Что за дьявол! Смотри! смот-

ри, Панас!..“

„Что?“ произнес кум и поднял свою голову также вверх.

„Как что? месяца нет“.

„Что за пропасть? В самом деле нет месяца“.

„То-то что нет“, выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума: „тебе, небось, и нужды нет“.

„А что мне делать!“

„Надобно же было“, продолжал Чуб, утирая рукавом усы: „какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь — чудо. Светло; снег блещет при месяце. Всё было видно как днем. Не успел вытти за дверь, и вот, хоть глаз выколи!“ Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем, в то же время, раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хотелось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шут-

ки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Всё это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колыбельки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно итти темною ночью, да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму.

„Так нет, кум, месяца?“

„Нет“.

„Чудно, право. А дай понюхать табаку! У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?“

„Кой чорт, славный!“ отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами.

„Старая курица не чихнет!“

„Я помню“, продолжал всё так же Чуб: „мне покойный шинкарь Зузуля раз привез

табаку из Нежина. Эх, табак был! Добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе“.

„Так, пожалуй, останемся дома“, произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало итти наперекор. „Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно итти!“ Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно всё равно, сидеть ли дома, или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

* * *

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Ди-

каньки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало по малу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего, она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. „Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша?“ говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. „Лгут люди, я совсем не хороша“. Но мелькнувшее в зеркале свежее живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказали против-

ное. „Разве черные брови и очи мои“, продолжала красавица, не выпуская зеркала: „так хороши, что уже равных им нет и на свете. Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? будто хороши мои черные косы? Ух! Их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвилились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша!“ и, отдвигая несколько подальше от себя зеркало, вскрикнула: „Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня на смерть“.

„Чудная девка!“ прошептал вошедший тихо кузнец: „и хвостовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!“

„Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня“, продолжала хорошенькая кокетка: „как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидеть богаче галуна! Всё это накупил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!“ и

усмехнувшись поворотилась она в другую сторону, и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна; и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и всё это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот всё, что можно было сделать тогда наилучшего.

„Зачем ты пришел сюда?“ так начала говорить Оксана. „Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О! я знаю вас! Что, сундук мой готов?“

„Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил

такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околодок выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!“

„Кто ж тебе запрещает? говори и гляди!“ Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало, и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

„Позволь и мне сесть возле тебя!“ сказал кузнец.

„Садись“, проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

„Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя!“ произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на не приметном расстоянии

от губ кузнеца, и оттолкнула его. „Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею“. Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

„Не любит она меня“, думал про себя, повеся голову, кузнец. „Ей всё игрушки; а я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с нее. И всё бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит себя сама собою; мучит меня бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить“.

„Правда ли, что твоя мать ведьма?“ произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его всё засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо вострепнувших жилах, и за всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

„Что мне до матери? ты у меня мать и отец

и всё, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: кузнец Вакула, прося у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, всё отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!“

„Видишь какой ты! только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери“, проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. „Однако ж девчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колдовать. Мне становится скучно“.

„Бог с ними, моя красавица!“

„Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!“

„Так тебе весело с ними?“

„Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул, верно, девчата с парубками“.

„Чего мне больше ждаться?“ говорил сам с собою кузнец. „Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая под-

кова. Но если ж так, не достанется по крайней мере другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...“

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: отвори! прервал его размышления.

„Постой, я сам отворю“, сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

* * *

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что чорт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено однако ж и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как чело-

век, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато́й горе, и прямо в трубу. Чорт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторной печке между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посере́ди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездилa на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие года. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешает между прочим заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и

козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже, верно, закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: „Эх, добрая баба! Чорт-баба!“ Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее

всего с козаком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякой раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачивался задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы табаку. Всё это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы, каким-нибудь образом, сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обык-

новенному средству всех сорокалетних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяко-лупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел как-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом перед самою Петровкою, когда он лег спать в клеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенною косою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевелинуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но всё это что-то сомнительно, потому что

один только сорочинский заседатель может увидеть ведьму. И оттого все именитые козачки махали руками, когда слышали такие речи. „Брешут, сучи бабы!“ бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить всё к своему месту; но мешков не тронула: это Вакула принес, пусть же сам и вынесет! Чорт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А чорт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчевает его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

* * *

В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как

Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, чорта и кума. Впрочем эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники повернули назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

„Стой, кум! мы, кажется, не туда идем“, сказал, немного отошедши, Чуб: „я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!“

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и наконец набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл всё и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нимало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем,

что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во всё горло, но, видя, что кум не является, решил итти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая замерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

„Чего тебе тут нужно?“ сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. „Э, нет, это не моя хата“, говорил он про себя: „в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю, зачем же кузнец?.. Э, ге, ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я всё понял“.

„Кто ты такой и зачем таскаешься под две-

рями?“ произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

„Нет не скажу ему, кто я“, подумал Чуб: „чего доброго еще приколотит проклятый выродок!“ и, переменяв голос, отвечал: „Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами“.

„Убирайся к чорту с своими колядками!“ сердито закричал Вакула. „Что ж ты стоишь? слышишь, убирайся сей же час вон!“

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. „Что ж ты, в самом деле, так раскричался?“ произнес он тем же голосом: „я хочу колядовать, да и полно“.

„Эге! да ты от слов не уймешься!..“ Вслед за этими словами Чуб почувствовал пребольной удар в плечо.

„Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться!“ произнес он, немного отступая.

„Пошел, пошел!“ кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

„Что ж ты!“ произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. „Ты, вижу, не в шутку дерешься и еще больно дерешься!“

„Пошел, пошел!“ закричал кузнец и хлопнул дверь.

„Смотри, как расхрабрился!“ говорил Чуб, оставшись один на улице. „Попробуй, подойди! вишь какой! вот большая цыца! ты думаешь, я на тебя суда не найду. Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын! жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха! Пстой ты, бесовской кузнец, чтоб чорт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! вишь, проклятый шибеник! однако ж, ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно... вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!“

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в

другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трескался по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намывила снегом проворнее всякого цирульника, тирански хватяющего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы однако ж снег не крестил назад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину, произносил: больно поколотил проклятый кузнец! и снова отправлялся в путь.

* * *

В то время, когда проворный фронт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Всё осветилось. Метели как не бывало. Снег заго-

релся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие. Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться, в такую ночь, между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бы-

вал от них без ума.

„Э, Одарка!“ сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек: „у тебя новые черевички! Ах какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который всё тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевички“.

„Не тужи, моя ненаглядная Оксана!“ подхватил кузнец: „я тебе достану такие черевички, какие редкая панночка носит“.

„Ты?“ сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. „Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица“.

„Видишь, каких захотела!“ закричала со смехом девичья толпа.

„Да!“ продолжала гордо красавица: „будьте все вы свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевички, которые носит царица, то, вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж“.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

„Смейся, смейся!“ говорил кузнец, выходя

вслед за ними. „Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит — ну, бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться“. Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: „достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!“ Всё в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех.



Чорт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как во-

дится, наградить, то он готов на всё, кинется в воду; а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же чорт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер однако ж думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутю к дьяку. Но всё пошло иначе: чорт только что представил свое требование, как вдруг слышался стук и голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный чорт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а, увидевши свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь слышался стук и голос дьяка. „Спрячь меня куда-нибудь“, шептал голова. „Мне не хочется теперь встретиться с дьяком“. Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с

головой и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, побряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю *погулять* немного у нее, и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной, полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство и самодовольствие: „А что это у вас, великолепная Солоха?“ и, сказавши это, отскочил он несколько назад.

„Как что? Рука, Осип Никифорович!“ отвечала Солоха.

„Гм! рука! хе! хе! хе!“ произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

„А это что у вас, дражайшая Солоха?“ произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад.

„Будто не видите, Осип Никифорович!“ отвечала Солоха. „Шея, а на шее монисто“.

„Гм! на шее монисто! хе! хе! хе!“ и дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

„А это что у вас, несравненная Солоха?..“ неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

„Ах, боже мой, стороннее лицо!“ закричал в испуге дьяк: „что теперь, если застанут особу моего звания?.. дойдет до отца Кондрата!..“ Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую. „Ради бога, добродетельная Солоха“, говорил он, дрожа всем телом. „Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина... трин... Стучатся, ей богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь“.

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

„Здравствуй, Солоха!“ сказал, входя в хату, Чуб. „Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помещал...“ продолжал Чуб, показав на лице своем

веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. „Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь!.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?“ и восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. „Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза... Послал же бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... Эк окостенели руки: не расстегну кожуха! Как схватилась вьюга...“

„Отвори!“ раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

„Стучит кто-то?“ сказал остановившийся Чуб.

„Отвори!“ закричали сильнее прежнего.

„Это кузнец!“ произнес, схватясь за капелюхи, Чуб: „слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обеими

глазами по пузырю в копну величиною!“ Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно было, что он весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтоб выслушать от него всё то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: „Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Че-

рез эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!“ Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли, бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно. „Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана?“ говорил кузнец: „не хочу думать о ней; а всё думается, и как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой чорт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь кроме угля. Дурень я! я и позабыл, что теперь мне всё кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет“, вскричал он, помолчав и ободрившись: „что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму“. И

бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. „Взять и этот“, продолжал он, подымая маленькой, на дне которого лежал свернувшись чорт. „Тут, кажется, я положил струмент свой“. Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Мини с жинкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козачков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во всё горло:

*Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку каши,
Кильце ковбаски!*

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи,

которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули; бросивши на землю мешки, так, что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу и голова икнул во всё горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему слышался голос Оксаны.

Так: это она! стоит, как царица, и блестит

черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется. Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее. „А, Вакула, ты тут! здравствуй!“ сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. „Ну, много наколядовал? Э, какой маленькой мешок! а черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйду замуж!“ и засмеявшись убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. „Нет, не могу; нет сил больше...“ произнес он наконец. „Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и всё, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, не в мочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в прорубе, и поминай как звали!“ Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поровнялся с Оксаною и сказал твердым голосом: „Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете“. Красави-

ца казалась удивленною, хотела что-то сказать — но кузнец махнул рукою и убежал.

„Куда, Вакула?“ кричали парубки, видя бегущего кузнеца. „Прощайте, братцы!“ кричал в ответ кузнец. „Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и божией матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Всё добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! прощайте!“ Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. „Он повредился!“ говорили парубки. „Пропавшая душа!“ набожно пробормотала проходившая мимо старуха: „пойти рассказать, как кузнец повесился!“

Вакула, между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. „Куда я в самом деле бегу?“ подумал он; „как будто уже всё пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и всё сделает, что захочет. Пойду, ведь душе всё же придется пропа-

дать!“ При этом чорт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, стряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем было где и поместиться: потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно не заметно, и, казалось, винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь.

Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому было, может быть, лень, а может и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду. Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадучкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки. „Нет, этот“, подумал Вакула про себя: „еще ленивее Чуба: тот по крайней мере ест ложкою; а этот и руки не хочет поднять!“ Пацюк, верно, крепко занят

был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкой поклон.

„Я к твоей милости пришел, Пацюк!“ сказал Вакула, кланяясь снова. Толстый Пацюк поднял голову, и снова начал хлебать галушки.

„Ты, говорят, не во гнев будь сказано...“ сказал, собираясь с духом, кузнец: „я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, приходишься немного сродни чорту“.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился всё еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки.

Ободренный кузнец решил продолжить: „К тебе пришел, Пацюк, дай боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропор-

ции!“ Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику досчатый забор. „Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого чорта. Что ж, Пацюк?“ произнес кузнец, видя неизменное его молчание: „как мне быть?“

„Когда нужно чорта, то и ступай к чорту!“ отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.

„Для того-то я и пришел к тебе“, отвечал кузнец, отвешивая поклон: „кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги“.

Пацюк ни слова, и доедал остальные галушки.

„Сделай милость, человек добрый, не откажи!“ наступал кузнец. „Свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена, или иного прочего в случае потребности... как обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?“

„Тому не нужно далеко ходить, у кого чорт за плечами“, произнес равнодушно Пацюк, не

изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. Что он говорит? безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал. Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски; одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. „Посмотрим“, говорил он сам себе: „как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмокнуть в сметану“. Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот; поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. „Вишь какое диво!“

подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот и уже вымазал губы сметаною. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя притом, что один только Пацюк может помочь ему. „Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако, что за чорт! ведь сегодня *голодная кутя*; а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! назад!“ и набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж чорт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать, уже хотел перекреститься... Но чорт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: „Это я — твой друг, всё сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь“,

пискнул он ему в левое ухо. „Оксана будет сегодня же наша“, шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял размышляя.

„Изволь“, сказал он наконец: „за такую цену готов быть твоим!“

Чорт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. „Теперь-то попался кузнец!“ думал он про себя: „теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?“ Тут чорт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде всё хвостатое племя, как будет беситься хромым чорт, считавшийся между ними первым на выдумки.

„Ну, Вакула!“ пропищал чорт, всё так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал: „ты знаешь, что без контракта ничего не делают“.

„Я готов!“ сказал кузнец: „у вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь!“ Тут он заложил назад ру-

ку — и хватать чорта за хвост.

„Вишь какой шутник!“ закричал смеясь чорт: „ну, полно, довольно уже шалить!“

„Постой, голубчик!“ закричал кузнец: „а вот это как тебе покажется?“ При сем слове он сотворил крест, и чорт сделался так тих, как ягненок. „Постой же“, сказал он, стаскивая его за хвост на землю: „будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан“. Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

„Помилуй, Вакула!“ жалобно простонал чорт: „всё, что для тебя нужно, всё сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!“

„А, вот каким голосом запел, немец проклятый! теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе! слышишь, неси как птица!“

„Куда?“ произнес печальный чорт.

„В Петембург, прямо к царице!“ и кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? может быть он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицею на селе. Но нет, он меня любит. Я так хороша! он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я, в самом деле, сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется! и ветреная красавица уже шутила с своими подругами. „Постойте“, сказала одна из них: „кузнец позабыл мешки свои; смотрите: какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам верно счету нет. Роскошь! целые праздники можно объедаться“.

„Это кузнецовы мешки?“ подхватила Оксана: „утащим скорее их ко мне в хату, и разглядим хорошенько, что он сюда наклал“. Все со смехом одобрили такое предложение.

„Но мы не поднимем их!“ закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

„Постойте“, сказала Оксана: „побежим скорее за санками и отвезем на санках!“

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... Это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девочки довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб: в то время, когда дев-

чата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчивает его; но как нарочно все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутю среди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. „Вишь какие мешки кто-то бросил на дороге!“ сказал он, осматриваясь по сторонам: „должно быть тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *дobre*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в *шмак*: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел“. Тут взвалил он себе на плеча мешок, с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. „Нет, одному будет тяжело несть“, проговорил он: „а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко.

Здравствуй, Остап!“

„Здравствуй“, сказал остановившись ткач.

„Куда идешь?“

„А так. Иду куда ноги идут“.

„Помоги, человек добрый, мешки снести!“

кто-то колядовал, да и кинул посереде дороги. Добром разделимся пополам“.

„Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?“

„Да думаю, всего есть“.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

„Куда ж мы понесем его? в шинок?“ спросил дорогою ткач.

„Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома“.

„Да точно ли нет дома?“ спросил осторожный ткач.

„Слава богу, мы не совсем еще без ума“, сказал кум: „чорт ли бы принес меня туда, где

она. Она, думаю, протаскается с бабами до света“.

„Кто там?“ закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

„Вот тебе на!“ произнес ткач, опустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких не мало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома, и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякой, выходящий из дому, никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Всё, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него до-

бычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей, и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обеими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила. „Вот это хорошо!“ сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. „Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди, только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сей час, слышите, покажите сей же час мешок ваш!“

„Лысый чорт тебе покажет, а не мы“, сказал приосанясь кум.

„Тебе какое дело?“ сказал ткач: „мы наколядовали, а не ты“.

„Нет, ты мне покажешь, негодный пьяни-

ца!“ вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку. Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворнохватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

„Что мы допустили ее?“ сказал ткач очнувшись.

„Э, что мы допустили! а отчего ты допустил!“ сказал хладнокровно кум.

„У вас кочерга, видно, железная!“ сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. „Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу; дала пивкопы, та ничего... не больно...“

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него.

Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. „Э, да тут лежит целый кабан!“ вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

„Кабан! слышишь, целый кабан!“ толкал

ткач кума: „а всё ты виноват!“

„Что ж делать!“ произнес, пожимая плечами, кум.

„Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!“

„Пошла прочь! пошла! это наш кабан!“ кричал выступая ткач.

„Ступай, ступай, чортова баба! это не твое добро!“ говорил приближаясь кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все неволью разинули рты.

„Что ж она, дура, говорит: кабан! это не кабан!“ сказал кум, выпуча глаза.

„Вишь какого человека кинуло в мешок!“ сказал ткач, пятась от испугу. „Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!“

„Это кум!“ вскрикнул вглядевшись кум.

„А ты думал кто?“ сказал Чуб усмехаясь. „Что, славную я выкинул над вами штуку? а

вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины. Постойте же, я вас порадую: в мешке лежит еще что-то, если не кабан, то наверно поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось“.

Ткач и кум кинулись к мешку; хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из руки ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

„Вот и другой еще!“ вскрикнул со страхом ткач: „чорт знает как стало на свете... голова идет кругом... не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!“

„Это дьяк!“ произнес изумившийся более всех Чуб: „вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок... То-то я гляжу, у нее полная хата мешков... Теперь я всё знаю: у нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному... вот тебе и Солоха!“

—

Девушки немного удивились, не найдя од-

ного мешка. „Нечего делать, будет с нас и этого“, лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки. Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок — глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра. Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели как вихорь с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилось на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить всё. Наконец приехали, отворили настежь дверь в сенях и хате, и с хохотом втащили мешок. „Посмотрим, что-то лежит тут“, закричали все, бросившись развязывать. Тут икотка, которая не переставала мучить голову во всё время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во всё горло. „Ах, тут сидит кто-то!“ закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

„Что за чорт! куда вы мечетесь как угорелые?“ сказал, входя в дверь, Чуб.

„Ах, батяно!“ произнесла Оксана: „в мешке сидит кто-то!“

„В мешке? где вы взяли этот мешок?“

„Кузнец бросил его посередине дороги“, сказали все вдруг.

„Ну, так, не говорил ли я...“ подумал про себя Чуб. „Чего ж вы испугались? посмотрим: а ну-ка, чоловіче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!“

Голова вылез.

„Ах!“ вскрикнули девушки.

„И голова влез туда ж“, говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. „Вишь как!.. Э!..“ более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать. „Должно быть, на дворе холодно?“ сказал он, обращаясь к Чубу.

„Морозец есть“, отвечал Чуб: „а позволь спросить себя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?“ Он хотел не то сказать, он хотел спросить: как ты, голова, залез в этот мешок; но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

„Дегтем лучше!“ сказал голова. „Ну, прощай, Чуб!“ и, нахлобучив капелюхи, вышел

из хаты.

„Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги!“ произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. „Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. вишь, чортова баба! а я дурак... да где же тот проклятый мешок?“

„Я кинула его в угол, там больше ничего нет“, сказала Оксана.

„Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! встряхните его хорошенько... что, нет?.. вишь проклятая баба! а поглядеть на нее: как святая, как будто и скромного никогда не брала в рот“.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.



Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чортом. Его за-

бавляло до крайности, как чорт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а чорт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Всё было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Всё было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце чорт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма... много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова несло дальше и продолжало свое; кузнец всё летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Чорт, перелетев через шлахтаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторо-

нам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли, и будто подымались из земли, на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, униженными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные, огненные очи и глядели. Господ, в крытых сукном шубах, он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. „Боже ты мой, сколько тут панства!“ подумал кузнец. „Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше“. Его слова прерваны были вопросом чорта: „Прямо ли ехать к царице?“ — „Нет, страшно“, подумал кузнец. „Тут, где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проез-

жали осенью чрез Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; всё бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, да веди к запорожцам!“ Чорт в одну минуту похудел, и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

„Здравствуйте, панове! помогай бог вам! вот где увиделись!“ сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

„Что там за человек?“ спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подале.

„А вы не узнали?“ сказал кузнец: „это я, Вакула кузнец! Когда проезжали осенью чрез Диканьку, то прогостили, дай боже вам

всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!“

„А!“ сказал тот же запорожец: „это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя бог принес?“

„А так, захотелось поглядеть, говорят...“

„Что ж, земляк“, сказал приосанясь запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски. „Што балшой город?“

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. „Губерния знатная!“ отвечал он равнодушно: „нечего сказать, дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!“

Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.

„После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице“.

„К царице! а будьте ласковы, панове, возъ-

мите и меня с собою!“

„Тебя?“ произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. „Что ты будешь там делать? Нет, не можно“. При этом на лице его выразилась значительная мина. „Мы, брат, будем с царицею толковать про свое“.

„Возьмите!“ настаивал кузнец. „Проси!“ шепнул он тихо чорту, ударив кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил: „Возьмем его, в самом деле, братцы!“

„Пожалуй, возьмем!“ произнесли другие.

„Надевай же платье такое, как и мы“.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо него бежали назад четырехэтажные дома, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

„Боже ты мой, какой свет!“ думал про себя кузнец: „у нас днем не бывает так светло“.

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

„Что за лестница!“ шептал про себя кузнец: „жаль ногами топтать. Экие украшения! вот говорят: лгут сказки! кой чорт лгут! Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!“

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец всё еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках: „Что за картина! что за чудная живопись!“ рассуждал он: „вот, кажется, говорит! кажется, живая! а дитя святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! Боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, всё ярь да бакан. А голубая так и горит! важная рабо-

та! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь однако ж ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка“, продолжал он, подходя к двери и щупая замок: „еще большего достойна удивления. Эк какая чистая выделка! Это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...“ Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя, вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его слово и да-

же малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

„Все ли вы здесь?“ спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

„*Та вси, батьку!*“ отвечали запорожцы, кланяясь снова.

„Не забудете говорить так, как я вас учил?“

„Нет, батько, не позабудем“.

„Это царь?“ спросил кузнец одного из запорожцев.

„Куда тебе царь! это сам Потемкин“, отвечал тот.

В другой комнате слышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых золотом кафтанах и с пучками назад. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: „Помилуй, мамо! помилуй!“ Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

„Встаньте!“ прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали заповоржцев.

„Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем!“ кричали заповоржцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из заповоржцев. Заповоржцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе всё и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

„Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала“, говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством заповоржцев. „Хорошо ли вас здесь содержат?“ продолжала она, подходя ближе.

„*Та спасиби, мамо!* Провиянт дают хороший (хотя бараны здешние совсем не то, что у

нас на Запорожьи), почему ж не жить как-нибудь?..“

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев приосанясь выступил вперед: „Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры*; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..“

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.

„Чего же хотите вы?“ заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.

„Теперь пора! царица спрашивает, чего хотите!“ сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

„Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? я думаю, ни один швец, ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!“

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

„Встань!“ сказала ласково государыня: „если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это не трудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам“, продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал,

что он не принадлежал к числу придворных: „предмет достойный остроумного пера вашего!“

„Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена!“ отвечал поклонясь человек с перламутровыми пуговицами.

„По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего Бригадира. Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж“, продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам: „я слышала, что на Сече у вас никогда не женятся“.

„*Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить“, отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. „Хитрый народ!“ подумал он сам себе: „верно, не даром он это делает“.

„Мы не чернецы“, продолжал запорожец: „а люди грешные. Падки, как и всё честное христианство, до скромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не

живут с ними на Сече. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турецине“.

В это время кузнецу принесли башмаки. „Боже ты мой, что за украшение!“ вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. „Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара“.

Государыня, которая, точно, имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное — но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам,

начала расспрашивать, как у них живут на Сече, какие обычаи водятся — он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: „Выноси меня отсюда скорее!“ и вдруг очутился за шлахбаумом.

„Утонул! ей богу, утонул! вот: чтобы я не сошла с этого места, если не утонул!“ лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посереде улицы.

„Что ж разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову ukrала? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?“ кричала баба в козацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. „Вот, чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!“

„Кузнец повесился! вот тебе на!“ сказал голова, выходявший от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

„Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!“ отвечала ткачиха: „нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! он утонул! утонул в пролу-

бе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки“.

„Страмница! вишь чем стала попрекать!“ гневно возразила баба с фиолетовым носом. „Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер“.

Ткачиха вспыхнула.

„Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?“

„Дьяк?“ пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкою. „Я дам знать дьяка! кто это говорит дьяк?“

„А вот к кому ходит дьяк!“ сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

„Так это ты, сука“, сказала дьячиха, подступая к ткачихе: „так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе“.

„Отвяжись от меня, сатана!“ говорила пятясь ткачиха.

„Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! тьфу!..“ тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голо-

ве, который, чтобы лучше всё слышать, подобрался к самым спорившим. „А, скверная баба!“ закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. „Экая мерзость!“ повторял он, продолжая обтираться. „Так кузнец утонул! Боже ты мой! а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! что за сила была! Да“, продолжал он, задумавшись: „таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! а я собирался было подковать свою рябую кобылу!..“ и, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб, она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он, в самом деле, ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так лю-

бил ее! он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый, — и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя. То, приутихнув, решалась ни о чем не думать — и всё думала. И вся горела; и к утру влюбилась по-уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участии Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках, набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с

усаами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею частью в кобеняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник: голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; девчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя. Молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник, как будто не праздник; что как будто всё чего-то недостает. Как на беду, дьяк, после путешествия в мешке, охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса,

но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели Отче наш или Иже херувими, всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда ж это, в самом деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся чорт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. „Куда?“ закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать чорта: „постой, приятель, еще не всё: я еще не поблагодарил тебя“. Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный чорт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: „Я проспал заут-

рению и обедню!“ Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, бог, нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но однако ж успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу, и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетловских смушек с синим верхом, которой не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынял также новый всех цветов пояс; положил всё это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли,

что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему притти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: „помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! ты ж когда-то брался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили“.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине. „Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем всё, что было меж нами! ну, теперь говори, чего тебе хочется?“

„Отдай, батько, за меня Оксану!“

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс, шапка была чудная, пояс также не

уступал ей, вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно: „*добре!* присылай сватов!“

„Ай!“ вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

„Погляди, какие я тебе принес черевики!“ сказал Вакула: „те самые, которые носит царица“.

„Нет! нет, мне не нужно черевиков!“ говорила она, махая руками и не сводя с него очей: „я и без черевиков...“ далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою. „А чья это такая размалеванная хата?“ спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с ди-

тятей на руках. „Кузнеца Вакулы!“ сказала ему кланяясь Оксана, потому что это именно была она. „Славно! славная работа!“ сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это однако ж не всё: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула чорта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *он бачь, яка кака намалевана!* и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

Страшная месьть*

I.

Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше люби-

ли попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, где, промеж двумя горами, был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивилися гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкой бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутабенеку, сапогам с серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровьи, а двадцать один пропал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарасказал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле! Там всё не так: и люди не те, и церквей христовых нет... Но он не приехал. Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде коровой. Музыканты принялись за исподку его, спеченную вместе с день-

гами и, на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем молодницы и девчата, утершись шитыми платками, выступали снова из рядов своих; а парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу — как старый есаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме. Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать короткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал. Но уже он протанцевал на славу козачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг всё лицо его переменялось: нос вырос и наклонился на-сторону, вместо карых, запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта вы-

бежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак — старик. „Это он! это он!“ кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. „Колдун показался снова!“ кричали матери, хватая на руки детей своих. Величаво и сановито выступил вперед есаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы: „Пропади, образ сатаны, тут тебе нет места!“ и зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик. Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом. „Что это за колдун?“ спрашивали молодые и небывалые люди. „Беда будет!“ говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью есаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разное, и наверно никто не мог рассказать про него. На двор выкатили бочку меду и не мало поставили ведер грецкого вина. Всё повеселело снова. Музыканты грянули; девчата, молодницы, лихое козачество, в ярких жупанах, понеслись. Девяностолетнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая не даром пропавшие годы. Пировали до позд-

ней ночи, и пировали так, как теперь уже не пируют. Стали гости расходиться, но мало побрело во свояси: много осталось ночевать у есаула на широком дворе; а еще больше козачества заснуло само, непрошенное, под лавками, на полу, возле коня, близ клева; где пошатнулась с хмеля козацкая голова, там и лежит и храпит на весь Киев.

II.

Тихо светит по всему миру. То месяц показался из-за горы. Будто дамасскою дорогою и белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен.

Посередине Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца; черные козацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего не поют козаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксензы и перекрещивают козацкий народ в католиков; ни о том, как два дни билась при Соленом озере орда. Как им петь, как говорить про лихие дела: пан их Данило призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпа-

ет воду; пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незастланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода. Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса! Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху, острая вершина и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бороною, и над волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине и в нижней половине прогуливается месяц. Не глядит пан Данило по сторонам, глядит он на молодую жену свою. „Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина вдалася в печаль?“ — „Я не в печаль вдалася, пан мой, Данило! Меня устрошили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным... и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данило, как страшно говорят: что будто ему всё чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный ве-

чер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскалывает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно, мне страшно было, когда я слушала эти рассказы“, говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды. Пан Данило ни слова, и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал, из-за вала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались три морщины; левая рука гладила молодецкие усы. „Не так еще страшно, что колдун“ говорил он, „как, страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда... Я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол! Если у него водится золо-

то... Мы сейчас будем плыть мимо крестов — это кладбище! тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь: не всегда на войне можно добыть...“

„Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встреча с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь, очи твои так угрюмо надвинулись бровями!..“

„Молчи, баба!“ с сердцем сказал Данило. „С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку!“ Тут оборотился он к одному из гребцов, который, выколотивши из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. „Пугает меня колдуном!“ продолжал пан Данило. „Козак, слава богу, ни чертей, ни ксензов не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? наша жена люлька, да острая сабля!“ Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду; а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился как волчья шерсть среди ночи. Дуб повернул

и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет, только месяц греет их с небесной вышины. „Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь!“ сказал пан Данило, оборотясь к гребцам своим. „Мы слышим крики, и кажется, с той стороны“, разом сказали хлопцы, указывая на кладбище. Но всё стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данило: страх и холод прорезался в козацкие жилы. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самых пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо всё задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он. „Душно мне! душно!“ простонал он диким, не человеческим голосом. Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю. Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь зарос; борода по колена и еще длиннее

костяные когти. Еще диче закричал он: „Душно мне!“ и ушел под землю. Пошатнулся третий крест, поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею. Борода по самые пяты; пальцы с длинными когтями вонзились в землю. Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости... Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы пороняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Всё вдруг пропало, как будто не бывало; однако ж долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядел Буреньба на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя; прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб. „Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нет!“ говорил он, указывая по сторонам. „Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим! Дай сюда на руки мне сына!“ При сем слове поднял пан Данило своего сына вверх и поднес к губам: „Что, Иван, ты не

боишься колдунов? Нет, говори, тятя, я козак. Полно же, перестань плакать! домой приедем! Приедем домой — мать накормит кашею; положит тебя спать в люльку, запоет:

*Люли, люли, люли!
Люли, сынку, люли!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачеству на славу,
Вороженькам в расправу!*

„Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, зачем и приезжать. Не хотел выпить за козацкую волю! не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить всё, что лежит на сердце, да не берет что-то, и речь заикнулась. Нет, у него не козацкое сердце! Козацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу! Что, мои любые хлопцы, скоро берег? Ну, шапки я вам дам новые. Тебе, Стецько, дам выложенную бархатом с золотом. Я ее снял вместе с головою у татарина. Весь его снаряд достался мне; одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы

и приехали, а ты всё плачешь! Возьми его, Катерина!“

Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля; то дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни одного козака.

III.

Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегаящей к Днепру. Невысокие у него хоромы: хата на вид, как и у простых козаков, и в ней одна светлица; но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и десяти отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкетеры, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов; не мало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данило как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною, внизу, дубовые, гладко вытесанные лавки. Возле них, перед лежан-

кою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данило. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе. Ему не пуховик и не перина нужна. Он моет себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть козацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух.

Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья; и проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выпраши-

вать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

„Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает. У нас уже так водится, не погневайся!“ говорил Данило, не оставляя своего дела. „Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю“.

Краска выступила на суровом лице тестя и очи дико блеснули. „Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой!“ бормотал он про себя. „Ну, я тебя спрашиваю: где таскался до поздней ночи?“

„А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею... Умею никому и ответа не давать в том, что делаю“.

„Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, верно, на уме недоброе дело“.

„Думай себе что хочешь“, сказал Данило: „думаю и я себе. Слава богу, ни в одном еще бесчестном деле не был; всегда стоял за веру православную и отчизну; не так, как иные

бродяги, таскаются, бог знает где, когда православные бьются на-смерть, а после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи: не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются“.

„Э, козак! знаешь ли ты... я плохо стреляю: всего за сто сажень пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незavidно: от человека остаются куски мелче круп, из которых варят кашу“.

„Я готов“, сказал пан Данило, бойко перекрестивши воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.

„Данило!“ закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснув на ней: „вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку! Батько, твои волосы белые, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!“

„Жена!“ крикнул грозно пан Данило: „ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!“

Сабли страшно звукнули; железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали

себя козаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились козаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки: тук, тук. „Нет, не вытерплю, не вытерплю... Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый; а я лежу здесь!“ И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.

Ровно и страшно бились козаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец — подается пан Данило. Наступает пан Данило — подается суровый отец, и опять наравне. Кипят. Размахнулись... ух! сабли звенят... и, гремя, отлетели в сторону клинки. „Благодарю тебя, боже!“ сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки. Выстрелил пан Данило, не попал. Нацелился отец... Он стар; он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загредел... Пошатнулся пан

Данило. Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого жупана. „Нет!“ закричал он: „я не продам так дешево себя. Не левая рука, а правая атаман. Висит у меня на стене турецкий пистолет: еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! покажи другу услугу!“ Данило протянул руку.

„Данило!“ закричала в отчаянии, схвативши его за руки и бросившись ему в ноги, Катерина: „не за себя молю. Мне один конец: та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило, погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-козацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! я теперь знаю тебя! ты зверь, а не человек! У тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины. Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоём каменном теле человечесье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с весе-

ля, когда услышат, как нечестивые звери ля-
хи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой
будет кричать под ножами и окропом. О, я
знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раз-
дувать шапкою огонь, взвихрившийся под
ним!“

„Постой, Катерина! ступай, мой ненагляд-
ный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое, ни-
кто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь
на славу отчизны; как вихорь будешь ты ле-
тать перед козаками, с бархатною шапочною
на голове, с острою саблею в руке. Дай, отец,
руку! Забудем бывшее между нами. Что сде-
лал перед тобою неправого, — винюсь. Что же
ты не даешь руки?“ говорил Данило отцу Ка-
терины, который стоял на одном месте, не
выражая на лице своем ни гнева, ни прими-
рения.

„Отец!“ вскричала Катерина, обняв и поце-
ловав его: „не будь неумолим, прости Данила:
он не огорчит больше тебя!“

„Для тебя только, моя дочь, прощаю!“ отве-
чал он, поцеловав ее и блеснув странно оча-
ми. Катерина немного вздрогнула: чуден по-
казался ей и поцелуй и странный блеск очей.

Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненную свою руку пан Данило, передумывая, что худо и не по-козацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват.

IV.

Блеснул день, но не солнечный: небо хмурилось и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и беспокойна. „Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!“

„Какой сон, моя любая пани Катерина?“

„Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто на яву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Каких глупостей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стояли мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...“

„Что же он говорил, моя золотая Катерина?“

„Говорил: ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен.“

Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами! Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась“.

„Да, сны много говорят правды. Однако ж, знаешь ли ты, что за горою не так спокойно. Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Горобець прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится; я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили двенадцать засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батогов“.

„А отец знает об этом?“

„Сидит у меня на шее твой отец! я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом деле, за причина: живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый козак! Не захотел выпить меду! слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у брестовских жидов. Эй, хлопец!“ крикнул пан Данило. „Беги, малый, в погреб, да принеси жидовского меду! Горелки даже не пьет! Экая пропасть! мне кажется, пани Катерина, что он и в господа Христа не верует. А! как тебе

кажется?”

„Бог знает, что говоришь ты, пан Данило!”

„Чудно, пани!” продолжал Данило, принимая глиняную кружку от козака: „поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьют. Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале?”

„Попробовал только, пан!”

„Лжешь, собачий сын! вишь, как мухи напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил с полведра. Эх, козаки! что за лихой народ! всё готов товарищу, а хмельное высушит сам. Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А?”

„Вот давно! а в прошедший...”

„Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вот и турецкой игумен влазит в дверь!” проговорил он сквозь зубы, увидя нагнувшегося, чтобы войти в дверь, тестя.

„А что ж это, моя дочь!” сказал отец, снимая с головы шапку и поправив пояс, на котором висела сабля с чудными камнями: „солнце уже высоко, а у тебя обед не готов”.

„Готов обед, пан отец, сейчас поставим! вынимай горшок с галушками!” сказала пани

Катерина старой прислужнице, обтиравшей деревянную посуду. „Постой, лучше я сама выну“, продолжала Катерина: „а ты позови хлопцев“.

Все сели на полу в кружок: против покута пан отец, по левую руку пан Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивернейших молодцов, в синих и желтых жупанах.

„Не люблю я этих галушек!“ сказал пан отец, немного поевши и положивши ложку: „никакого вкуса нет!“

„Знаю, что тебе лучше жидовская лапша“, подумал про себя Данило. „Отчего же, тесь“, продолжал он вслух: „ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? моя Катерина так делает галушки, что и гетману редко достается есть такие. А брезгать ими нечего. Это христианское кушанье! Все святые люди и угодники божии едали галушки“.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами. „Я не люблю свинины!“ сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

„Для чего же не любить свинины?“ сказал Данило. „Одни турки и жида не едят свини-

ны“.

Еще суровее нахмурился отец.

Только одну лемишку с молоком и ел старый отец и потянул вместо водки из фляжки, бывшей у него в пазухе, какую-то черную воду.

Пообедавши, заснул Данило молодецким сном и проснулся только около вечера. Сел и стал писать листы в козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанке. Сидит пан Данило, глядит левым глазом на писание, а правым в окошко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр. За Днепром синеют леса. Мелькает сверху прояснившееся ночное небо; но не далеким небом и не синим лесом любитесь пан Данило: глядит он на выдавшийся мыс, на котором чернел старый замок. Ему почудилось, будто блеснуло в замке огнем узенькое окошко. Но всё тихо. Это, верно, показалось ему. Слышно только, как глухо шумит внизу Днепр и с трех сторон, один за другим, отдаются удары мгновенно пробудившихся волн. Он не бунтует. Он, как старик, ворчит и ропчет; ему всё не мило; всё переменялось около него; тихо враждует он

с прибережными горами, лесами, лугами и несет на них жалобу в Черное море. Вот по широкому Днепру зачернела лодка и в замке снова как будто блеснуло что-то. Потихоньку свистнул Данило, и выбежал на свист верный хлопец. „Бери, Стецько, с собою скорее острую саблю да винтовку, да ступай за мною!“

„Ты идешь?“ спросила пани Катерина.

„Иду, жена. Нужно обсмотреть все места, всё ли в порядке“.

„Мне, однако ж, страшно оставаться одной. Меня сон так и клонит. Что, если мне приснится то же самое? я даже не уверена, точно ли то сон был, так это происходило живо“.

„С тобою старуха остается; а в сенях и на дворе спят козаки!“

„Старуха спит уже, а козакам что-то не верится. Слушай, Пан Данило, замкни меня в комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не так будет страшно; а козаки пусть лягут перед дверями“.

„Пусть будет так!“ сказал Данило, стирая пыль с винтовки и сыпя на полку порох. Верный Стецько уже стоял одетый во всей козацкой сбруе. Данило надел смушевую шапку,

закрыв окошко, задвинул засовами дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора промеж спавшими своими козаками в горы. Небо почти всё прочистилось. Свежий ветер чуть-чуть навевал с Днепра. Если бы не слышно было издали стенания чайки, то всё бы казалось онемевшим. Но вот почудился шорох... Бурульбаш с верным слугою тихо спрятался за терновник, прикрывавший срубленный засек. Кто-то в красном жупане, с двумя пистолетами, с саблею при боку, спускался с горы. „Это тесть!“ проговорил пан Данило, разглядывая его из-за куста. „Зачем и куда ему итти в эту пору? Стецько! не зевай, смотри в оба глаза, куда возьмет дорогу пан отец“. Человек в красном жупане сошел на самый берег и поворотил к выдававшемуся мысу. „А! вот куда!“ сказал пан Данило. „Что, Стецько, ведь он как раз потащился к колдуну в дупло“.

„Да, верно, не в другое место, пан Данило! иначе мы бы видели его на другой стороне. Но он пропал около замка“.

„Постой же, вылезем, а потом пойдем по следам. Тут что-нибудь да кроется. Нет, Катерина, я говорил тебе, что отец твой недобрый

человек; не так он и делал всё, как православный“.

Уже мелькнули пан Данило и его верный хлопец на выдавшемся берегу. Вот уже их и не видно. Непробудный лес, окружавший замок, спрятал их. Верхнее окошко тихо засветилось. Внизу стоят козаки и думают, как бы влезть им. Ни ворот, ни дверей не видно. Со двора, верно, есть ход; но как войти туда? Издали слышно, как гремят цепи и бегают собаки. „Что я думаю долго!“ сказал пан Данило, увидя перед окном высокий дуб: „стой тут, мальй! я полезу на дуб; из него прямо можно глядеть в окошко“. Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю, чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднялся вверх. Окошко всё еще светилось. Присевши на сук, возле самого окна, уцепился он рукою за дерево, и глядит: в комнате и свечи нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит оружие, но всё странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский. Под потолком взад и вперед мелькают нетопыри, и тень от них мелькает по стенам, по дверям, по помосту. Вот отворилась без

скрыпа дверь. Входит кто-то в красном жупане и прямо к столу, накрытому белой скатертью. Это он, это тесть! Пан Данило опустился немного ниже и прижался крепче к дереву. Но ему некогда глядеть, смотрит ли кто в окошко, или нет. Он пришел пасмурен, не в духе, сдернул со стола скатерть — и вдруг по всей комнате тихо разлился прозрачно-голубой свет. Только не смешавшиеся волны прежнего бледно-золотого переливались, ныряли, словно в голубом море и тянулись слоями, будто на мраморе. Тут поставил он на стол горшок и начал кидать в него какие-то травы. Пан Данило стал вглядываться и не заметил уже на нем красного жупана; вместо того показались на нем широкие шаровары, какие носят турки; за поясом пистолеты; на голове какая-то чудная шапка, исписанная вся не русскою и не польскою грамотою. Глянул в лицо — и лицо стало переменяться: нос вытянулся и повиснул над губами; рот в минуту раздался до ушей; зуб выглянул изо рта, нагнулся на сторону, и стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у есаула. „Правдив сон твой, Катерина!“ поду-

мал Бурульбаш. Колдун стал прохаживаться вокруг стола, знаки стали быстрее перемещаться на стене, а нетопыри залетали сильнее вниз и вверх, взад и вперед. Голубой свет становился реже, реже и совсем как будто потухнул. И светлица осветилась уже тонким розовым светом. Казалось, с тихим звоном разливался чудный свет по всем углам и вдруг пропал и стала тьма. Слышался только шум, будто ветер в тихий час вечера наигрывал, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебряные ивы. И чудится пану Даниле, что в светлице блеснит месяц, ходят звезды, неясно мелькает темносинее небо и холод ночного воздуха пахнул даже ему в лицо. И чудится пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы, не спит ли), что уже не небо в светлице, а его собственная опочивальня: висят на стене его татарские и турецкие сабли; около стен полки, на полках домашняя посуда и утварь; на столе хлеб и соль; висит люлька... но вместо образов выглядят страшные лица; на лежанке... но ступившийся туман покрыл всё, и стало опять темно, и опять с чудным звоном осветилась

вся светлица розовым светом, и опять стоит колдун неподвижно в чудной чалме своей. Звуки стали сильнее и гуще, тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что-ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки? Вот она как-то пошевелила прозрачную голову свою: тихо светятся ее бледно-голубые очи; волосы вьются и падают по плечам ее, будто светло-серый туман; губы бледно алеют, будто сквозь белопрозрачное утреннее небо льется едва приметный алый свет зари; брови слабо темнеют... Ах! это Катерина! Тут почувствовал Данило, что члены у него оковались; он силился говорить, но губы шевелились без звука. Неподвижно стоял колдун на своем месте. „Где ты была?“ спросил он, и стоявшая перед ним затрепетала.

„О! зачем ты меня вызвал?“ тихо простонала она. „Мне было так радостно. Я была в том

самом месте, где родилась и прожила пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен и душист тот луг, где я играла в детстве: и полевые цветочки те же, и хата наша, и огород! О, как обняла меня добрая мать моя! Какая любовь у ней в очах! Она приголубливала меня, целовала в уста и щеки, расчесывала частым гребнем мою русую косу... Отец!“ тут она вперила в колдуна бледные очи: „зачем ты зарезал мать мою!“

Грозно колдун погрозил пальцем. „Разве я тебя просил говорить про это?“ и воздушная красавица задрожала. „Где теперь пани твоя?“

„Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетела. Мне давно хотелось увидеть мать. Мне вдруг сделалось пятнадцать лет. Я вся стала легка, как птица. Зачем ты меня вызвал?“

„Ты помнишь всё то, что я говорил тебе вчера?“ спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

„Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бедная Катерина! она многого не знает из того, что знает душа ее“.

„Это Катерина душа“, подумал пан Данило; но всё еще не смел пошевелиться.

„Покайся, отец! Не страшно ли, что после каждого убийства твоего мертвецы поднимаются из могил?“

„Ты опять за старое!“ грозно прервал колдун. „Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..“

„О, ты чудовище, а не отец мой!“ простонала она. „Нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но один только бог может заставляя ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец, близок страшный суд! Если бы ты и не отец мой был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любому, верному мужу. Если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что бог не любит клятвопреступных и неверных душ“. Тут вперила она бледные очи свои в окошко, под которым сидел пан Данило, и недвижно остановилась...

„Куда ты глядишь? Кого ты там видишь?“ закричал колдун; воздушная Катерина задрожала. Но уже пан Данило был давно на земле и пробирался с своим верным Стецьком в свои горы. „Страшно, страшно!“ говорил он про себя, почувствовав какую-то робость в козацком сердце, и скоро прошел двор свой, на котором так же крепко спали козаки, кроме одного, сидевшего на стороже и курившего люльку. Небо всё было засеяно звездами.

V.

„Как хорошо ты сделал, что разбудил меня!“ говорила Катерина, протирая очи шитым рукавом своей сорочки и разглядывая с ног до головы стоявшего перед нею мужа. „Какой страшный сон мне виделся! Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. мне казалось, что я умираю...“

„Какой же сон, уж не этот ли?“ и стал Бурльбаш рассказывать жене своей всё, им виденное.

„Ты как это узнал, мой муж?“ спросила, изумившись, Катерина. „Но нет, многое мне не известно из того, что ты рассказываешь. Нет, мне не снилось, чтобы отец убил мать

мою; ни мертвецов, ничего не виделось мне. Нет, Данило, ты не так рассказываешь. Ах, как страшен отец мой!“

„И не диво, что тебе многое не виделось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знает душа. Знаешь ли, что отец твой антихрист? Еще в прошлом году, когда собирался я вместе с ляхами на крымцев (тогда еще я держал руку этого неверного народа), мне говорил игумен Братского монастыря, — он, жена, святой человек, — что антихрист имеет власть вызывать душу каждого человека; а душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и летает вместе с архангелами около божией светлицы. Мне с первого разу не показалось лицо твоего отца. Если бы я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем“.

„Данило!“ сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая: „я ли виновна в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любимый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Неверно разве служила тебе? сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с моло-

децкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына?..“

„Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоём“.

„Нет, не называй его отцом моим! Он не отец мне. Бог свидетель, я отрекаюсь от него, отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступник! Пропадай он, тони он — не подам руки спасти его. Сохни он от тайной травы — не подам воды напиться ему. Ты у меня отец мой!“

VI.

В глубоком подвале у пана Данила, за тремя замками, сидит колдун, закованный в железные цепи; а подале над Днепром горит бевсовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун. Им судия бог. Сидит он за тайное предательство, за стоворы с врагами православной русской земли продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун; дума черная, как ночь, у него в голове. Всего

только один день остается жить ему; а завтра пора распрощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет: это еще милость, когда сварят его живого в котле, или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун, поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом, только не такие грехи его, чтобы бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кротка, не памятозлобна, как голубка, не умилосердится ли над отцом... Но никого нет. Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр; ему ни до кого нет дела: он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его. Вот кто-то показался по дороге — это козак! и тяжело вздохнул узник. Опять всё пусто. Вот, кто-то вдали спускается... Развеивается зеленый кунтуш... Горит на голове золотой кораблик... Это она! Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко... „Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!..“ Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и

уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире. Унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце. Но ведает ли эту грусть колдун? День клонится к вечеру. Уже солнце село. Уже и нет его. Уже и вечер: свежо; где-то мычит вол; откуда-то навеваются звуки, верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится; по Днепру мелькает лодка... кому нужда до колодника! Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина. „Дочь! Христа ради, и свирепые волчята не станут рвать свою мать, дочь, хотя взгляни на преступного отца своего!“ Она не слушает и идет. „Дочь, ради несчастной матери!..“ Она остановилась. „Приди принять последнее мое слово!“

„Зачем ты зовешь меня, богоотступник? Не называй меня дочерью! Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери?“

„Катерина! Мне близок конец, я знаю, меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь...“

„Да разве есть на свете казнь равная твоим грехам? Жди ее; никто не станет просить за тебя“.

„Катерина! меня не казнь страшит, но муки на том свете... Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около бога; а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь: всё сильнее и сильнее будет он разгораться; ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет...“

„Этой казни я не властна умалить“ сказала Катерина, отвернувшись.

„Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд бог. Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым“.

„Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу!“ сказала Катерина: „мне ли, слабой женщине, об этом подумать!“

„Если бы мне удалось отсюда вытти, я бы всё кинул. Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу, день и ночь буду молиться богу. Не только скоромного, не возъ-

му рыбы в рот! не постелю одежды, когда стану спать! и всё буду молиться, всё молиться! И когда не снимет с меня милосердие божие хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю, или замуруюсь в каменную стену; не возьму ни пищи, ни питья, и умру; а всё добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней и сорок ночей правили по мне панихиду“.

Задумалась Катерина. „Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей“.

„Я не боюсь цепей“, говорил он. „Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нет, я напустил им в глаза туман и, вместо руки, протянул сухое дерево. Вот я, гляди, на мне нет теперь ни одной цепи!“ сказал он, выходя на середину. „Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой и не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себе, неслыханный грешник, когда выду на волю“.

„Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня

обманываешь?“ сказала Катерина, остановившись пред дверью: „и, вместо того, чтобы покаяться, станешь опять братом чорту?“

„Нет, Катерина, мне не долго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?“

Замки загремели. „Прощай! храни тебя бог милосердый, дитя мое!“ сказал колдун, поцеловав ее.

„Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник, уходи скорее!..“ говорила Катерина; но его уже не было.

„Я выпустила его“ сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. „Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой теперь остается зарыться в могилу!“ и зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. „Но я спасла душу“, сказала она тихо. „Я сделала богоугодное дело. Но муж мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет! Это он! муж!“ вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.

VII.

„Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!“ услышала Катерина, очнувшись, и увидела перед собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала, и протянув над нею иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодной водою.

„Где я?“ говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. „Передо мною шумит Днепр, за мною горы... куда завела меня ты, баба!“

„Я тебя не завела, а вывела; вынесла на руках моих из душного подвала. Замкнула ключиком, чтобы тебе не досталось чего от пана Данила“.

„Где же ключ?“ сказала Катерина, поглядывая на свой пояс. „Я его не вижу“.

„Его отвязал муж твой, поглядеть на колдуна, дитя мое“.

„Поглядеть?.. Баба, я пропала!“ вскрикнула Катерина.

„Пусть бог милует нас от этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнает!“

„Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина, он убежал?“ сказал пан

Данило, приступая к жене своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его. Помертвела жена.

„Его выпустил кто-нибудь, мой любимый муж?“ проговорила она, дрожа.

„Выпустил, правда твоя; но выпустил чорт. Погляди, вместо него бревно заковано в железо. Сделал же бог так, что чорт не боится козачьих лап! Если бы только думу об этом держал в голове хоть один из моих козаков, и я бы узнал... я бы и казни ему не нашел!“

„А если бы я?..“ невольно вымолвила Катерина и испугавшись остановилась.

„Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мне была. Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил бы на самой середине Днепра!..“

Дух занялся у Катерины, и ей чудилось, что волосы стали отделяться на голове ее.

VIII.

На пограничной дороге, в корчме, собрались ляхи и пируют уже два дни. Что-то не мало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чокают шпоры; брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои,

насмежаются над православьем, зовут народ украинский своими холопьями и важно крутят усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксенз вместе. Только и ксенз у них на их же стать: и с виду даже не похож на христианского попа. Пьет и гуляет с ними и говорит нечестивым языком своим страмные речи. Ни в чем не уступает им и челядь: позакидали назад рукава оборванных жупанов своих, и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам. Набрали с собою чужих жен. Крик, драка!.. Пань беснуются и отпускают штуки: хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест; стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар. Видно, уже ей бог определил за грехи терпеть такое посрамление! Слышно между общим содомом, что говорят про заднепровский хутор пана Данила, про красавицу жену его... Не на доброе дело собралась эта шайка!

IX.

Сидит пан Данило за столом в своей светлице, подпершись локтем, и думает. Сидит на лежанке пани Катерина и поет песню.

„Чего-то грустно мне, жена моя!“ сказал пан Данило. „И голова болит у меня, и сердце болит. Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя“.

„О, мой ненаглядный муж! приникни ко мне головою своею! Зачем ты приголубливаешь к себе такие черные думы“, подумала Катерина, да не посмела сказать. Горько ей было, повинной голове, принимать мужние ласки.

„Слушай, жена моя!“ сказал Данило: „не оставляй сына, когда меня не будет. Не будет тебе от бога счастья, если ты кинешь его, ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить моим костям в сырой земле; а еще тяжелее будет душе моей“.

„Что говоришь ты, муж мой! не ты ли издевался над нами, слабыми женами? а теперь сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще долго нужно жить“.

„Нет, Катерина, чует душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свете. Времена

лихие приходят. Ох, помню, помню я годы; им, верно, не воротиться! Он был еще жив, честь и слава нашего войска, старый Конашевич! как будто перед очами моими проходят теперь козацкие полки! — Это было золотое время, Катерина! — Старый гетман сидел на вороном коне. Блестела в руке булава; вокруг сердюки; по сторонам шевелилось красное море запорожцев. Стал говорить гетман — и всё стало, как вкопанное. Заплакал старичина, как зачал воспоминать нам прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Катерина, как резались мы тогда с турками! На голове моей виден и доньне рубец. Четыре пули пролетело в четырех местах сквозь меня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие каменья шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! Ох, не воевать уже мне так! Кажется, и не стар, и телом бодр; а меч козацкий вываливается из рук, живу без дела, и сам не знаю, для чего живу. Порядку нет в Украине: полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. Нет старшей головы над всеми. Шляхетство

наше всё переменяло на польский обычай, переменяло лукавство... продало душу, принявши унию. Жидовство угнетает бедный народ. О, время! время! минувшее время! куда подевались вы, лета мои?.. Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давние годы!“

„Чем будем принимать гостей, пан? с луговой стороны идут ляхи!“ сказал, вошедши в хату, Стецько.

„Знаю, зачем идут они“, вымолвил Данило, подымаясь с места. „Седлайте, мои верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли наголо! не забудьте набрать и свинцового толокна. С честью нужно встретить гостей!“

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавший осенью с дерева на землю лист, усеяли собою гору.

„Э, да тут есть с кем переведаваться!“ сказал Данило, поглядывая на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях, в золотой сбруе. „Видно, еще раз доведется нам погулять на славу! Натешься же, козацкая душа, в последний раз! Гуляйте, хлопцы, пришел наш

праздник!“

И пошла по горам потеха. И запирировал пир: гуляют мечи; летают пули; ржут и топочут кони. От крику безумеет голова; от дыму слепнут очи. Всё перемешалось. Но козак чуёт, где друг, где недруг; прошумит ли пуля — валится лихой седок с коня; свистнет сабля — катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи. Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила; мечется в глаза золотой пояс на синем жупане; вихрем вьётся грива вороного коня. Как птица, мелькает он там и там; покрикивает и машет дамасской саблей, и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны: топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напуганный скот. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и шапка с красным верхом мелькает уже возле хат, и редееет вокруг его толпа. Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не много становится тех и других. Но не устаёт пан Данило: сбивает с седла

длинным копьём своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться ляхи; уже обдирают козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило сбирается в погоню и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему... Козак, на гибель идешь!.. Мушкет гремит — и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану — лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, почувал верного слугу своего. Тихо приподнял веки, блеснул очами: „Прощай, Стецько! скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги!“ и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела; посинели уста. Спит козак непробудно. Зарыдал верный слуга и машет рукою Катерине: „Ступай, пани, ступай: подгулял твой пан. Лежит он пьянехонек на сырой земле. Долго не

протрезвиться ему!“ Всплеснула руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. „Муж мой, ты ли лежишь тут закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою! приподымись! погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пан! Ты посинел, как черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? видно, не горючи мои слезы, не в мочь им согреть тебя! Видно, не громок плач мой, не разбудить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоём вороном конике? громко загукает и замашет саблей пред козаками? Козаки, козаки! где честь и слава ваша? Лежит честь и слава ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похороните же меня, похороните вместе с ним! засыпьте мне очи землею! надавите мне кленовые доски на белые груди! Мне не нужна больше красота моя!“

Плачет и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачет старый есаул Горобець на помощь.

Х.

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет, или не идет его величаявая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибережным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам, и наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмеваются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда всё засыпает, и человек, и зверь, и птица; а бог один величаво озирает небо и землю, и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром, и все ра-

зом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него; разве погаснет на небе. Черный лес, униженный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею — напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня, виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом осветит целый мир — страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать козака, выпроважая своего сына в войско. Разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки

заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки и заливается горючими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков осмелился гулять в челне, в то время, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему не ведомо, что он глотает как мух людей. Лодка причалила, и вышел из нее колдун. Невесел он; ему горька тризна, которую свершили козаки над убитым своим паном. Не мало заплатились ляхи: сорок четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать три холопа изрублены в куски; а остальных вместе с конями угнали в плен продать татарам. По каменным ступеням спустился он между обгорелыми пнями, вниз, где, глубоко в земле, вырыта была у него землянка. Тихо вошел он, не скрыпнувши дверь, поставил на стол, закрытый скатертью, горшок, и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые травы; взял кухоль, выделанный из како-

го-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то заклинания. Показался розовый свет в светлице; и страшно было глянуть тогда ему в лицо. Оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем, а глаза были как в огне. Нечестивый грешник! уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а всё еще творит богопротивный умысел. Посреди хаты стало веять белое облако и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но отчего же вдруг стал он недвижим с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его голове? В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошенное, незванное, явилось оно к нему в гости; чем далее, выяснялось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы, всё незнакомое ему. Никогда во всю жизнь свою он его не видывал. И страшного, кажется, в нем мало; а непреодолимый ужас напал на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако так же неподвижно глядела на него. Облако уже и пропало; а неведомые черты еще резче выка-

зывались и острые очи не отрывались от него. Колдун весь побелел, как полотно. Диким, не своим голосом вскрикнул, опрокинул горшок... Всё пропало.

XI.

„Спокой себя, моя любая сестра!“ говорил старый есаул Горобець. „Сны редко говорят правду“.

„Приляг, сестрица!“ говорила молодая его невестка. „Я позову старуху, ворожею; против нее никакая сила не устоит. Она выльет переполох тебе“.

„Ничего не бойся!“ говорил сын его, хватаясь за саблю: „никто тебя не обидит“.

Пасмурно, мутными глазами, глядела на всех Катерина и не находила речи. „Я сама устроила себе погибель. Я выпустила его“. Наконец она сказала: „Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве; а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... Страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. Я зарублю твое дитя, Катерина! кричал он, если не выйдешь за меня замуж...“ и,

зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручонки и кричало.

Кипел и сверкал сын есаула от гнева, слыша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець: „Пусть попробует он, окаянный антихрист, притти сюда; отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Бог видит“, говорил он, подымая кверху прозорливые очи: „не летел ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! застал уже на холодной постеле, на которой много, много улеглось козацкого народа. Зато разве не пышна была тризна по нем? выпустили ли хоть одного ляха живого? Успокойся же, мое дитя! никто не посмеет тебя обидеть, разве ни меня не будет, ни моего сына“. Кончив слова свои, старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и гаман с блестящим огнивом, протянуло к нему ручонки и засмеялось. „По отцу пойдет“, сказал старый есаул, снимая с себя люльку и отдавая ему: „еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку“.

Тихо вздохнула Катерина и стала качать

колыбель. Сговорились провести ночь вместе, и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате всё было тихо; не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. „Он убит, он зарезан!“ кричала она и кинулась к колыбели. Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, не зная, что думать о неслыханном злодействе.

ХII.

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в Валахию и в Седмиградскую область, и громадою стали в виде подковы между галицким и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человека. Чуден и вид их: не задорное ли море вы-

бежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем безобразные волны и они, окаменев, остались недвижимы в воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромоздили собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую мольвь, и за горами еще, кой-где, отзовется как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. Живет не малолюдный народ венгерский; ездит на конях, рубится и пьет не хуже козака; а за конную сбрую и дорогие кафтаны не скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Как стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые вершины гор и зеленые их подошвы. Но кто среди ночи, блещут, или не блещут звезды, едет на огромном вороном коне? какой богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, отсвечивается с исполинским конем в недвижных водах, и бесконечная тень его страшно мелькает по горам? Блещут чеканенные латы; на плече пика; гремит при седле сабля; шелом надвинут; усы

чернеют; очи закрыты; ресницы опущены — он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на том же коне младенец паж, и также спит и, сонный, держится за богатыря. Кто он, куда, зачем едет? — кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, его не видно; изредка только замечали горцы, что по горам мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту, снова он виден и отдается в озерах и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже проехал много он гор и въехал на Криван. Горы этой нет выше между Карпатом как царь подымается она над другими. Тут остановился конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его.

XIII.

„Тс... тише, баба! не стучи так, дитя мое загнуло. Долго кричал сын мой, теперь спит. Я пойду в лес, баба! Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз вытягиваются железные клещи... ух, какие длинные! и горят, как огонь! Ты, верно, ведьма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты украдешь

моего сына. Какой бестолковый этот есаул: он думает, мне весело жить в Киеве; нет, здесь и муж мой и сын; кто же будет смотреть за хатой? Я ушла так тихо, что ни кошка, ни собака не услышала. Ты хочешь, баба, сделаться молодойю — это совсем не трудно: нужно танцевать только; гляди, как я танцую...” и проговорив такие несвязные речи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на все стороны и упираясь руками в боки. С визгом притопывала она ногами; без меры, без такта звенели серебряные подковы. Незаплетенные черные косы метались по белой шее. Как птица, не останавливаясь, летела она, размахивая руками и кивая головою, и казалось, будто, обессилев, или грянется на земь, или вылетит из мира. Печально стояла старая няня и слезами налились ее глубокие морщины; тяжкий камень лежал на сердце у верных хлопцев, глядевших на свою пани. Уже совсем ослабела она и лениво топала ногами на одном месте, думая, что танцует горлицу. „А у меня монисто есть, парубки!“ сказала она наконец, остановившись: „а у вас нет!.. Где муж мой?“ вскричала она вдруг, выхватив из-за

пояса турецкий кинжал. „О! это не такой нож, какой нужно“. При этом и слезы и тоска показались у ней на лице. „У отца моего далеко сердце, он не достанет до него. У него сердце из железа выковано. Ему выковала одна ведьма на пекельном огне. Что ж нейдет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла...“ и не докончив, чудно засмеялася. „Мне пришла на ум забавная история: я вспомнила, как погребали моего мужа. Ведь его живого погребли... какой смех забирал меня... Слушайте, слушайте!“ и, вместо слов, начала она петь песню:

*Бижыть возок кровавенькій:
У тим возку козак лежить,
Пострѣляный, порубаный.
В правій ручци дротык держить,
С того дроту кривця бижыть;
Бижыть рика кровавая.
Над ричкою явор стоить.
Над явором ворон кряче.
За козаком маты плаче.
Не плачь, маты, не журыся!
Бо вже твій сын оженьвся.
Та взяв жинку паняночку,*

*В чистом поли земляночку,
И без дверець, без оконець.
Та вже писни вышов конець.
Танцювала рыба з раком...
А хто мене не полюбить трясця
его матерь!*

Так перемешивались у ней все песни. Уже день и два живет она в своей хате и не хочет слышать о Киеве, и не молится, и бежит от людей; и с утра до позднего вечера бродит по темным дубравам. Острые сучья царапают белое лицо и плеча; ветер треплет расплетенные косы; давние листья шумят под ногами ее — ни на что не глядит она. В час, когда вечерняя заря тухнет, еще не являются звезды, не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу: по деревьям царапаются и хватаются за сучья некрещенные дети, рыдают, хохочут, катятся клубом по дорогам и в широкой крапиве; из днепровских волн выбегают вереницами погубившие свои души девы; волосы льются с зеленой головы на плечи, вода, звучно журча, бежит с длинных волос на землю, и дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмеваются, ще-

ки пылают, очи выманивают душу... она стогрела бы от любви, она зацеловала бы... Беги! крещеный человек! уста ее — лед, постель — холодная вода; она защекочет тебя и утащит в реку. Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегаёт поздно с ножом своим и ищет отца.

С ранним утром приехал какой-то гость, статный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит всё, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он-де воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблею от крымцев... Катерина всё слушала и не спускала с него очей. „Она отойдет!“ думали хлопцы, глядя на нее. „Этот гость вылечит ее! она уже слушает, как разумная!“ Гость начал

рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: „Гляди, брат Копрян: когда волею божией не будет меня на свете, возьми к себе жену, и пусть будет она твоею женою...“ Страшно вонзила в него очи Катерина. „А!“ вскрикнула она: „это он! это отец!“ и кинулась на него с ножом. Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож. Наконец вырвал, замахнулся — и совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою. Изумившиеся козаки кинулись было на него; но колдун уже успел вскочить на коня и пропал из виду.

XIV.

За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская. „А то что такое?“ допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые

верхи. „То Карпатские горы!“ говорили старые люди: „меж ними есть такие, с которых век не сходит снег; а тучи пристают и ночуют там“. Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи. Тут, меж дивившимся со страхом народом, один вскочил на коня и, дико озираясь по сторонам, как будто ища очами, не гонится ли кто за ним, торопливо, во всю мочь, погнал коня своего. То был колдун. Чего же так перепугался он? Со страхом вглядевшись в чудного рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо, которое, незванное, показалось ему, когда он ворожил. Сам не мог он разуместь, отчего в нем всё смутилось при таком виде и, робко озираясь, мчался он на коне, покамест не застигнул его вечер и не проглянули звезды. Тут поворотил он домой, может быть, допросить нечистую силу, что значит такое диво. Уже он хотел перескочить с конем через узкую реку, выступившую рукавом среди дороги, как вдруг конь на всем скаку остановился, заворотил к нему морду, и, чудо,

засмеялся! белые зубы страшно блеснули двумя рядами во мраке. Дыбом поднялись волосы на голове колдуна. Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву. Ему чудилось, что всё со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом, и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев к святым местам.

XV.

Одинокó сидел в своей пещере перед лампадою схимник и не сводил очей с святой книги. Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и досчатый гроб, в который ложился спать вместо постели. Закрыв святой старец свою книгу и стал молиться... Вдруг вбежал человек чудного, страшного вида. Изумился святой схимник в первый раз, и отступил, увидев такого человека. Весь дрожал он, как осиновый лист; очи дико косились; страшный огонь пугливо сы-

пался из очей; дрожь наводило на душу уродливое его лицо.

„Отец, молись! молись!“ закричал он отчаянно: „молись о погибшей душе!“ и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул и в ужасе отступил назад и выронил книгу: „Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе!“

„Нет?“ закричал, как безумный, грешник.

„Гляди: святые буквы в книге налились кровью. Еще никогда в мире не бывало такого грешника!“

„Отец, ты смеешься надо мною!“

„Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!“

„Нет! нет, ты смеешься, не говори... я вижу, как раздвинулся рот твой: вот белеют рядами твои старые зубы!..“

И, как бешеный, кинулся он — и убил святого схимника.

Что-то тяжело застонало и стон перенесся через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие,

сухие руки с длинными ногтями; затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он. Всё чудится ему как-то смутно. В ушах шумит, в голове шумит, как будто от хмеля, и всё, что ни есть перед глазами, покрывается как бы паутиною. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам прямо в Крым, сам не зная для чего. Едет он уже день, другой, а Канева всё нет. Дорога та самая; пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к Киеву, и через день показался город; но не Киев, а Галич, город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, но чувствует снова, что едет в противную сторону и всё вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна; а если бы он заглянул и увидел, что там деялось то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу. То была не

злость, не страх, и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с людьми, со всем и затопить ее в Черном море. Но не от злобы хотелось ему это сделать; нет, сам он не знал от чего. Весь вздрогнул он, когда уже показались близко перед ним Карпатские горы и высокий Криван, накрывший свое темя, будто шапкою, серою тучею; а конь всё несся и уже рыскал по горам. Тучи разом очистились, и перед ним показался в страшном величии всадник. Он силится остановиться; крепко натягивает удила; дико ржал конь, подымая гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колдуну, что всё в нем замерло, что недвижимый всадник шевелится и разом открыл свои очи; увидел несшегося к нему колдуна и засмеялся. Как гром, рассыпался дикой смех по горам и зазвучал в сердце колдуна, потрясши всё, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влез в него и ходил внутри его и бил молотами по сердцу, по жилам... так страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил всадник страшною рукою колдуна и поднял его на воздух. Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи. Но уже был мертвец, и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева, и от земли Галичской, и от Карпата, как две капли воды схожих лицом на него.

Бледны, бледны, один другого выше, один другого костистей, стали они вокруг всадника, державшего в руке страшную добычу. Еще раз засмеялся рыцарь и кинул ее в пропасть. И все мертвецы вскочили в пропасть, подхватили мертвеца и вонзили в него свои зубы. Еще один всех выше, всех страшнее, хотел подняться из земли; но не мог, не в силах был этого сделать, так велик вырос он в земле; а если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат, и Седмиградскую и Турецкую землю, немного только подвинулся он, и пошло от того трясение по всей земле. И много попрокидывалось везде хат. И много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча мельниц шумит колесами на воде.

То, в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни один человек, страшась проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца. Нередко бывало по всему миру, что земля тряслась от одного конца до другого; то оттого делается, толкуют грамотные люди, что есть где-то, близ моря, гора, из которой выхватывается пламя и текут горячие реки. Но старики, которые живут и в Венгрии, и в Галичской земле, лучше знают это и говорят: что то хочет подняться выросший в земле великий, великий мертвец и трясет землю.

XVI.

В городе Глухове собрался народ около старца бандуриста, и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре. Еще таких чудных песен и так хорошо не пел ни один бандурист. Сперва повел он про прежнюю гетманщину за Сагайдачного и Хмельницкого. Тогда иное было время: козачество было в славе; топтало конями неприятелей, и никто не смел посмеяться над ним. Пел и веселые песни старец и повоживал своими очами на народ, как будто зрящий; а пальцы, с приделанными к ним костями, летали как муха по

струнам, и, казалось, струны сами играли; а кругом народ, старые люди, понутив головы, а молодые, подняв очи на старца, не смели и шептать между собою.

„Постойте“, сказал старец: „я вам запою про одно давнее дело“. Народ сдвинулся еще теснее и слепец запел:

„За пана Степана, князя Седмиградского, был князь Седмиградский королем и у ляхов, жило два козака: Иван да Петро. Жили они так, как брат с братом. „Гляди, Иван, всё, что ни добудешь — всё пополам. Когда кому веселье — веселье и другому; когда кому горе — горе и обоим; когда кому добыча — пополам добычу; когда кто в полон попадет — другой продай всё и дай выкуп, а не то, сам ступай в полон“. И правда, всё, что ни доставали козаки, всё делили пополам; угоняли ли чужой скот, или коней, всё делили пополам.

* * *

„Воевал король Степан с турчином. Уже три недели воюет он с турчином, а всё не может его выгнать. А у турчина был паша такой, что сам с десятью янычарами мог порубить целый полк. Вот объявил король Степан, что

если сыщется смельчак и приведет к нему того пашу живого или мертвого, даст ему одному столько жалованья, сколько дает на всё войско. „Пойдем, брат, ловить пашу!“ сказал брат Иван Петру. И поехали козаки, один в одну сторону, другой в другую.

* * *

„Поймал ли бы еще, или не поймал Петро, а уже Иван ведет пашу арканом за шею к самому королю. „Бравый молодец!“ сказал король Степан, и приказал выдать ему одному такое жалованье, какое получает всё войско; и приказал отвести ему земли там, где он задумает себе, и дать скота, сколько пожелает. Как получил Иван жалованье от короля, в тот же день разделил всё поровну между собою и Петром. Взял Петро половину королевского жалованья, но не мог вынести того, что Иван получил такую честь от короля, и затаил глубоко на душе месть.

* * *

„Ехали оба рыцаря на жалованную королем землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою на коня своего сына, привязав его к себе. Уже настали сумерки — они всё едут. Мла-

денец заснул, стал дремать и сам Иван. Не дремли, козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака такой конь, что сам везде знает дорогу, не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провал, в провале дна никто не видал; сколько от земли до неба, столько до дна того провала. По над самым провалом дорога — два человека еще могут проехать, а трое ни за что. Стал бережно ступать конь с дремавшим козаком. Рядом ехал Петро, весь дрожал и притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул названного брата в провал. И конь с козаком и младенцем полетел в провал.

* * *

„Ухватился, однако ж, козак за сук, и один только конь полетел на дно. Стал он карабкаться, с сыном за плечами, вверх; немного уже не добрался, поднял глаза и увидел, что Петро наставил пику, чтобы столкнуть его назад. „Боже ты мой, праведный, лучше б мне не подымать глаз, чем видеть, как родной брат наставляет пику столкнуть меня назад. Брат мой милый! коли меня пикой, когда уже мне так написано на роду, но возьми сына! чем безвинный младенец виноват, чтобы ему

пропасть такую лютою смертью?“ Засмеялся Петро и толкнул его пикой, и козак с младенцем полетел на дно. Забрал себе Петро всё добро и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро.

* * *

„Как умер Петро, призвал бог души обеих братьев, Петра и Ивана, на суд. „Великой есть грешник сей человек!“ сказал бог. „Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты сам ему казнь!“ Долго думал Иван, вымышляя казнь, и наконец сказал: „Великую обиду нанес мне сей человек: предал своего брата, как Иуда, и лишил меня честного моего рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю, и пропавшее даром в земле. Выходу нет — никто и не узнает, что кинуту было семя.

* * *

„Сделай же, боже, так, чтобы всё потомство его не имело на земле счастья! чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете! И от каждого его злодейства, чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя

в гробах, и терпя муку, неведомую на свете, подымались бы из могил! А Иуда Петро чтобы не в силах был подняться, и от того терпел бы муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, землю и корчился бы под землею!

* * *

„И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы, его деды и прадеды, где бы не жили при жизни, чтобы все потянулись от разных сторон земли грызть его, за те муки, что он наносил им, и вечно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А Иуда Петро чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть и себе, но грыз бы самого себя, а кости его росли бы чем дальше, больше, чтобы чрез то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самая страшная: ибо для человека нет большей муки, как хотеть отмстить, и не мочь отмстить.

* * *

„Страшна казнь, тобою выдуманная, чело-

вече!“ сказал бог. „Пусть будет всё так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покаместь ты будешь сидеть там на коне своем!“ И то всё так сбылось, как было сказано: и доныне стоит на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землею мертвец растёт, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясёт всю землю...“

Уже слепец кончил свою песню; уже снова стал перебирать струны; уже стал петь смешные присказки про Хому и Ерему, про Сткляра Стокозу... но старые и малые всё ещё не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном, в старину случившемся деле.

Иван Федорович Шпонька и его тетушка*

С этой историей случилась история: нам рассказывал ее приезжавший из Гадяча Степан Иванович Курочка. Нужно вам знать, что память у меня, невозможно сказать, что

за дрянью: хоть говори, хоть не говори, всё одно. То же самое, что в решето воду лей. Зная за собою такой грех, нарочно просил его списать ее в тетрадку. Ну, дай бог ему здоровья, человек он был всегда добрый для меня, взял и списал. Положил я ее в маленький столик; вы, думаю, его хорошо знаете: он стоит в углу, когда войдешь в дверь... Да, я и позабыл, что вы у меня никогда не были. Старуха моя, с которой живу уже лет тридцать вместе, грамоте сроду не училась; нечего и греха таить. Вот замечаю я, что она пирожки печет на какой-то бумаге. Пирожки она, любезные читатели, удивительно хорошо печет; лучших пирожков вы нигде не будете есть. Посмотрел как-то на сподку пирожка, смотрю: писанные слова. Как будто сердце у меня знало, прихожу к столику — тетрадки и половины нет! Остальные листки все растаскала на пироги. Что прикажешь делать? на старости лет не подрасться же! — Прошлый год случилось проезжать чрез Гадяч. Нарочно еще, не доезжая города, завязал узелок, чтобы не забыть попросить об этом Степана Ивановича. Этого мало: взял обещание с самого себя, как только

чихну в городе, то чтобы при этом вспомнить о нем. Всё напрасно. Проехал чрез город, и чихнул, и высморкался в платок, а всё позабыл; да уже вспомнил, как верст за шесть отъехал от заставы. Нечего делать, пришлось печатать без конца. Впрочем, если кто желает непременно знать, о чем говорится далее в этой повести, то ему стòит только нарочно приехать в Гадяч и попросить Степана Ивановича. Он с большим удовольствием расскажет ее, хоть, пожалуй, снова от начала до конца. Живет он недалеко возле каменной церкви. Тут есть сейчас маленькой переулок: как только поворачишь в переулок, то будут вторые или третьи ворота. Да, вот лучше: когда увидите на дворе большой шест с перепелом и выйдет навстречу вам толстая баба в зеленой юбке (он, не мешает сказать, ведет жизнь холостую), то это его двор. Впрочем, вы можете его встретить на базаре, где бывает он каждое утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом, или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбой-

ки и китайчатого желтого сюртука. Вот еще вам примета: когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель, Денис Петрович, всегда, бывало, увидевши его издали, говорил: „глядите, глядите, вон идет ветряная мельница!“

I.

Иван Федорович Шпонька

Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонька в отставке и живет в хуторе своем Вытребеньках. Когда был он еще Ванюшею, то обучался в гадячском поветовом училище и, надобно сказать, что был преблагонаправный и престарательный мальчик. Учитель российской грамматики, Никифор Тимофеевич Деепричастие, говаривал, что если бы все у него были так старательны, как Шпонька, то он не носил бы с собою в класс кленовой линейки, которою, как сам он признавался, уставал бить по рукам ленивцев и шалунов. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смиренно, сложив руки и уставив глаза на учителя, и никогда не привешивал сидевшему впереди его товарищу на спину бу-

мажек, не резал скамьи и не играл до прихода учителя в *тесной бабы*. Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик, и Иван Федорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонравие скоро привлекло на него внимание даже самого учителя латинского языка, которого один кашель в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводил страх на весь класс. Этот страшный учитель, у которого на кафедре всегда лежало два пучка розг и половина слушателей стояла на коленях, сделал Ивана Федоровича аудитором, несмотря на то, что в классе было много с гораздо лучшими способностями. Тут не можно пропустить одного случая, сделавшего влияние на всю его жизнь. Один из вверенных ему учеников, чтобы склонить своего аудитора написать

ему в списке *scit*, тогда как он своего урока в зуб не знал, принес в класс завернутый в бумагу, облитый маслом, блин. Иван Федорович, хотя и держался справедливости, но на эту пору был голоден и не мог противиться обольщению; взял блин, поставил перед собою книгу и начал есть. И так был занят этим, что даже не заметил, как в классе сделалась вдруг мертвая тишина. Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса. „Поддай сюда блин! Поддай, говорят тебе, негодяй!“ сказал грозный учитель, схватил пальцами масляный блин и выбросил его за окно, строго запретив бегавшим по двору школьникам поднимать его. После этого тут же высек он пребольно Ивана Федоровича по рукам. И дело: руки виноваты, зачем брали, а не другая часть тела. Как бы то ни было, только с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более. Может быть, это самое происшествие было причиною того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, видя на опыте, что не все-

гда удается хоронить концы. Было уже ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс, где, вместо сокращенного катихизиса и четырех правил арифметики, принялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дроби. Но, увидевши, что чем дальше в лес, тем больше дров, и получивши известие, что батюшка приказал долго жить, пробыл еще два года и, с согласия ма-тушки, вступил потом в П*** пехотный полк. П*** пехотный полк был совсем не такого сорта, к какому принадлежат многие пехотные полки; и, несмотря на то, что он большею частью стоял по деревням, однако ж был на такой ноге, что не уступал иным и кавалерийским. Большая часть офицеров пила выморозки и умела таскать жидов за пейсики не хуже гусаров; несколько человек даже танцевали мазурку, и полковник П*** полка никогда не упустил случая заметить об этом, разговаривая с кем-нибудь в обществе. „У меня-с“, говорил он обыкновенно, трепля себя по брюху после каждого слова: „многие пляшут-с мазурку; весьма многие-с; очень многие-с“. Чтоб еще более показать читателям образован-

ность П*** пехотного полка, мы прибавим, что двое из офицеров были страшные игроки в банк и проигрывали мундир, фуражку, шинель, темляк и даже исподнее платье, что не везде и между кавалеристами можно сыскать. Обхождение с такими товарищами, однако же, ничуть не уменьшило робости Ивана Федоровича. И так как он не пил выморозок, предпочитая им рюмку водки пред обедом и ужином, не танцевал мазурки и не играл в банк, то, натурально, должен был всегда оставаться один. Таким образом, когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной кроткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постеле. Зато не было никого исправнее Ивана Федоровича в полку. И взводом своим он так командовал, что ротный командир всегда ставил его в образец. Зато в скором времени, спустя одиннадцать лет после получения прапорщичьего чина, произведен он был в подпоручики. В продол-

жение этого времени он получил известие, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую он знал только потому, что она привозила ему в детстве и посылала даже в Гадяч сушеные груши и деланные ею самую превкусные пряники (с матушкой она была в ссоре, и потому Иван Федорович после не видал ее), — эта тетушка, по своему добродушию, взялась управлять небольшим его имением, о чем известила его в свое время письмом. Иван Федорович, будучи совершенно уверен в благоразумии тетушки, начал попрежнему исполнять свою службу. Иной на его месте, получивши такой чин, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвестна: и сделавшись подпоручиком, он был тот же самый Иван Федорович, каким был некогда и в прапорщичьем чине. Пробыв четыре года после этого замечательного для него события, он готовился выступить вместе с полком из Могилевской губернии в Великороссию, как получил письмо такого содержания:

*Любезный племянник, Иван Федорович!
Посылаю тебе белье: пять пар нитя-*

ных карпеток и четыре рубашки тонкого холста; да еще хочу поговорить с тобою о деле: так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно, и пришел в такие лета, что пора и хозяйством позаняться, то в воинской службе тебе не зачем более служить. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоём хозяйстве; да и действительно, многое притом имею тебе открыть лично. Приезжай, Ванюша; в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть, остаюсь многолюбящая твоя тетка

Василиса Цупчевська.

Чудная в огороде у нас выросла репа, больше похожа на картофель, чем на репу.

Через неделю после получения этого письма, Иван Федорович написал такой ответ:

Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпоровна!

Много благодарю вас за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже децник штопал их четыре раза и очень от того стали узкие. Насчет вашего мнения о моей

службе, я совершенно согласен с вами и третьего дня подал отставку. А как только получу увольнение, то найму извозчика. Прежней вашей комиссии, насчет семян пшеницы, сибирской арнаутки, не мог исполнить: во всей Могилевской губернии нет такой. Свиней же здесь кормят бõльшею частию брагой, подмешивая немного выигравшегося пива.

*С совершенным почтением, милостивая государыня тетушка, пребываю племянником
Иваном Шпонькою.*

Наконец Иван Федорович получил отставку с чином поручика, нанял за сорок рублей жида от Могилева до Гадяча и сел в кибитку в то самое время, когда деревья оделись молодыми, еще редкими листьями, вся земля ярко зазеленела свежую зеленью и по всему полю пахло весной.

II. Дорога

В дороге ничего не случилось слишком замечательного. Ехали с небольшим две недели. Может быть еще и этого скорее приехал

бы Иван Федорович, но набожный жид шабашовал по субботам, и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочем Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько, так ли вымыто, так ли сложено, снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова всё это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз. Так городской житель отправляется каждый день в клуб, не для того, чтобы услышать там что-нибудь новое, но чтобы встретить тех приятелей, с которыми он уже с незапамятных времен привык болтать в клубе. Так чиновник с большим наслаждением читает адрес-календарь по нескольку раз в день, не для каких-нибудь дипломатических затей, но его тешит до крайности печатная роспись имен. „А! Иван Гаврилович такой-то!“ повторяет он глухо

про себя. „А! вот и я! гм!..“ И на следующий раз снова перечитывает его с теми же восклицаниями.

После двухнедельной езды Иван Федорович достигнул деревушки, находившейся в ста верстах от Гадяча. Это было в пятницу. Солнце давно уже зашло, когда он въехал с кибиткою и с жидом на постоялый двор. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием потчевают путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная всё это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин, усевшись на лавке перед дубовым столом, неподвижно вкопанным в глиняный пол. В продолжение этого времени слышался стук брички. Ворота заскрипели; но бричка долго

не въезжала на двор. Громкий голос бранился со старухою, содержавшею трактир. „Я въеду“, услышал Иван Федорович: „но если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей богу, прибью, старая колдунья! и за сено ничего не дам!“ Минуту спустя дверь отворилась и вошел, или лучше сказать, влез толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, и с виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками, и которых вся жизнь катилась по маслу.

„Желаю здравствовать, милостивый государь!“ проговорил он, увидевши Ивана Федоровича.

Иван Федорович безмолвно поклонился.

„А позвольте спросить, с кем имею честь говорить?“ продолжал толстый приезжий.

При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его о чем полковник. „Отставной поручик Иван Федоров Шпонька“, отвечал он.

„А смею ли спросить, в какие места изволите ехать?“

„В собственный хутор-с, Вытребеньки“.

„Вытребеньки!“ воскликнул строгий допросчик. „Позвольте, милостивый государь, позвольте!“ говорил он, подступая к нему и размахивая руками, как будто бы кто-нибудь его не допускал, или он продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принял Ивана Федоровича в объятия и облобызал сначала в правую, потом в левую, и потом снова в правую щеку. Ивану Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки. „Позвольте, милостивый государь, познакомиться!“ продолжал толстяк. „Я помещик того же Гадячского повета и ваш сосед. Живу от хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верст, в селе Хортыще; а фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хортыще. Я теперь спешу по надобности... А что это?“ проговорил он кротким голосом вошедшему своему жокею, мальчику в

козацкой свитке, с заплатанными локтями, с недоумевающею миною ставившему на стол узлы и ящички. „Что это? что?“ и голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. „Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец? разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? Пошел!“ вскрикнул он, топнув ногою. „Постой, рожа! где погребец со штофиками? Иван Федорович!“ говорил он, наливая в рюмку настойки: „прошу покорно лекарственной!“

„Ей богу-с, не могу... я уже имел случай...“ проговорил Иван Федорович с запинкою.

„И слушать не хочу, милостивый государь!“ возвысил голос помещик: „и слушать не хочу! С места не сойду, покаместь не выкушаете...“

Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказать, не без удовольствия выпил.

„Это курица, милостивый государь“, продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезывая ее ножом в деревянном ящичке. „Надобно вам сказать, что повариха моя Явдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пере-

сушивает. Эй, хлопче!“ тут оборотился он к мальчику в козацкой свитке, принесшему перину и подушки: „постели постель мне на полу посередине хаты! Смотри же, сена повыше наклади под подушку! да выдерни у бабы из мычки клочек пеньки заткнуть мне уши на ночь! Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену! Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей“.

„Действительно, вы изволите говорить совершенную-с правду. Иная точно бывает...“ Тут он остановился, как бы не прибирая далее приличного слова. Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова.

Может быть, это происходило от робости, а, может, и от желания выразиться красивее.

„Хорошенько, хорошенько перетряси сено!“ говорил Григорий Григорьевич своему лакею. „Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь попадет сучок. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому вам нечего вставать рано. Не забудьте же моей просьбы: и знать вас не хочу, когда не приедете в село Хортыще“.

Тут камердинер Григория Григорьевича стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат, и Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую. „Эй, хлопче! куда же ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло! Эй, хлопче, подмости под голову сена! да что, коней уже напоили? Еще сена! сюда, под этот бок! да поправь, подлец, хорошенько одеяло! Вот так, еще! ох!..“ Тут Григорий Григорьевич еще вздохнул раза два и пустил страшный носовой свист по всей комнате, всхрапывая по

временам так, что дремавшая на лежанке старуха, пробудившись, вдруг смотрела в оба глаза на все стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иван Федорович, уже толстого помещика не было. Это было одно только замечательное происшествие, случившееся с ним на дороге. На третий день после этого приближался он к своему хуторку. Тут почувствовал он, что сердце в нем сильно забилося, когда выглянула, махая крыльями, ветряная мельница и когда, по мере того, как жид гнал своих кляч на гору, показывался внизу ряд верб. Живо и ярко блеснул сквозь них пруд и дышал свежестью. Здесь когда-то он купался. В этом самом пруде он когда-то с ребяташками брел по шею в воде за раками. Кибитка въехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом; те же самые яблони и черешни, по которым он когда-то украдкой лазил. Только что въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов: бурые, черные, серые, пегие. Некоторые с лаем кидались под ноги лоша-

дям; другие бежали сзади, заметив, что ось вымазана салом; один, стоя возле кухни и накрыв лапою кость, заливался во всё горло; другой лаял издали и бегал взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек! Мальчишки в запачканных рубашках бежали глядеть. Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество ряжен с пшеницею, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже не мало сушилось разного рода трав: петровых батогов, нечуй-витера и других. Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда пегая собака укусила слазившего с козел жида за икру. Сбежавшаяся дворня, состоявшая из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний: *та се ж паныч наш!* объявили, что тетушка садила в огороде пшеничку, вместе с девкою Палашкою и кучером Омельком, исправлявшим ча-

сто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали увидела рогожаную кибитку, была уже здесь. И Иван Федорович изумился, когда она почти подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли это тетушка, которая писала к нему о своей дряхлости и болезни.

III. Тетушка

Тетушка Василиса Кашпоровна в это время имела лет около пятидесяти. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило оттого, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей предложение. „Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна!“ говорили женихи и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно был ни к чему негоден, она, собственною своею мужественною рукою дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства,

умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темнокоричневый по будням капот с мелкими оборками и красную кашемировскую шаль в день Светлого Воскресенья и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова; стреляла дичь; стояла неотлучно над косарями; знала наперечет число дынь и арбузов на баштане; брала пошлину по пяти копеек с воза, проезжавшего через ее греблю; взлезала на дерево и трусила груши; была ленивых вассалов своею страшною рукою и подносила достойным рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бранилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила медовое варенье и хлопотала весь день и везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькое именье Ивана Федоровича, состоявшее из осмнадцати душ по послед-

ней ревизии, процветало в полном смысле сего слова. К тому ж она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку. По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управления осьмнадцати-душным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. „Воно ще молода дытына!“ обыкновенно она говаривала, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого сорок лет. „Где ему всё знать!“ Однако ж он неотлучно бывал в поле при жнецах и косарях, и это доставляло наслаждение неизъяснимое его кроткой душе. Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц, то веселые, как встреча гостей, то заунывные, как разлука; спокойный, чистый вечер, и что за вечер! как волен и свеж воздух! как тогда оживлено всё: степь краснеет, синееет и горит цветами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечи-

ки, тысячи насекомых, и от них свист, жужжание, треск, крик и вдруг стройный хор; и всё не молчит ни на минуту. А солнце садится и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то там, то там, раскладываются огни и ставят котлы, и вокруг котлов садятся усатые косари. Пар от галушек несется. Сумерки сереют... Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он забывал, присоединясь к косарям, отведать их галушек, которые очень любил, и стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку, или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле.

В непродолжительном времени об Иване Федоровиче везде пошли речи, как о великом хозяине. Тетушка не могла нарадоваться своим племянником и никогда не упускала случая им похвастаться. В один день, это было уже по окончании жатвы, и именно в конце июля, Василиса Кашпоровна, взявши Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает.

„Тебе, любезный Иван Федорович“, так она начала: „известно, что в твоём хуторе осьмнадцать душ, впрочем, это по ревизии, а без того, может, наберется больше, может, будет до двадцати четырех. Но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашею левадою, и, верно, знаешь за тем же лесом широкий луг: в нем двадцать без малого десятин; а травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на сто рублей, особенно, если, как говорят, в Гадяче будет конный полк“.

„Как же-с, тетушка, знаю: трава очень хорошая“.

„Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля, по-настоящему, твоя? Что ж ты так выпучил глаза? Слушай, Иван Федорович! Ты помнишь Степана Кузмича? Чтó я говорю: помнишь! Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж! Я помню, когда приехала на самое Пущенье, перед Филипповкою, и взяла было тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья; к счастью, что успела передать тебя мамке Матрене. Такой ты тогда был гадкой!.. Но не об этом дело. Вся

земля, которая за нашим хутором, и самое село Хортыще, было Степана Кузмича. Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке; правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой господи ее душу! — хотя покойница была всегда неправа против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница, твоя матушка, между нами будь сказано, была пречудного нрава. Сам чорт, господи прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она дела эту запись — один бог знает. Я думаю, просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельме досталось всё его имение. Я готова ставить, бог знает, что, если он не утаил записи“.

„Позвольте-с доложить, тетушка: не тот ли это Сторченко, с которым я познакомился на станции?“ Тут Иван Федорович рассказал про свою встречу.

„Кто его знает!“ отвечала, немного поду-

мав, тетушка. „Может быть, он и не негодяй. Правда, он всего только полгода как переехал к нам жить; в такое время человека не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорят, большая мастерица солить огурцы. Ковры собственные девки ее умеют отлично хорошо выделывать. Но так как ты говоришь, что он тебя хорошо принял, то поезжай к нему! Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке, только проклятая дитвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Омельке, чтобы прибил везде получше кожу“.

„Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь“.

Этим окончился разговор.

IV.

Обед

В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хортыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретною, как у многих окружных помещиков, но под деревян-

ною крышею. Два анбара в дворе тоже под деревянною крышею; ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его. Из почтения он остановил свой возок возле анбара и подошел пешком к крыльцу.

„А! Иван Федорович!“ закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако ж и этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. „Что ж вы говорили, что сейчас, как только увидите с тетушкой, приедете, да и не приехали?“ После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки.

„Большую частью занятия по хозяйству... Я-с приехал к вам на минутку, собственно по делу...“

„На минутку? Вот этого-то не будет. Эй, хлопче!“ закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик в козацкой свитке выбежал из кухни. „Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь, запер крепче! А коней

вот этого пана распрег бы сию минуту! Прошу в комнату; здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра“.

Иван Федорович, вошедши в комнату, решил не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно.

„Тетушка имела честь... сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузмича...“

Трудно изобразить, какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича. „Ей-богу, ничего не слышу!“ отвечал он. „Надобно вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах проклятые кацапы везде поразводили тараканов. Невозможно описать каким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет. Мне помогла уже одна старуха самым простым средством...“

„Я хотел сказать...“ осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое: „что в завещании покойного Степана Кузмича упоминается, так сказать, о дарственной записи... по ней следует-с мне...“

„Я знаю, это вам тетушка успела наговорить. Это ложь, ей богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании и упоминается о какой-то записи; но где же она? Никто не представил ее. Я вам это говорю потому, что искренно желаю вам добра. Ей богу, это ложь!“

Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось.

„А вот идет сюда матушка с сестрами!“ сказал Григорий Григорьевич: „следовательно обед готов. Пойдемте!“ При сем он потащил Ивана Федоровича за руку в комнату, в которой стояли на столе водка и закуски.

В то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями — белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень.

„Это, матушка, наш сосед, Иван Федорович Шпонька!“ сказал Григорий Григорьевич.

Старушка смотрела пристально на Ивана Федоровича, или, может быть, только каза-

лась смотревшею. Впрочем, это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить Ивана Федоровича: сколько вы на зиму насоливаете огурцов?

„Вы водку пили?“ спросила старушка.

„Вы, матушка, верно, не выпались“, сказал Григорий Григорьевич: „кто ж спрашивает гостя, пил ли он? Вы потчевайте только, а пили ли мы, или нет, это наше дело. Иван Федорович! прошу золототысячниковой, или трохимовской сивушки, какой вы лучше любите? Иван Иванович, а ты что стоишь?“ произнес Григорий Григорьевич, оборотившись назад, и Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича, в долгополом сюртуке, с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике, как будто в бричке. Иван Иванович подошел к водке, потер руки, рассмотрел хорошенько рюмку, налил, поднес к свету; вылил разом из рюмки всю водку в рот, но, не проглатывая, пополоскал ею хорошенько во рту, после чего уже проглотил. И, закусивши хлебом с солеными опеньками, оборотился к Ивану Федоровичу.

„Не с Иваном ли Федоровичем, господином Шпонькою, имею честь говорить?“

„Так точно-с“, отвечал Иван Федорович.

„Очень много изволили перемениться с того времени, как я вас знаю. Как же“, продолжал Иван Иванович: „я еще помню вас вот какими!“ При этом поднял он ладонь на аршин от пола. „Покойный батюшка ваш, дай боже ему царствие небесное, редкий был человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него такие, каких теперь нигде не найдете. Вот хоть бы и тут“, продолжал он, отводя его в сторону: „подадут вам за столом дыни. Что это за дыни? — Смотреть не хочется! Верите ли, милостивый государь, что у него были арбузы“, произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотел обхватить толстое дерево: „ей богу, вот какие!“

„Пойдемте за стол!“ сказал Григорий Григорьевич, взявши Ивана Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте, в конце стола, завесившись огромною салфеткою и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван

Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень; а Иван Иванович не преминул поместиться возле него, радуясь душевно, что будет кому сообщать свои познания.

„Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович! Это индейка!“ сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черною заплатою. „Возьмите спинку!“

„Матушка! ведь вас никто не просит мешаться!“ произнес Григорий Григорьевич. „Будьте уверены, что гость сам знает что ему взять! Иван Федорович, возьмите крылышко, вон другое, с пупком! Да что ж вы так мало взяли? Возьмите стегнушко! Ты что разинул рот с блюдом? Проси! Становись, подлец, на колени! Говори сейчас: Иван Федорович, возьмите стегнушко!“

„Иван Федорович, возьмите стегнушко!“ проревел, став на колени, официант с блюдом.

„Гм, что это за индейки!“ сказал вполголоса Иван Иванович с видом пренебрежения,

оборотившись к своему соседу. „Такие ли должны быть индейки! Если бы вы увидели у меня индеек! Я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня по двору, так жирны!..“

„Иван Иванович, ты лжешь!“ произнес Григорий Григорьевич, вслушавшись в его речь.

„Я вам скажу“, продолжал всё так же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григорья Григорьевича: „что прошлый год, когда я отправлял их в Гадяч, давали по пятидесяти копеек за штуку. И то еще не хотел брать“.

„Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь!“ произнес Григорий Григорьевич, для лучшей ясности, по складам, и громче прежнего.

Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише: „именно, государь мой, не хотел брать. В Гадяче ни у одного помещика...“

„Иван Иванович! ведь ты глуп, и больше ничего“, громко сказал Григорий Григорьевич. „Ведь Иван Федорович знает всё это лучше тебя и, верно, не поверит тебе“.

Тут Иван Иванович совершенно обиделся, замолчал и принялся убирать индейку, несмотря на то, что она не так была жирна, как те, на которые противно смотреть.

Стук ножей, ложек и тарелок заменил на время разговор; но громче всего слышалось высмактывание Григорием Григорьевичем мозгу из бараньей кости.

„Читали ли вы“, спросил Иван Иванович, после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Федоровичу: „книгу: Путешествие Коробейникова ко святым местам? Истинное услаждение души и сердца! Теперь таких книг не печатают. Очень сожалательно, что не посмотрел которого году“.

Иван Федорович, услышавши, что дело идет о книге, прилежно начал набирать себе соусу.

„Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошел

все места эти. Более трех тысяч верст, государь мой! Более трех тысяч верст! Подлинно, его сам господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме“.

„Так вы говорите, что он“, сказал Иван Федорович, который много наслышался о Иерусалиме еще от своего денщика: „был и в Иерусалиме!..“

„О чем вы говорите, Иван Федорович?“ произнес с конца стола Григорий Григорьевич.

„Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далекие страны!“ сказал Иван Федорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу.

„Не верьте ему, Иван Федорович!“ сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько: „всё врет!“

Между тем обед кончился. Григорий Григорьевич отправился в свою комнату, по обыкновению, немножко всхрапнуть; а гости пошли вслед за старушкою хозяйкою и барышнями в гостиную, где тот самый стол, на котором оставили они, выходя обедать, водку,

как бы превращением каким, покрылся блю-
дечками с вареньем разных сортов и блюда-
ми с арбузами, вишнями и дынями. Отсут-
ствие Григория Григорьевича заметно было
во всем. Хозяйка сделалась словоохотнее и от-
крывала сама, без просьбы, множество секре-
тов насчет делания пастилы и сушения груш.
Даже барышни стали говорить; но белокурая,
которая казалась моложе шестью годами сво-
ей сестры и которой по виду было около два-
дцати пяти лет, была молчаливее. Но более
всех говорил и действовал Иван Иванович.
Будучи уверен, что его теперь никто не собьет
и не смешает, он говорил и об огурцах, и о по-
севе картофеля, и о том, какие в старину бы-
ли разумные люди, — куда против тепереш-
них, — и о том, как всё, чем далее, умнеет и
доходит к выдумыванию мудрейших вещей.
Словом, это был один из числа тех людей, ко-
торые с величайшим удовольствием любят
позаняться услаждающим душу разговором,
и будут говорить обо всем, о чем только мож-
но говорить. Если разговор касался важных и
благочестивых предметов, то Иван Иванович
вздыхал после каждого слова, кивая слегка го-

ловую; ежели до хозяйственных, то высывал голову из своей брички и делал такие мины, глядя на которые, кажется, можно было прочесть, как нужно делать грушевый квас, как велики те дыни, о которых он говорил, и как жирны те гуси, которые бегают у него по двору. Наконец, с великим трудом, уже ввечеру, удалось Ивану Федоровичу распрощаться. И, несмотря на свою стоворчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял таки в своем намерении ехать, и уехал.

V.

Новый замысел тетушки

„Ну, что? выманил у старого лиходея записку?“ Таким вопросом встретила Ивана Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела наконец, чтоб не выбежать за ворота.

„Нет, тетушка!“ сказал Иван Федорович, слезая с повозки. „У Григория Григорьевича нет никакой записки“.

„И ты поверил ему! Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его соб-

ственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком, нельзя ли судом с него требовать... Но не об этом теперь дело. Ну, что ж, обед был хороший?”

„Очень... да, весьма, тетушка“.

„Ну, какие ж были кушанья, расскажи? Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней“.

„Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями, начиненными...“

„А индейка со сливами была?“ спросила тетушка, потому что сама была большая искусница готовить это блюдо.

„Была и индейка!.. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!“

„А!“ сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. „Ну, что ж?“ спросила она с любопытством и живо: „какие у ней брови?“ Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях.

„Брови, тетушка, совершенно-с такие, какие, вы рассказывали, в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки“.

„А!“ сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. „Какое ж было на ней платье? хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну, что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею?“

„То есть, как?.. я-с, тетушка? Вы, может быть, уже думаете...“

„А что ж? что тут диковинного? так богу угодно! Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою“.

„Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня...“

„Ну, вот уже и обиделся!“ сказала тетушка. „Ще молода дытына!“ подумала она про себя: „ничего не знает! нужно их свести вместе, пусть познакомятся!“ Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Ивана Федоровича. Но с этого времени она только и думала о

том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе, и заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде, хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто, делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленькой внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чваканьем выводила ее из задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо, когда, вместо куропатки, застрелила ворону, чего никогда прежде с нею не бывало.

Наконец, спустя дня четыре после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Омелько, он же и огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю

предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам; и потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это суцая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпоровна была очень довольна ее архитектурою, и всегда изъявляла сожаление, что вывелись из моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на-бок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться штук пять малорослых и трое таких, как тетушка. Около полудня Омелько, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один

с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж (тетушка очень редко выезжала в нем), почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через два кибитка остановилась пред крыльцом, — думаю, не нужно говорить: пред крыльцом дома Сторченка. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большою ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко:

„Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня! я видела ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины?“

После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка хозяйка начала:

„Насчет гречихи я не могу вам сказать: это часть Григория Григорьевича. Я уже давно не занимаюсь этим; да и не могу: уже стара! В старину у нас, бывало, я помню, гречиха была по пояс; теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь всё лучше“. Тут старушка вздохнула. И какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного осемнадцатого столетия.

„Я слышала, моя государыня, что у вас собственные ваши девки отличные умеют выделывать ковры“, сказала Василиса Кашпоровна и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у ней полились о том, как должно красить пряжу, как приготавливать для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса Кашпоровна многое уже начала говорить с нею таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать.

„Да не угодно ли посмотреть?“ сказала,

вставая, старушка хозяйка. За нею встали барышни и Василиса Кашпоровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако ж, дала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке.

„Машенька!“ сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне: „останься с гостем, да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно!“

Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены, или следуя глазами за кошкою, трусливо пробежавшею под стульями.

Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор; но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум.

Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня всё так же сидела.

Наконец Иван Федорович собрался с духом: „Летом очень много мух, сударыня!“ про-

изнес он полудрожащим голосом.

„Чрезвычайно много!“ отвечала барышня. „Братец нарочно сделал хлопущку из старого маменькиного башмака; но всё еще очень много“.

Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи.

Наконец хозяйка с тетушкою и чернявою барышнею возвратилась. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпоровна распростилась с старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брочки тетушке и племяннику.

„Ну, Иван Федорович! о чем же вы говорили вдвоем с барышнею?“ спросила дорогою тетушка.

„Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна!“ сказал Иван Федорович.

„Слушай, Иван Федорович! я хочу поговорить с тобою сурьёзно. Ведь тебе, славу богу, тридцать осьмой год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и об детях! Тебе непре-

менно нужна жена...“

„Как, тетушка!“ вскричал испугавшись Иван Федорович. „Как, жена! Нет-с, тетушка, сделайте милость... Вы совершенно в стыд меня приводите... я еще никогда не был женат... Я совершенно не знаю, что с нею делать!“

„Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь“, промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя: *куды ж! ще зовсим молода дытына*, ничего не знает! „Да, Иван Федорович!“ продолжала она вслух: „лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухою: она очень рада видеть тебя своим зятем; еще неизвестно правда, что скажет этот греходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него, и пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом...“ В это время бричка подъехала к двору и древние клячи ожили, чуя близкое стойло. „Слушай, Омелько! коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас распрегши к водопою! они лошади горячие“. — „Ну, Иван Федорович“, продолжала, вылезая, тетушка: „я советую тебе хорошень-

ко подумать об этом. Мне еще нужно забежать в кухню, я позабыла Солохе заказать ужин, а она, негодная, я думаю, сама и не подумала об этом“.

Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того, чем более углублялся он в размышление.

Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил его; но какой сон! еще несвязнее сновидений он никогда не видел. То снилось ему, что вокруг него всё шумит, вертится. А он бежит, бежит, не чувствует под собою ног... вот уже выбивается из сил... Вдруг кто-то хватает его за ухо. „Ай! кто это?“ — „Это я, твоя жена!“ с шумом говорил ему какой-то голос. И он вдруг пробуждался. То представлялось ему, что он уже женат, что

всё в домике их так чудно, так странно: в его комнате стоит, вместо одинокой, двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно; он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею; и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону — стоит третья жена. Назад — еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком — и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу — и там сидит жена... То вдруг он прыгал на одной ноге; а тетушка, глядя на него, говорила с важным видом: „Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек“. Он к ней — но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню. „Кто это тащит меня?“ жалобно проговорил Иван Федорович. „Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол“. — „Нет, я не колокол, я Иван Федорович!“ кричал он. „Да, ты колокол“, говорил, проходя ми-

мо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лавку к купцу. „Какой прикажете материи?“ говорит купец. „Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки“. Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет к жиду, портному. „Нет“, говорит жид: „это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука...“ В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился с него градом.

Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.

Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысл, о котором узнаете в следующей главе.

Заколдованное место*
Быль, рассказанная дьячком *ской**

ЦЕРКВИ

Ей богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж, не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей богу, обморочит! Вот извольте видеть: нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню как теперь, когда раз побежал было на четверенках и стал лаять по-собачьи, батяко закричал на меня, покачав головою: „Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!“ Дед был еще тогда жив и на ноги, — пусть ему легко икнется на том свете, — довольно крепок. Бывало, вздумает... Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой за чем-то побежал за комору. Что, в самом деле!..

Добро бы по неволе, а то ведь сами же напросились. Слушать, так слушать! Батяко еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехлетнего брата приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было, нельзя сказать, чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цыбули, гороху, что в животе, ей богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкуются по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, на-несут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это всё равно, что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми (деда всякой уже знал), можете посу-

дить сами, что бывает, когда соберется старье. Тара, тара, тогда-то, да тогда-то, такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомнят, бог знает, когдашнее. Раз, — ну вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми прикрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце. „Смотри, Остап!“ говорю я брату: „вон чумаки едут!“ — „Где чумаки?“ сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось, точно, возов шесть. Впереди шел чумака уже с сизыми усами. Не дошедши шагов — как бы вам сказать — на десять, он остановился. „Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!“ Дед прищурил глаза: „А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га, га! го, го!..“ и пошли целоваться! Волы распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за рос-

сказнями, да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали не мало, знали уже, как едят в свете; пожалуй и за панской стол, хоть сейчас, готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. „Что ж вы, хлопцы“, сказал дед: „рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачка! Фома, берись в боки! ну! вот так! Гей, гоп!“ Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов, ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает. „Смотри, Фома“, сказал Остап: „если старый хрен не пойдет танцевать!“ Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось знаете, прихвастнуть пред чумаками. „Вишь, чортовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют!“ сказал он, поднявшись

на ноги, протянув руки и ударив каблуками. Ну, нечего сказать, танцовать-то он танцевал так, хоть бы и с гетманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел однако ж до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, — не поднимаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай: не берет, да и не берет! ноги, как деревянные, стали. „Вишь, дьявольское место! вишь, сатанинское навождение! впутается же Ирод, враг рода человеческого!“ Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно! „А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!..“ И в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам — гладкое поле. „Э! ссс... вот тебе на!“ Начал прищуривать гла-

за — место, кажись, не совсем незнакомое: с боку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь-далеко в небе. Что за пропасть: да это голубятня, что у попа в огороде! С другой стороны тоже что-то сереет; взгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила? Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. „Быть завтра большому ветру!“ подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. „Вишь!“ Стал дед и руками подперся в боки, и глядит: свечка потухла; вдали и немного подалее загорелась другая. „Клад!“ закричал дед. „Я ставлю бог знает что, если не клад!“ и уже поплевал было в руки, чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. „Эх, жаль! ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить по крайней мере место, чтобы не позабыть после!“ Вот, перетянувши сломленную, видно, вихрем порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой

дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. „Ну, так! не говорил ли я“, подумал дед: „что это попова левада? Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана“. Поздненько однако ж пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать: „а куда тебя, дед, черти дели сегодня?“ — „Не спрашивай“, сказал он, завертываясь еще крепче: „не спрашивай, Остап; не то — посеешь!“ и захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось? Нечего сказать, хитрая была bestия, — дай боже ему царствие небесное! — умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял под мышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою, и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, и низенький дубовый лес. Промеж деревьев въезся дорожка и выходит в

поле. Кажись, та самая. Вышел и на поле — место точь в точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. „Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!“ Поворотил назад, стал идти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало. „А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!“ А дождь пустился, как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обвернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панской иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, каких я еще от роду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня. На другой день проснулся, смотрю: уже дед ходит по баштану, как ни в чем не бывало, и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал

пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал нам, забавляться, дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то изда- лека достались. Ввечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, что- бы не проворчать сквозь зубы: „проклятое ме- сто!“ взошел на середину, где не вытанцыва- лось позавчера и ударил в сердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. „Ну, хорошо, что догадался взять с со- бою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться“. Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился пе- ред могилкою. Свечка погасла; на могиле ле- жал камень, заросший травой. „Этот камень

нужно поднять!“ подумал дед и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый камень! вот, однако ж, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. „Гу!“ пошло по долине. „Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело“. Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его „чихи!“ чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало всё лицо. „Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть!“ проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. „Нет, не любит, видно, чорт табаку!“ продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. „Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!“ Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. „А, голубчик, вот где ты!“ вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. „А, голубчик, вот где ты!“ запищал птичий нос, клюнувши котел. Посторонился дед и выпустил заступ. „А, голубчик, вот где ты!“ заблеяла баранья голова с верхушки дерева. „А, голубчик, вот где

ты!“ заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. „Да тут страшно слово сказать!“ проворчал он про себя. „Тут страшно слово сказать!“ пискнул птичий нос. „Страшно слово сказать!“ заблеяла баранья голова. „Слово сказать!“ ревнул медведь. „Гм...“ сказал дед, и сам перепугался. „Гм!“ пропищал нос. „Гм!“ проблеял баран. „Гум!“ заревел медведь. Со страхом оборотился он: боже ты мой, какая ночь! ни звезд, ни месяца; вокруг провалы; под ногами круча без дна; над головою свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него! и чудится деду, что из-за нее мигает какая-то хляля: у! у! нос — как мех в кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в каждую! губы, ей богу, как две колоды! красные очи выкатились наверх, и еще и язык высунула, и дразнит! „Чорт с тобою!“ сказал дед, бросив котел. „На тебе и клад твой! Экая мерзостная рожа!“ и уже ударился было бежать, да огляделся и стал, увидевши, что всё было попрежнему. „Это только пугает нечистая сила!“ Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что делать? Тут же не оставить! Вот, собравши все силы, ухва-

тился он за него руками: „ну, разом, разом! еще, еще!“ и вытащил! „Ух! Теперь понюхать табаку!“ Достал рожок; прежде однако ж, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого: кажись, что нет; но вот чудится ему, что пень дерева пыхтит и дуется, доказываются уши, наливаются красные глаза, ноздри раздулись, нос поморщился, и вот, так и собирается чихнуть. „Нет, не понюхаю табаку!“ подумал дед, спрятавши рожок: „опять заплюет сатана очи!“ Схватил скорее котел и давай бежать, сколько доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам... „Ай! ай, ай!“ покрикивал только дед, ударив во всю мочь; и как добежал до попова огорода, тогда только перевел немного дух.

„Куда это зашел дед?“ думали мы, дожидаясь часа три. Уже с хутора давно пришла мать и принесла горшок горячих галушек. Нет, да и нет деда! Стали опять вечерять сами. После вечера вымыла мать горшок и искала глазами, куда бы вылить помои, потому что вокруг всё были гряды, как видит, идет прямо к ней навстречу кухва. На небе было таки темнень-

ко. Верно, кто-нибудь из хлопцев, шалая, спря-тался сзади и подталкивает ее. „Вот кстати, сюда вылить помои!“ сказала и вылила горячие помои. „Ай!“ закричало басом. Глядь — дед. Ну, кто его знает! Ей богу, думали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окунута в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. „Вишь, чортова баба!“ сказал дед, утирая голову полою: „как опарила! Как будто свинью перед Рождеством! Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, что я вам принес!“ сказал дед и открыл котел. Что ж бы, вы думали, такое там было? Ну, по малой мере, подумавши хорошенько, а? золото? вот то-то, что не золото: сор, дрязг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл.

И с той поры заклял дед и нас верить когда-либо чорту. „И не думайте!“ говорил он часто нам: „всё, что ни скажет враг господа Христа, всё солжет, собачий сын! У него правды и на копейку нет!“ И, бывало, чуть только

услышит старик, что в ином месте не спокойно: „а ну-те, ребята, давайте крестить!“ закричит к нам: „так его! так его! хорошенько!“ и начнет класть кресты. А то проклятое место, где не вытанцовалось, загородил плетнем, велел кидать всё, что ни есть непотребного, весь бурьян и сор, который выгребал из баштана. Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали ее у батька под баштан соседние козаки. Земля славная! и урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго. Засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец... чорт знает, что такое!

Приложение

Опечатки

Не погневайтесь, господа, что в книжке этой больше ошибок, чем на голове моей седых волос. Что делать? Не доводилось никогда еще возиться с печатною грамотою. Чтоб тому тяжело икнулось, кто и выдумал ее! Смотришь, совсем как будто *Иже*; а приглядишься, или *Наш* или *Покой*. В глазах рябит так, как будто бы кто стал пересыпать перед тобою отруби.

Вот сколько насчитал я ошибок! Те слова, что выставлены тут в левом столбце, если встретятся где, то прошу недосматривать, так, как бы их там и не было, а читать как они написаны в столбце с правой стороны.

Стран. Строк. Напечатано: Читай:

3 10 восемь соть восемь сот

72 17 подбочинившись подбоченившись

79 5 упросишь упросишь

92 9 всего на всего всего на все

113 9 ералаш поднялся, ералашь поднялась,

137 12 тепло́го океана тепло́го
148 14 Голова Голова,
156 15 слы́хал слы́шал
158 3 прито́пывая на них прито́пывая
— 6 попристава́ли прильну́ли
175 14 прове́дешъ прове́дешъ
— 19 параход пароход
185 17 с ве́рху ве́рху
186 1 съе́сть съе́чь
187 7 бог знае́т бог один знае́т
226 19 молв молвь.

Во многих местах, вместо утопленица, напечатано утопленница.

<Я давно уже ничего не рассказывал вам...>

Я давно уже ничего не рассказывал вам. Признаться сказать, оно очень приятно, если кто станет что-нибудь рассказывать; если же выберется человек небольшого роста, с сиповатым баском, да и говорит ни слишком громко, ни слишком тихо,[27] а так совершенно, как кот мурчит над ухом, то это такое наслаждение, что ни пером не описать, ни другим чем-нибудь не сделать. Это мне

лучше нравится, нежели проливной дождик, когда сидишь в сенях на полу перед дверью на улице, поджавши под себя ноги, а он, голубчик,[28] треплет <1 нрзб.> во весь дух солому на крыше, и деревенские бабы бегут босыми ногами, мило покрывшись своей рубахою по голову и схвативши под руку ч<еревики>. Вы никогда не слышали про моего деда? Что это был за человек! с какими достоинствами! Я вам скажу, что таких людей я теперь нигде не отыскиваю...

<Предисловие к „Сочинениям Николая Гоголя“, т. I, СПб., 1842.>

Предпринимая издание сочинений моих, выходявших доселе отдельно и разбросанных частию в повременных изданиях, я пересмотрел их вновь: много незрелого, много необдуманного, много детски-несовершенного! Чтò было можно исправить, тò исправлено, чего нельзя, тò осталось неисправленным, так как было. Всю первую часть следовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученические опыты, недостойные строгого внимания читателя; но при них чувствовались пер-

вые сладкие минуты молодого вдохновения, и мне стало жалко исключить их, как жалко исторгнуть из памяти первые игры невозвратной юности. Снисходительный читатель может пропустить весь первый том и начать чтение со второго.

Комментарии

Ганц Кюхельgarten

I.

Источники текста

ГК — „Ганц Кюхельgarten. Идиллия в картинах. Соч. В. Алова. (Писано в 1827)“ СПб., 1829.

В настоящем издании поэма печатается по единственному тексту отдельного издания 1829 г. с исправлением явных опечаток.

II.

Принадлежность Гоголю идиллии „Ганц Кюхельgarten“, не переиздававшейся при жизни писателя, была впервые установлена в печати П. А. Кулишом в анонимной заметке 1852 года „Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя“. Опираясь на свидетельства Н. Я. Прокоповича, друга и соученика Гоголя по нежинской Гимназии высших наук, Кулиш сообщал, что „никто из его <Гоголя> покровителей не знал о стихотворном сочинении, которым он начал свое печатное поприще“, и что „до сих пор оно было известно только одному человеку, если не считать неграмотного

Гоголева слуги, малороссиянина Якима — это «Ганц Кюхельгартен, идиллия в картинах», написанная, как сказано на заглавном листе, в 1827 г. Гоголь издал ее вскоре по приезде в столицу под псевдонимом В. Алова и роздал экземпляры книгопродавцам на комиссию“ („Отечественные Записки“ 1852, № 4, отд. VIII, стр. 199). По этому указанию Н. П. Трушковский поместил „Ганца Кюхельгартена“ в т. VI „Сочинений Н. В. Гоголя“ (М., 1856, стр. 309–369), но документальное подтверждение сообщение П. А. Кулиша получило только значительно позднее, когда в 1909 г. в „Русском Архиве“ (№ 4, стр. 635) было опубликовано недатированное письмо Гоголя к цензору К. С. Сербиновичу с просьбой об ускорении выдачи разрешения на издание „Ганца Кюхельгартена“.

Авторская датировка идиллии вызывала сомнения уже у друзей писателя и его первого биографа. П. А. Кулиш, повторив в статье „Выправка некоторых биографических известий о Гоголе“ указание на 1827 г., как дату создания „Ганца Кюхельгартена“, сопровождал в „Опыте биографии Н. В. Гоголя“ и „Записках о

жизни Н. В. Гоголя“ свои сообщения осторожным примечанием, излагавшим колебания Н. Я. Прокоповича. Последний склонялся к мысли, что „Ганц Кюхельgarten“ написан в 1829 г. и помечен (на титульном листе) ложной датой: „Если бы Гоголь написал свою поэму в Гимназии... то хоть отрывок из нее был бы известен кому-нибудь из тогдашней его публики. Нет, эта поэма была написана именно в то время, когда он проживал без дела в Петербурге“.

Мысль о том, что Гоголь, располагая читателей и критику к снисхождению, прибег к мистифицированной дате, вполне допустима, тем более, что явной мистификацией было предисловие к книжке, написанное от имени неведомых издателей (идиллия была издана самим Гоголем). Однако, Н. С. Тихонравов и В. И. Шенрок настаивали на авторской датировке. Сомнения Прокоповича отводились ими ссылкой на чрезвычайную скрытность Гоголя, особенно в последние годы пребывания в Гимназии, а возможность отнесения идиллии к 1827 г. аргументировалась совпадениями мыслей и настроений Ганца с собственными

высказываниями Гоголя в письмах этого периода (Соч., 10 изд., V, стр. 544; Шенрок, „Материалы“, I, стр. 159–161). И. В. Шаровольский, уделивший в специальной статье о „Ганце Кюхельгартене“ много внимания вопросу датировки, соглашался с Прокоповичем в утверждении, что Гоголь в гимназические годы не мог бы скрыть идиллии от товарищей. Трактуя, подобно Тихонравову и Шенроку, образ Ганца в биографическом плане, Шаровольский приводит параллели к тексту идиллии из позднейших писем Гоголя, в частности начала 1829 г. В конечном выводе исследователь заключал, что картины I–XVI были написаны во второй половине 1828 г., когда Гоголь, по окончании Гимназии, жил в Васильевке, а картины XVII–XVIII, в которых автор „заставляет своего героя отказаться от идеальных стремлений“, уже в Петербурге, под влиянием его собственных житейских неудач. К еще более схематичным выводам пришел, основываясь на столь же шатких психологических соображениях, Стендер-Петерсен. Этот исследователь различает в „Ганце Кюхельгартене“ собственно идиллические

и романтические части. Создание первых (картины I, VI, VII и конец XVIII) он относит к концу лета 1827 г., когда автором якобы всецело владели идиллические настроения, а окончание работы — к лету 1828 г., — к этому времени Стендер-Петерсен относит знакомство и увлечение Гоголя немецкими романтиками. Построение Стендер-Петерсена подверглось разрушительной и вполне основательной критике В. Адамса.

Опыт всех этих изучений обнаружил недостаточность биографического анализа для выяснения вопроса о времени создания „Ганца Кюхельгартена“. Сопоставления с эпистолярными материалами убеждают, что датировка идиллии 1827 годом вполне допустима, хотя, базируясь на них, ее можно с равным основанием отнести и к 1828 и к началу 1829 года. Следовательно, возможность авторской мистификации в дате ими отнюдь не исключается.

Не внесло ясности в вопрос о датировке и обследование источников идиллии. Уже Кулиш (в „Опыте биографии Н. В. Гоголя“) отметил, что образчиком для „Ганца Кюхельгар-

тена“ послужила идиллия Фосса „Луиза“ (1783–1784), которую Гоголь мог читать в переводе П. Теряева: „Луиза, сельское стихотворение в 3 идиллиях. Соч. Ивана Фосса“. СПб., 1820. В позднейшей литературе, продолжившей наблюдения Кулиша, было установлено, чем именно воспользовался молодой автор в идиллии Фосса (образ старого пастора, сентиментальная обрисовка сельского бюргерского быта). Однако, в „Ганце Кюхельгартене“ гораздо сильнее проступают элементы романтической поэмы, чем сентиментальной идиллии, и подражание Фоссу сочетается в ней с несомненным воздействием Байрона, Шатобриана и Жуковского („Теон и Эсхин“, баллады). Наконец, с особенной силой проявилось в „Ганце Кюхельгартене“ пушкинское влияние, влияние всей поэтической системы Пушкина в целом. Что касается до отдельных сопоставлений, то они ведут преимущественно к „Евгению Онегину“, к главе 5 и 6 романа. Сопоставлялись сон Луизы (в картине X) со сном Татьяны, описание могилы пастора (в картине XVI) с описанием могилы Ленского. Указывалось на большую близость эпилога поэмы к

„Посвящению“ к „Полтаве“. Пятая глава „Евгения Онегина“ появилась в печати 1 февраля 1828 г., шестая — в марте 1828, „Полтава“ — в марте 1829. Однако и эти сопоставления, если признать их основательность, не решают вопроса о датировке „Ганца Кюхельгартена“. Единственное заключение, которое из них можно сделать, сводится к тому, что Гоголь перед сдачей идиллии в печать пересматривал и дорабатывал ее текст.

Книжка „Ганц Кюхельгартен“, помеченная цензурным разрешением от 7 мая 1829 г., вышла в свет в июне того же года (см. в „Московских Ведомостях“ от 27 июня объявление о продаже у Ширяева книжки В. Алова, „полученной на сих днях из Петербурга“). В обращении она оставалась до конца июля. Под влиянием отрицательных отзывов Н. Полевого в „Московском Телеграфе“ и анонимной рецензии в № 87 „Северной Пчелы“ от 20 июля, Гоголь, по свидетельству Кулиша, „тотчас же в сопровождении верного своего слуги Якима отправился по книжным магазинам, собрал экземпляры, нашел в гостинице номер и сжег все до одного“ („Отечественные Записки“

1852, № 4, отд. VIII, стр. 199). Сожжение произошло, очевидно, как предположил Н. С. Тихонравов, после 20 июля, то есть после второго печатного отзыва: „Оно совпадает по времени с внезапным решением Гоголя ехать за границу, — решением, о котором он уведомлял свою мать 24 июля“ (Соч., 10 изд., V, стр. 542).

Сохранившиеся от истребления немногочисленные экземпляры отдельного издания „Ганца Кюхельгартена“ представляют собою величайшую библиографическую редкость. В настоящем издании идилия воспроизводится по экземпляру, хранящемуся в Государственной Публичной Библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Ленинграде, под шифром 840/71.

III.

Первым печатным отзывом о „Ганце Кюхельгартене“ была неодобрительная рецензия Н. Полевого в „Московском Телеграфе“ (1829, № 12). „Издатель сей книжки, — писал рецензент, — говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначаемо для печати, но что важные для одного автора причины

побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

*Мне лютые дела не новость,
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя —
За прежней жизни злую повесть...*

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом“.

Суждения другого рецензента, в „Северной Пчеле“ (1829, № 87 от 20 июля), в общем совпадают с отзывом Н. Полевого: „В сочинителе заметно воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи, ибо издатели говорят, что «это произведение его восемнадцатилетней юности»; но скажем откровенно: сии господа издатели напрасно «гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта». В «Гансе Кюхельгартене» столь много несообразностей, картины часто так чудовищны, и авторская смелость в поэтических

украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия первая попытка юного таланта залежалась под спудом. Не лучше ли было дождаться от сочинителя чего-нибудь более зрелого, обдуманного и обработанного“. Лишь третий и последний критик, О. М. Сомов, в „Обзрении российской словесности за первую половину 1829 года“ („Северные Цветы“ на 1830 год, стр. 77–78), нашел для автора слова поощрения: „В сочинителе виден талант, обещающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под младенческою пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обмануты“.

Библиографическая справка

Ниже указывается только документальная и позднейшая исследовательская литература о „Ганце Кюхельгартене“. Ссылки на современные Гоголю печатные критические отзывы приведены выше, в тексте комментария.

1. <П. А. Кулиш>. „Несколько черт для био-

графии Н. В. Гоголя“ — „Отечественные Записки“ 1852, № 4, отд. VIII, стр. 199 и сл.

2. <П. А. Кулиш>. „Выправка некоторых биографических известий о Гоголе“ — „Отечественные Записки“ 1853, № 2, отд. VII, стр. 111, 117.

3. Николай М. <П. А. Кулиш>. „Опыт биографии Гоголя“. СПб., 1854, стр. 37–40.

4. Николай М. <П. А. Кулиш>. „Записки о жизни Гоголя“, т. I. СПб., 1856, стр. 66 и сл.

5. Н. С. Тихонравов. „Ганц Кюхельгартен“ (комментарий в „Сочинениях Н. В. Гоголя. Издание десятое“, т. V, СПб., 1889, стр. 541–545).

6. В. И. Шенрок. „Материалы для биографии Гоголя“, т. I. М., 1892 (гл. „Идиллия «Ганц Кюхельгартен»“, стр. 154–168).

7. И. Шаровольский. „Юношеская идиллия Гоголя“ — „Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца под ред. Н. П. Дашкевича“. Киев, 1902, отд. II, стр. 13–52.

8. Г. И. Чудаков. „Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам“. Киев, 1908 (ч. II, гл. 1 „Юношеские опыты“, стр. 63–79).

9. Н. К. *Кульман*. „Ганц Кюхельгартен“ Гоголя и «Луиза» Фосса“. — „Известия ОРЯС“, т. XIII, кн. 4 (1908), стр. 252–263.

10. *Нестор Котляревский*. „Гоголь“ (1-е изд.: СПб., 1903, 4-е изд.: СПб., 1915; гл. II, стр. 14–23).

11. Н. И. *Коробка*. „Ганц Кюхельгартен“ (комментарий в „Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя“, изд. „Деятель“, т. I. СПб., 1915, стр. 361–365).

12. А. *Stender-Petersen*. „J. H. Voss und der junge Gogol“ — „Edda“, Bd. XV, Oslo, 1921, S. 98–128.

13. *Василий Гиппиус*. „Гоголь“. Л., 1924 (гл. I, стр. 18–24).

14. В. *Виноградов*. „Гоголь и натуральная школа“. Л., 1925, стр. 34–36 и 41–43.

15. V. *Adams*. „Gogols Erstlingswerk „Hans Küchelgarten“ im Lichte seines Natur- und Welterlebens“ — „Zeitschrift für slavische Philologie“, Bd. VIII, Heft 3/4, Leipzig, 1931, S. 323–368.

16. В. А. *Десницкий*. „Задачи изучения жизни и творчества Гоголя“ — „Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Под ред. В. В. Гиппи-

уса“, т. II. Л., 1936 (о „Ганце Кюхельгартене“, стр. 52–57; перепечатано в сборнике В. Десницкий. „На литературные темы“, кн. 2. Л., 1936, стр. 357–364).



Вечера на хуторе близ Диканьки (Введение к комментариям.)

I.

Источники текста

A. Общие для всего сборника

ВД1 — „Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком“. Первая книжка. СПб., 1831. Вторая книжка, СПб., 1832.

ВД2 — „Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком“. Часть первая. Часть вторая. Изд. второе. СПб., 1836.

П — „Сочинения Николая Гоголя“. Том первый: „Вечера на хуторе близ Диканьки“. СПб., 1842.

Тр — „Сочинения Н. В. Гоголя“. Том первый: „Вечера на хуторе близ Диканьки“. М., 1855.

Б. К отдельным повестям

Сорочинская ярмарка

PM8 — Черновой автограф. Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.

Вечер накануне Ивана Купала

O3 — „Отечественные Записки“ 1830, февраль, № 118, стр. 238–264; март, № 119, стр. 421–442.

Майская ночь, или Утопленница

PM8 — Черновой автограф. Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.

Пропавшая грамота

PL5 — Черновой автограф. Институт литературы Академии Наук СССР. Ленинград.

Ночь перед Рождеством

PM4 — Черновой автограф. Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.

В настоящем издании „Вечера на хуторе близ Диканьки“ печатаются по тексту *ВД2*, с отдельными исправлениями по автографам („Сорочинская ярмарка“, „Майская ночь“, „Пропавшая грамота“, „Ночь перед Рождеством“), первому изданию „Вечеров“ 1831–1832 гг., первому тому „Сочинений“ 1855 г. („Сорочинская ярмарка“) и с учетом текста первого тома „Сочинений“ 1842 г. В от-

деле „других редакций“ целиком воспроизводятся журнальный текст „Вечера накануне Ивана Купала“ по ОЗ и черновые редакции „Сорочинской ярмарки“, „Майской ночи“, „Пропавшей грамоты“ и „Ночи перед Рождеством“ — по автографам.

II.

„Вечера на хуторе близ Диканьки“ печатаются в том составе и в той последовательности самих повестей и обрамляющих их материалов („Предисловия“, „Словарики“), в каком этот сборник был напечатан при жизни Гоголя во втором отдельном издании 1836 г. В приложения отнесены: не воспроизведенный в 1836 г. беллетризованный список „Опечаток“ к первой книжке „Вечеров“ издания 1831 г., „Предисловие“, предпосланное I тому „Сочинений“ 1842 г., а также связанный с работой Гоголя над „Вечерами“ черновой отрывок „Я давно уже ничего не рассказывал вам...“

Для семи повестей из общего числа восьми, составивших обе части „Вечеров“, последний авторитетный авторский текст дает отдельное издание 1836 г. — этот текст и взят в

основу настоящего издания. Поправки, сделанные Н. Я. Прокоповичем в первом томе „Сочинений“ 1842 г., согласно общим принципам издания, в текст не вводятся. При жизни Гоголя было отпечатано и просмотрено им 9 листов первого тома второго собрания „Сочинений“, „Вечера“ обрываются в них на половине повести „Ночь перед Рождеством“ (на словах: „Прощайте, братцы!“ кричал в ответ кузнец: „даст бог увидимся на...“, см. стр. 221, 28 настоящего тома). Разночтения с предыдущими изданиями, представляемые здесь повестями „Вечер накануне Ивана Купала“, „Майская ночь“, „Пропавшая грамота“ и первой половиной „Ночи перед Рождеством“, вполне аналогичны по своему характеру правке Н. Я. Прокоповича в „Сочинениях“ 1842 г. Эти разночтения отражают, повидимому, корректорскую работу М. Н. Лихонина, и их авторитетность была справедливо взята под сомнение уже первыми редакторами критических изданий Гоголя. В настоящем томе разночтения издания „Сочинений“ 1855 г. в основной текст перечисленных повестей, как правило, не вносятся.

История авторского текста первой повести „Вечеров“, „Сорочинской ярмарки“, представляет бóльшую сложность, чем семи последующих. Гоголь просмотрел ее, повидимому, гораздо внимательнее, чем остальные повести, и внес целый ряд существенных стилистических исправлений. Пренебречь ими, разумеется, нельзя, но вместе с тем нельзя признать текст издания 1855 г. авторитетной авторской редакцией „Сорочинской ярмарки“: в нем сохранились нивелирующие своеобразие языка писателя исправления Н. Я. Прокоповича, а правка Гоголя сочеталась с правкой М. Н. Лихонина (см. об этом подробнее ниже, в соответствующем разделе комментария). Поэтому в настоящем издании и для „Сорочинской ярмарки“, как для остальных семи повестей „Вечеров“, был взят в основу текст отдельного издания 1836 г., а по первому тому „Сочинений“ 1855 г. были внесены только те исправления, которые могут быть с полной убедительностью приписаны Гоголю. При этом оказалось легко выполнимым и полное устранение правки Н. Я. Прокоповича, так как авторские исправления на них не налагались.

Таким образом, текст „Вечеров на хуторе близ Диканьки“, очищенный от посторонней правки, дается в настоящем издании в последней по времени авторской редакции, а работа писателя над первым циклом своих повестей документируется полным воспроизведением всех сохранившихся черновых рукописей и сводом вариантов.

История и хронология создания „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ может быть восстановлена только в самых общих чертах. Скучные и туманные упоминания в письмах Гоголя и беглые записи материалов, использованных в повестях, в его „Книге всякой всячины“ с трудом поддаются расшифровке, а палеографические данные четырех сохранившихся рукописей („Сорочинской ярмарки“, „Майской ночи“, „Пропавшей грамоты“ и „Ночи перед Рождеством“) мало в чем уточняют хронологию, установленную справками о сроках выхода обеих книжек первого издания сборника и дате их цензурных разрешений. Между тем, этими материалами исчерпываются находящиеся в распоряжении исследователей источники.

Возникновение замысла, если не самого цикла, то отдельных вошедших в него повестей, следует отнести, вероятно, уже к первым месяцам пребывания Гоголя в Петербурге, то есть к началу 1829 г. Осмотревшись в столице и связавшись с жившими здесь земляками, Гоголь обнаружил и в литературных и в более широких общественных кругах живой интерес к фольклорным и этнографическим материалам, в частности украинским. Естественно, что именно в это время Гоголь, уже значительно охладевший к ранним стихотворным опытам, мог задаться мыслью использовать в литературной работе свое знание быта, сказаний и песен родной Украины. Между тем, осведомленность писателя носила весьма общий характер, и недостаточность запаса конкретных сведений обнаружилась, как только он приступил к осуществлению своих замыслов. Для сбора на месте нужных материалов Гоголь был принужден обратиться к помощи матери, сестры, а через них к более широкому кругу своих родных и знакомых.

Запросы об „обычаях и нравах малоросси-

ян“ появляются в письмах к матери от 30 апреля и 22 мая 1829 г. — эти два письма и служат первыми документальными свидетельствами о начале работы Гоголя над повестями, составившими позднее „Вечера на хуторе близ Диканьки“; в письме от 22 мая отмечается: „Я думаю, вы не забудете моей просьбы извещать меня постоянно об обычаях малороссиан. Я всё с нетерпением ожидаю вашего письма. Время свое я так расположил, что и самое отдохновение, если не теперь, то в скорости, принесет мне существенную пользу“. Характерно, что только в двух первых цитированных письмах к матери Гоголь конкретно указывает, какие именно сведения ему нужны („описание полного наряда сельского дьячка“, „подробное описание свадьбы“, „о некоторых играх, из карточных: у *Панхвиля*...“ и т. д.). В последующих письмах такие конкретные требования исчезают, но на разные лады варьируется более общего характера просьба доставлять сведения „о поверьях, обычаях малороссиан, сказках, преданьях, находящихся в простонародьи“ (см. письма от 24 июля и 12 ноября 1829 г., 2 февраля и 2 ап-

реля 1830 г.). Создается впечатление, что Гоголь, начав свои запросы с выяснения отдельных деталей, потребность которого назрела в ходе разработки определенных тем, перешел затем к широкой заготовке материалов, которые в свою очередь могли подсказать темы, дать сюжеты для повестей. Именно к сообщениям сюжетного характера возрастает его интерес. Мать он просит тотчас же написать, „если где-либо услышите какой забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или в другом каком, или между помещиками“; предлагает расспросить теток, „какие анекдоты и истории случались в их время — смешные, забавные, печальные, ужасные“. Уже одно это свидетельствует, что в замыслах Гоголя намечалась целая серия повестей. Туманные намеки в письмах также говорят об обширном труде, осуществление которого требует долголетних занятий.

Если уже на первых стадиях работы, летом или даже весной 1829 г., возникал замысел „Вечеров“, как сборника повестей, то естественно напрашивается вопрос, чем Гоголь, кроме общей тематики, предполагал их объ-

единить. Образ „издателя“ пасичника Рудого Панька, подсказанный, согласно сообщению Кулиша, П. А. Плетневым, возник позже, когда основная часть материалов обеих книжек „Вечеров“ была написана. „Предисловие“ уже post factum объясняло некоторую разнородность состава книги сообщением, что рассказчиков было несколько. На ранних этапах циклизация повестей могла слагаться вокруг образа рассказчика дьячка Фомы Григорьевича, гораздо органичнее связанного с отдельными частями повествования, чем фикции „панича в гороховом кафтане“ или любителя страшных историй. Ему приписаны три повести („Вечер накануне Ивана Купала“, „Пропавшая грамота“, „Заколдованное место“), сказовая манера изложения которых определялась проставленным при них подзаголовком „Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви“. Так как первая из названных повестей является едва ли не самой ранней, а подробное „описание полного наряда сельского дьячка“, позже использованное для характеристики Фомы Григорьевича в „Предисловии“, Гоголь затребовал еще в письме от 30

апреля 1829 г., то можно высказать догадку, что уже в первоначальном замысле на этот образ возлагалась важная композиционная функция объединения отдельных повестей в цельный сборник. В этой связи следует отметить, что зачин „Вечера накануне Ивана Купала“ построен как введение к связанной серии рассказов, общая тематика которых, полуисторическая, полуфантастическая, намечалась тут же. Однако предположение писателя не оформилось достаточно четко и не помешало ему переходить от сказа к „безличной“ форме повествования. К тому же намерение издать „Вечера“ книгой определилось вполне только в марте — апреле 1830 г., когда Гоголь, напечатавший „Вечер накануне Ивана Купала“ в „Отечественных Записках“ и оставшийся недовольным редакторскими приемами П. П. Свиньина, прекратил публикацию повестей в журналах.

Все повести „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ были написаны в сравнительно короткий промежуток времени между апрелем — маем 1829 и январем 1832 г. При этом в начале этого периода Гоголь был отвлечен от

работы первой заграничной поездкой (август — сентябрь 1829 г.), а в конце — работой над историческим романом „Гетьман“.

Сведения, о которых Гоголь запрашивал мать в письмах от 30 апреля и 22 мая 1829 г., относятся к трем повестям — „Вечеру накануне Ивана Купала“, „Майской ночи“ и „Пропавшей грамоте“. Замыслы этих повестей определились, очевидно, раньше других. Работа над „Майской ночью“ (черновой редакцией) была, повидимому, закончена уже к июлю 1829 г., так как Гоголь, не дождавшись присланных ему матерью в письме от 2 июля материалов, воспользовался имевшимся у него и записанным в „Книге всякой всячины“ кратким описанием игры в „ворона“. С равным основанием можно считать, что и „Вечер накануне Ивана Купала“ был одной из первых завершенных в начальной редакции повестей сборника, так как именно с этой вещи Гоголь начал публикацию цикла „Вечеров“. Позднее была закончена „Сорочинская ярмарка“: ее черновая рукопись набросана на бумаге с водяными знаками 1829 и 1830 гг. Нужно, однако, отметить, что сам Гоголь (во

втором издании „Вечеров“) датировал повесть 1829 годом, имея в виду, вероятно, начало работы над ней или даже время возникновения замысла. Наконец, предельный срок, к которому были закончены и отделаны все повести первой книги „Вечеров“, устанавливается датой ее цензурного разрешения — 26 мая 1831 г.

К концу мая 1831 г. была готова не только вся первая, но и значительная доля второй части „Вечеров“: в противном случае Гоголь, в особенности после неудачи с „Ганцем Кюхельгартенем“, вряд ли решился бы проставить на титульном листе слова „Первая книжка“, а в предисловии дать определенное обязательство издать продолжение в ближайшем будущем. С другой стороны, сравнительно короткий, пятимесячный срок, разделявший выход в свет первой книжки и сдачу в цензуру рукописи второй, к тому же при занятости писателя другими замыслами, был вряд ли достаточным для создания четырех новых повестей. Работу над „Ночью перед Рождеством“ Н. С. Тихонравов относит, руководясь палеографическими данными, в ос-

новном к 1830 г.; к раннему времени может быть также отнесена повесть „Заколдованное место“, написанная от лица Фомы Григорьевича. Очевидно, только две оставшиеся повести были закончены позднее. Можно предполагать, что „Иван Федорович Шпонька и его тетушка“, выделяющийся в составе сборника своим реализмом и свидетельствующий о переходе Гоголя к новой художественной манере, был последней по времени написания повестью „Вечеров“. К 31 января 1832 года (дата цензурного разрешения второй книжки „Вечеров на хуторе близ Диканьки“) работа Гоголя над первым циклом его повестей закончилась.

В „Предисловии“ к первой книжке „Вечеров“ читатели предупреждались, что во второй части найдутся „статья может... побасенки самого пасичника“. Это полуобещание выполнено не было, но оно свидетельствует, что у Гоголя, во время работы над сборником, намечались некоторые не получившие осуществления замыслы (ср. с этим в концовке черновой редакции „Ночи перед Рождеством“ еще более определенное, но так же не выпол-

ненное обещание дать в дальнейшем подробное описание свадьбы). В рукописях сохранился только один набросок, относящийся к неосуществленным повестям „Вечеров“. Это — воспроизведенный в приложении к настоящему тому отрывок „Я давно уже ничего не рассказывал вам...“ Впервые опубликованная П. А. Кулишом („Записки о жизни Гоголя“, I, стр. 164) и более исправно Н. С. Тихонравовым (Соч., 10 изд., V, стр. 94) запись эта находится в тетради *PM4* (стр. 137), где следует тотчас же за „Ночью перед Рождеством“ и набросками статьи „Несколько слов о Пушкине“; своим стилем она напоминает вступление рассказчика в „Вечерах“ и представляет собою, очевидно, заготовку для какой-то повести второй части. В таком случае отрывок следует датировать 1831 годом (концом его). Возможно, впрочем, предположение и о более поздней дате — 1832 г.; в этом случае набросок свидетельствовал бы о намерении Гоголя продолжить „Вечера“. Позднее материал отрывка был использован Гоголем в „Старосветских помещиках“, — именно в размышлениях автора о „гармонических грезах“, „которые

ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на наши члены“.

Печатание первой книжки „Вечеров“, на медлительность которого Гоголь жаловался в письме к А. С. Данилевскому от 2 мая 1831 г., продолжалось все лето. В свет книга вышла только в первых числах сентября, как это устанавливается письмом Гоголя к В. А. Жуковскому от 10 сентября 1831 г., при котором Гоголь препровождал экземпляры сборника Пушкину, Жуковскому и А. О. Россет. Печатание второй книжки заняло гораздо меньше времени, и она вышла в свет в начале марта 1832 г. (ср. письмо к А. С. Данилевскому от 10 марта 1832 г., при котором посылалась книга). Одновременно с ней издатель А. Ф. Смирдин, ссылаясь на то, что второй книжки „у него не покупали без первой“, отпечатал по новому набору, строка в строку воспроизводящему начальный, 150 экземпляров первой части „Вечеров“ (см. письмо к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 г.). Это, по существу, второе из-

дание разнилось от первого только мелкими типографскими отличиями — титульный лист был набран более крупным шрифтом, оказались исправленными некоторые опечатки на стр. 3, 72, 79 и 148 (хотя список опечаток воспроизводился в прежнем виде), была дана иная обложка с иным текстом объявлений (см. описание Н. С. Тихонравова, пользовавшегося экземпляром библиотеки Исторического музея, Соч., 10 изд., I, стр. 511).

Уже летом 1832 г. Гоголь начал задумываться о повторном издании „Вечеров“ (см. письмо к М. П. Погодину от 20 июня 1832 г.). Цензурное разрешение второго издания помечено 10 ноября 1834 г., но отпечатано оно было только через год с лишним и поступило в продажу в январе 1836 г. (см. извещение в „Северной Пчеле“ 1836, № 26 от 1 февраля). Причина задержки остается неизвестной. Основной тираж обоих первых изданий „Вечеров на хуторе близ Диканьки“ составлял обычные в то время 1200 экземпляров (ср. цитированное выше письмо к М. П. Погодину).

Включая „Вечера“ в собрание „Сочинений“ 1842 г., Гоголь предпослал этому изданию осо-

бое „Предисловие“, характеризующее позднейшее отношение писателя к своим первым книгам (см. текст „Предисловия“ в приложении к настоящему тому). Точная датировка „Предисловия“ затруднительна; можно, однако, предполагать, что написано оно перед самым отъездом Гоголя за границу, то есть в самом начале 1842 г., когда он препоручил все дела по изданию „Сочинений“ Н. Я. Прокоповичу (ср. письмо к С. П. Шевыреву от 4 июня 1842 г.).

III.

После неудачи с „Ганцем Кюхельгарте-ном“, сурово встреченным критикой, Гоголь мог опасаться такого же провала с первой книжкой „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. Но этого не случилось. Псевдоним „В. Алов“ не был раскрыт, и в критике не делалось сопоставлений между новой книгой и идиллией, которую дебютировал молодой автор.

Ко времени появления в печати первой книжки „Вечеров“ Гоголь становился уже известным в литературных кругах. В мае 1831 г. он познакомился с Пушкиным, и Пушкину принадлежит первый из известных нам отзы-

вов современников о „Вечерах“. В ответ на письмо Гоголя от 21 августа 1831 г. с сообщением о весельи наборщиков, хохотавших над присланными в типографию „штучками“ („оченно до чрезвычайности забавны“ — пояснял фактор), Пушкин писал 25 августа: „Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора. С нетерпением ожидаю и другого: толков журналистов и отзыва остренького сидельца“ (подразумевался Н. А. Полевой). По получении книги Пушкин писал А. Ф. Воейкову в половине сентября: „Сейчас прочел *Вечера близ Диканьки*. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались *Вечера*, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. *Мольер* и *Филь-*

динг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов. Ради бога, возьмите его сторону, если журналисты, по своему обыкновению, нападут на *неприличие* его выражений, на дурной тон и проч. Пора, пора нам осмеять *Les précieuses ridicules* нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не бывало, о высшем обществе, куда их не просят, и всё это слогом камердинера профессора *Тредьяковского*“.

Письмо было написано в тоне журнальной статьи, и Воейков использовал его в печати. Оно было воспроизведено в рецензии на „Вечера“ Л. А. Якубовича („Литературные прибавления к Русскому Инвалиду“ 1831, № 79 от 3 октября). От себя рецензент замечал, что „повести свои рассказывает пасичник *Рудый Панек* без вычур, без хитрости, без требований на ученость и славу. Лица его не подмалеваны, нет общих мест, пошлых и тошных, происшествия не притянуты за волосы, веселость неподдельная, остроумие не выкраден-

ное: в них всё *просто* — и потому всё прекрасно! — ибо первое условие прекрасного — *простота*“. Заключалась статья обращенным к автору „Вечеров“ приглашением „не замедлить изданием 2-ой части своего прекрасного сочинения“ и обещанием „поговорить, при случае, побольше... о повестях русских, в числе которых *Вечера* занимают одно из мест почетнейших“.

Вторично отзыв Пушкина был напечатан в переводе в издававшемся в Петербурге журнале „Le Miroir, journal de littérature et de théâtres“ (1831, № 35 от 28 октября) — в обзоре текущей литературы. Анонимный обозреватель (кажется, О. М. Сомов) писал по поводу „Вечеров“ (передаем текст в русском переводе): „Необычно название, под которым только что вышел занимательный сборник украинских повестей. Они довольно многочисленны и все носят наивный и правдивый национальный характер. Под псевдонимом пасичника Рудого Панька автор описывает нравы, обычаи и язык добрых обитателей Украины. Какой рудник для разработки представляет собою наша народность!“

Содержание обеих рецензий определялось отзывом Пушкина. В частном письме, неизбежно лаконичном, Пушкин не мог развернуть широкой характеристики „Вечеров“, но он отметил несколько характерных, существенных черт, подхваченных другими критиками — юмор, поэтичность и лиризм книги. Предвидя нападения литературных староверов на „неприличие выражений“ и „дурной тон“ (что и сбылось), он считал необходимым защитить Гоголя от таких нападков. Однако Пушкин уже тогда не закрывал глаз на некоторые недостатки книги. Впоследствии, рецензируя в 1836 г. в первой книге „Современника“ второе издание „Вечеров“, он писал: „Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых его рассказов“. Но и в 1836 г. Пушкин подчеркивал то, что „так необыкновенно в нашей нынешней литературе“ — „это живое описание племени поющего и пляшущего, эти свежие картины малороссийской природы, эту веселость, простодушную и вместе лукавую“.

В короткой рецензии французского журнала любопытна одна фраза — вырвавшееся у анонимного критика по поводу „Вечеров“ восклицание: „какой рудник для разработки представляет собою наша народность“. Эта мысль осталась не раскрытой, но она была существенна и неизбежно возникала у других рецензентов. Она была поставлена в первом по времени появления в печати отзыве о „Вечерах“, в рецензии В. А. Ушакова в „Северной Пчеле“ [29] (1831, №№ 219 и 220 от 29 и 30 сентября).

Независимо от Пушкина Ушаков высказывает сходные с его суждениями соображения о юморе и лиризме Гоголя, но отмечает, что язык „Вечеров“ — „не совершенно отделанный“, что „автору нашему недостает творческой фантазии“. Он выделяет у Гоголя простоту рассказа и заявляет: „Мы не знаем ни одного произведения в нашей литературе, которое можно бы сравнить в этом отношении с повестями, изданными пасичником Рудым Паньком“. Ушаков связывает „Вечера“ с целым движением украинской литературы и ее включением в общерусскую. Он пишет:

„Небольшое литературное общество, издавна составившееся в Малороссии и постоянно действовавшее в духе местного патриотизма, сколько можно судить по первым трудам оно-го, имело сперва целью сохранить во всей чистоте особенность своего наречия и оригинальность давнопрошедшего быта... Но в последнее время малороссийская школа оставила сию слишком местную цель свою и обратилась к мысли более глубокой — удерживать только характерное отличие своего наречия, поставляя главнейшею целью раскрыть народность во всей обширности этого понятия... Повести, изданные пасичником Рудым Паньком, представляют нам новый, изящный плод этого же умного и истинно народного усилия“.

В. А. Ушаков не развернул своих понятий о народности, но проблема была поставлена, и дальнейшее обсуждение „Вечеров“ постоянно к ней возвращалось.

Три изложенные вполне благоприятные рецензии составили первый круг критических отзывов о „Вечерах“. Но предусмотрительный Пушкин „с нетерпением ожидал от-

зыка остренького сидельца“ — Н. А. Полевого, редактора „Московского Телеграфа“, находившегося тогда в зените популярности. Незадолго перед тем Полевой напечатал статью „Малороссия, ее обитатели и история“ („Московский Телеграф“ 1830, №№ 17 и 18), с которой полемизировал в „Литературной Газете“ (1830, № 8) приятель Гоголя — О. М. Сомов. Полевой одно время думал, что под псевдонимом Рудого Панька скрывается Сомов. Можно было опасаться резкой критики.

В небольшой по объему рецензии („Московский Телеграф“ 1831, № 17) Полевой выписывает несколько неудачных по его мнению тирад из „Вечеров“, сопровождая их насмешливыми замечаниями: „воля ваша, мы своим русским умом не понимаем этого высокопарения“, „желание подделаться под малорусизм спутало до такой степени ваш язык и всё ваше изложение, что в иных местах и толку не доберешься“. „Недостатки слога“, „бедность воображения“, „неуменье увлекать читателя подробностями“ — вся рецензия состоит из подобных сентенций. Даже фольклоризм, о котором Полевой заговаривает как-то

определеннее других критиков („клад малороссийских преданий и присказок“), нужен критику лишь затем, чтобы уколоть автора. Только гиперболизм и неправильности слога и языка „Вечеров“ подмечены чутко, и указания на них могли быть полезны автору. В общем отзыв был беспринципен, пристрастен, недостоин Полевого.

В отличие от предыдущих рецензий, статья Полевого ставила задачу раскрыть недостатки в книге молодого автора. Начинание Полевого было подхвачено литератором-украинцем, задавшимся целью произвести специальную этнографическую экспертизу. В журнале „Сын Отечества и Северный Архив“ (1832, т. XXV, № 1–4) была напечатана под псевдонимом „Андрій Царынний“ статья А. Я. Стороженко под следующим длинным названием: „Мысли малороссіянина по прочтении повестей пасичника Рудого Панька, изданных им в книжке под заглавием: *Вечера на хуторе близ Диканьки*, и рецензий на оныя“. Большой, достигающий 70 страниц, объем статьи, растянувшейся в четырех книжках, свидетельствует об обостренном

интересе к „Вечерам“ в тогдашней журналистике и обществе.

С готовностью присоединившись к стилистической критике Полевого и отводя хвалебный отзыв Пушкина как „кратковременную прихоть поэта“, Царынный, неожиданно для самого себя, находит в „Вечерах“ немало достоинств, отмечая „живописные картины“ и „занимательно рассказанные“ народные поверья. Из частных оплошностей Гоголя Царынный отмечает неправильное истолкование выражения „попа в решете“, ошибочное утверждение, „будто бы понамарь каждый день отправляется с кошельком по церкви“, ошибочную деталь, будто бы молодой Левко играет на бандуре: „у нас играют на бандуре или слепые, или козачки, выученные на сем инструменте для утехи праздных панычей и панов“. Ошибочным считает Царынный использование Гоголем известной песни „Сонце низенько“, где говорится о зимнем морозном вечере, в монологе Левка — в теплый летний вечер. Не без основания указывает Царынный, что песня, пропетая парубками под окном головы, есть „смешение наречий мало-

российского с русским“. Но такими частностями и ограничилась этнографическая критика Царынного.

В литературной борьбе, возникшей вокруг „Вечеров“, Царынный занял среднюю позицию: он не одобрил хвалебного тона первых рецензий, вместе с Полевым критиковал „высокопарность“ стиля, выдвинул от себя несколько возражений этнографического и композиционно-логического характера, но, в противоположность Полевому, признал и многие достоинства „Вечеров“. Других критиков пристрастность Полевого вызвала на протесты.

Таким протестом была статья О. М. Сомова „Пересмешник. Письмо к издателю Литературных прибавлений о Вечерах на хуторе близ Диканьки, о критике на них г. Полевого и о прочем“ [30] („Литературные прибавления к Русскому Инвалиду“ 1831, № 94 от 25 ноября). По существу, статья эта ничего не прибавляла к оценке „Вечеров“. Вся она полемически обращена против отзыва Полевого. Дискредитируя познания издателя „Московского Телеграфа“ в украинской истории и этногра-

фии, статья Сомова несомненно вредила Полевому и подымала авторитет Гоголя.

Такое же значение имела и рецензия на „Вечера“ Н. И. Надеждина в „Телескопе“ (1831, октябрь, № 20, Библиография). Возражая Полевому еще резче, чем Сомов, Надеждин писал о самих повестях Гоголя хвалебно: „Содержание их составлено из украинских преданий, обставленных приключениями из действительной жизни. Отсюда их высочайшая истинность, убеждающая сама в себе невольно. Изложение их возвышает прелесть очарования“. Критические замечания ограничились указанием сходства „Вечера накануне Ивана Купала“ с повестью Тика „Чары любви“.

Пока журналисты спорили о первой книжке „Вечеров“, автор заканчивал подготовку второй, вышедшей в свет в начале марта 1832 г. Она вызвала новый ряд отзывов.

Быстро, уже 12 марта, откликнулась „Северная Пчела“ (1832, № 59). Рецензент (несомненно тот же В. А. Ушаков) оценивал вторую книжку так же сочувственно, как и первую, находя в ней те же достоинства. „Телескоп“ (1832, № 17) заявил, что во второй книжке

„очаровательная поэзия украинской народной жизни представлена во всем неисчислимом богатстве родных неподдельных прелестей“, что „Рудый Панько владеет кистью смелою, роскошною, могущественною. Его картины кипят жизнью“. Особенно выделялась здесь „Страшная месть“.

Всего подробнее и содержательнее высказался „Московский Телеграф“ (1832, № 6). Под давлением полемики, и, конечно, искренно, продумав наново обе книжки, Н. А. Полевой внес в свою оценку „Вечеров“ большие коррективы. Вторая книжка — „гораздо превосходнее первой“. „Автор во многих местах очень хорошо воспользовался юмором своих земляков и многое представил в живописном, истинном виде. Его неисощимая веселость дала ему средство оживить свои рассказы“. В „Страшной мести“ — „многие места прекрасны“. „Автор избег во второй книжке той высокопарности слога, в которой мы упрекали его“. Впрочем, и во второй книжке Полевой усмотрел „большие неправильности в языке“.

Статьей Полевого замыкается круг отзы-

вов, вызванных появлением первого издания „Вечеров“. О повестях Гоголя высказались многие, в том числе и крупные литераторы. По инициативе Пушкина установилась общая высокая эстетическая оценка „Вечеров“. Как основная черта творческой индивидуальности автора был назван юмор. Установлена была близость сюжетов и отдельных эпизодов и частностей к украинскому фольклору. Отмечались правдивые зарисовки народного быта. Наряду с похвалами, высказывались и порицания, порой существенные и справедливые. Правда, далеко не всегда критики держались на высоком уровне. Проблемы народности и реализма только намечались. Социальное осмысление образов „Вечеров“ не осуществилось. Характерно, что такое оригинальное и глубокое произведение, как „Иван Федорович Шпонька и его тетушка“, прошло совсем мимо сознания критики, — эта повесть не получила никакой оценки. В общем, критика 1831–1832 гг. во многом оказалась ниже уровня самих повестей. Задача углубленного истолкования повестей Гоголя перешла к В. Г. Белинскому.

Белинский не написал отдельной статьи о „Вечерах“. Он оценивал их совместно с „Миргородом“, „Арабесками“ и другими произведениями. Впервые он высказался о „Вечерах“ в своих „Литературных мечтаниях“ („Молва“ 1834; печатание тянулось с сентября по декабрь). Здесь он писал: „Г. Гоголь, так мило прикинувшийся *Пасичником*, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому не известны его Вечера на хуторе близ Диканьки? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности! Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды...“

Эта высокая оценка чисто художественных достоинств „Вечеров“ сохранилась у Белинского навсегда неизменной. В статье „О русской повести и повестях Гоголя“ 1835 г. (ценз. разр. — 1 и 21 сентября) Белинский говорит: „Гоголь сделался известным своими „Вечерами на хуторе“. Это были поэтические очерки Малороссии, очерки полные жизни и очарования. Всё, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, всё, что народ может иметь оригинального, типического, всё это

радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная“. Но общие оценки творчества Гоголя быстро углублялись у Белинского — в соответствии с ростом самого Гоголя и ростом мировоззрения Белинского. Когда Белинский писал „Литературные мечтания“, он знал только первое издание двух книжек „Вечеров“. Но перед статьей о повестях Гоголя вышли в свет „Арабески“ и „Миргород“ (январь и февраль 1835 г.), и понимание Белинским новеллистики Гоголя должно было осложниться. За годы 1831–1835 Гоголь быстро развивался и рос. В 1831 г. Л. А. Якубович пишет о Гоголе как о „юном таланте“. Белинский в 1834 г., в „Литературных мечтаниях“, о Гоголе говорит, что тот „подает надежды“. В апреле 1835 г., в статье „И мое мнение об игре г. Каратыгина“, Белинский оговаривается, что „пока еще не видит гения в г. Гоголе“. Но осенью того же года, в статье о повестях, Белинский уже утверждает, что Гоголь „является главою литературы“, и ставит его рядом с Пушкиным. С другой стороны, на суждениях Белинского о повестях Гоголя отрази-

лись его философские искания, диалектика его собственного развития. В „Литературных мечтаниях“ он выдвигал юмор „Вечеров“: „сколько в них остроумия, веселости“. В этом Белинский совпадал с Пушкиным. Совпадал он с Пушкиным и в оценке гоголевского лиризма. В статье о повестях Белинский говорит о Гоголе: „Я забыл еще об одном достоинстве его произведений: это лиризм, которым проникнуты его описания“. Замечательно, что Белинский сближается с Пушкиным и в понимании своеобразного комизма Гоголя: в сочетании веселости и грусти. В статье о повестях Белинский пишет, что у Гоголя „комическое одушевление — всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния“. Повести Гоголя „смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете“. Только Белинский идет дальше в раскрытии социального содержания этой грусти и уныния. Так же, как и В. А. Ушаков, но, конечно, совершенно независимо от него, Белинский выдвигает народность творчества Гоголя. „Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени, но я не хочу слишком распространяться о их народности,

ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно-художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны“ („О русской повести“ 1835). При этом Белинский спешит сделать существенное добавление: „Народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею“ — Гоголь народен и в „Записках сумасшедшего“ и в „Невском проспекте“. „Если изображение жизни верно, то и народно“.

Здесь Белинский подходит к тому определению творчества Гоголя, какое для критика всего существеннее: к реализму. Верность изображения — это и есть реализм. Позднее Белинский так и уточнил свою формулу: „в реализме всего более и состоит народность нашей литературы“ В статье о повестях Белинский писал: „Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств

закljučается в одном источнике: г. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной“. В соответствии с тогдашними своими идеалистическими (шеллингианскими) воззрениями Белинский стремился истолковать правдивость и народность творчества Гоголя как объективность, бестенденциозность, бесцельность, бессознательность. Говоря о юморе Гоголя, Белинский пишет: „Автор не позволяет себе никаких сентенций, никаких нравоучений, он только рисует вещи так, как они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их без всякой цели, из одного удовольствия рисовать“. О народности Гоголь „нимало не думает, и она сама напрашивается к нему“. Но эта теория „объективности“, „бессознательности“ творчества плохо вязалась с демократической, революционной натурой критика. Она плохо вязалась и со смыслом лучших украинских повестей Гоголя. Восхваляя поэзию „идеальную“, „объективную“, Белинский вдруг начинает убеждать читателя (в той же статье о повестях, 1835 г.), что поэзия реальная ближе к современности: „вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительно-

сти, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности действительности“. Поэзия Гоголя есть именно такая реальная поэзия. В первом печатном отзыве о „Вечерах“ Белинский выдвигал „остроумие“, „веселость“ автора. Через год, продумав проблему гоголевского юмора, Белинский уже пишет, что гоголевский юмор „не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение“. Комизм Гоголя консервативные и реакционные круги пытались истолковать как безобидный. В статье против Шевырева („Телескоп“ 1836, №№ 5 и 6) Белинский защищает Гоголя от такого снижения: „В его «Вечерах на хуторе», в повестях: «Невский проспект», «Портрет», «Тарас Бульба» смешное перемешано с серьезным, грустным, прекрасным и высоким. Комизм отнюдь не есть господствующая и перевешивающая стихия его таланта. Его талант состоит в удивительной верности изображения жизни в ее неуловимо-разнообразных проявлениях. Этого-то и не хотел по-

нять г. Шевырев: он видит в созданиях г. Гоголя один комизм, одно смешное“.

Так, на материале гоголевской новеллистики, Белинский раскрывает критический реализм Гоголя, тесно связанный с народностью; это было как раз то, что необходимо было сказать, когда повести Гоголя входили в тридцатые годы в читательскую среду.

Библиографическая справка

Ниже указываются специальные работы и главы из более общих монографий, трактующие темы, общие для всего сборника „Вечеров“. Списки работ, касающихся отдельных повестей, приводятся в конце комментариев в каждой из них. Современные Гоголю печатные отзывы о „Вечерах“ не перечисляются, указания на них даны в тексте вступительного комментария.

1. Н. С. *Тихонравов*. „Вечера на хуторе близ Диканьки“ (комментарий в „Сочинениях Н. В. Гоголя. Издание десятое“, т. I. М., 1889, стр. 505–513 и 539–541).

2. В. И. *Шенрок*. „Материалы для биографии Гоголя“, т. I. М., 1892, стр. 239–291 (гл. „Задатки творчества в юности Гоголя и развитие

их в «Вечерах на хуторе»», ср. стр. 162–168).

3. Н. И. Петров. „Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя“ — „Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца под ред. Н. П. Дашкевича“. Киев, 1902, отд. II, стр. 53–74.

4. Г. И. Чудаков. „Отражение мотивов народной словесности в произведениях Н. В. Гоголя“ — „Университетские Известия“, Киев, 1906, № 12, стр. 1-37.

5. К. Невірова. „Мотиви української демонології в «Вечерах» та «Миргороді» Гоголя“ — „Записки Українського наукового товариства в Києві“, т. V. Київ, 1909, стр. 27–60.

6. В. С. Катранов. „Гоголь и его украинские повести“ — „Филологические Записки“ 1909, кн. V, VI; 1910, кн. I.

7. Нестор Котляревский. „Гоголь“ (1-е изд.: СПб., 1903; 4-е изд.: СПб., 1915, о „Вечерах“ гл. II и IV, стр. 27–31 и 86-106).

8. В. В. Каллаш. „Вечера на хуторе близ Диканьки“ (вступительная статья в „Сочинениях Н. В. Гоголя“, изд. Брокгауз-Эфрон, т. I. Пгр., 1915, стр. 131–137).

9. Н. И. Коробка. „Вечера на хуторе близ Диканьки“ (вступительная статья в „Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя“, изд. „Деятель“, т. I. СПб., 1915, стр. 53–77).

10. Ad. Stender-Petersen. „Gogol und die deutsche Romantik“ — „Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte“ 1922, Bd. XXIV, Heft 3, S. 628–653.

11. Василий Гиппиус. „Гоголь“ Л., 1924 (гл. II, стр. 26–40).

12. Виктор Виноградов. „Этюды о стиле Гоголя“. Л., 1926 (гл. „Рудый Панько и рассказчики из романов Вальтер-Скотта“, стр. 42–50).

13. Н. Пиксанов. „О классиках. Сборник статей“. М., 1933 (статья „Украинские повести Гоголя“, стр. 43–148, 398–405. Первоначально была напечатана в т. I „Собрания сочинений Гоголя“, приложение к журн. „Красная Нива“ за 1931).

14. М. Храпченко. „Н. В. Гоголь“. М., 1936 (гл. III „Фантастика и действительность“, стр. 34–44).

—

Предисловие

О происхождении заглавия, под которым были напечатаны „Вечера на хуторе близ Диканьки“, и об обстоятельствах, при которых было написано „Предисловие“, рассказывает П. Кулиш в анонимной статье „Несколько черт для биографии Н. В. Гоголя“: „В эти первые годы петербургской жизни он работал очень много, потому что к маю 1831 г. у него уже готово было несколько повестей, составлявших первый том „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. Не зная, как распорядиться с этими повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайшее инкогнито и придумал для его повестей заглавие, которое бы возбудило в публике любопытство. Так появились на свет „Повести, изданные пасичником Рудым Паньком“, который будто бы жил возле Диканьки, принадлежав-

шей князю Кочубею“ („Отечественные Записки“ 1852, № 4, отд. VIII, стр. 200–201).

Обычная в романтической литературе после Вальтер-Скотта персонификация литературного псевдонима была чрезвычайно искусно использована Гоголем для придания композиционного единства сборнику повестей: различие в повествовательной манере и пестрота тематики объяснялась тем, что Рудый Панько выступал только в роли „издателя“. Если в самом тексте „Вечеров“ рассказчиком назывался один дьячок Фома Григорьевич, то в „Предисловии“ давалось понять, что „Сорочинская ярмарка“ и „Майская ночь“ были рассказаны „паничем в гороховом кафтане“, любителем говорить „вычурно да хитро, как в печатных книжках“, а восприятие „Страшной мести“ подготовлялось сообщением об одном рассказчике, завсегдаге „вечерниц“ пасичника, который „такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили на голове“. В „Предисловии“ ко второй книжке „Вечеров“ полное своеобразие повести о Шпоньке специально мотивировалось перечислением еще не известных читателю прия-

телей Рудого Панька, приехавших к нему в гости, среди них — автора тетрадки с оборванным концом, Степана Ивановича Курочки.

Возможность скрытого в имени пасичника намек на действительного автора „Вечеров“ была указана А. И. Маркевичем: „Панько“ расшифровывается, как фамилия самого Гоголя по деду Афанасию — „Панасенко“, сокращенно — „Панько“, прозвище „Рудый“ также могло относиться к нему, отмечая рыжеватый оттенок его шевелюры (А. И. Маркевич. „Заметка о псевдониме Н. В. Гоголя «Рудый Панько»“ — „Известия ОРЯС“, т. III, кн. 4 (1898), стр. 1269–1272).

В первом и втором издании „Вечеров“ „Предисловия“ к обеим частям сборника сопровождалась словариками „не всякому понятных“ украинских выражений. В „Сочинениях“ 1842 и 1855 гг. они были заменены одним сводным словарем к „Вечерам“ и „Миргороду“. В настоящем издании, исходящем из текста 1836 г., они воспроизводятся на своем месте.

Сорочинская ярмарка

I.

Приобретенная в 1896 г. б. Московским Публичным и Румянцевским музеями в числе других автографов Гоголя у наследников писателя рукопись „Сорочинской ярмарки“ хранится вместе с рукописью „Майской ночи“ в особой папке, обозначаемой нашим шифром *PM8* (№ 3211 по инвентарю Публичной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина). Рукопись состоит из четырех отдельных листов серой писчей бумаги (16 страниц), целиком заполненных автографическим текстом (чернила). Заглавие и дата внизу текста („1829“) помечены карандашом чужой рукой. Бумага — с водяными знаками 1829 и 1830 гг. Обе рукописи имеют одну общую нумерацию (по полулистам, красным карандашом в правом верхнем углу), принадлежащую, по догадке Г. П. Георгиевского, П. А. Кулишу или лицу, „которому впоследствии достались и автографы Гоголя и копии Кулиша“. Варианты чернового автографа „Сорочинской ярмарки“ частично использованы Н. С. Тихонравовым; полностью рукопись опубликована Г. П. Георгиев-

ским — неточно, со многими пропусками и ошибками (так, например, напечатано „зятем“ вместо „дегтем“, „кумачевая свитка“ вместо „кармазинная свитка“ и т. д.).

Черновая рукопись „Сорочинской ярмарки“ фиксирует момент творческой работы Гоголя, когда весь замысел повести уже окончательно сформировался; деление на главы точно совпадает с последующим делением в печатном тексте, большинство глав снабжено эпиграфами, соответственно этому полностью намечены и детализованы все сюжетные нити повести. Наряду с этим, текст повести явно недоработан: имена персонажей не установлены (имя Черевика — Солопий — было вставлено позднее, жену его, Хавронью Никифоровну, попович последовательно именует Осиповной, Никифоровной, Трофимовной и т. д.), отдельные характеристики и эпизоды не отделаны.

Перебеляя рукопись, Гоголь переработал сцену перебранки в конце гл. I, описание ярмарки (начало гл. II), внес описательную характеристику цыгана (конец гл. V), остроты по адресу москалей (конец гл. II и начало гл.

VI), значительно переработал конец гл. IX, сцену появления Черевика в гл. XIII и заключение той же главы. Одновременно смягчалась писателем и словесная патетика, цветистость стиля, в черновой рукописи еще более бросающаяся в глаза, нежели в позднейшем печатном тексте. Наконец, в языке черновой рукописи значительно сильнее, нежели в языке печатных текстов, украинский элемент — не только в лексике (дивчина, тютюн, крамарка, пучка), но и в морфологии (Голопу-пенкив сын, дочко, жинко — в зв. пад., и т. д.).

Дата „1829“, проставленная под текстом „Сорочинской ярмарки“ во втором издании „Вечеров“, может относиться только к началу работы Гоголя над повестью: бумага, на которой была написана черновая редакция, имеет водяные знаки 1829 и 1830 гг. Исходя из этого, естественно предположить, что черновая редакция создавалась в начале 1830 г. Окончательную обработку естественно отнести ко времени, непосредственно предшествовавшему сдаче рукописи первой книжки „Вечеров“ в набор и на цензурный просмотр (цензурное разрешение ее помечено 26 мая 1831 г.).

Последним этапом авторской работы над повестью явился пересмотр „Сорочинской ярмарки“ при подготовке в 1850-51 гг. нового издания „Сочинений“. Текст остальных повестей „Вечеров“ подвергся в этом издании, так же, как и в „Сочинениях“ 1842 г., лишь узко грамматическим исправлениям со стороны редакторов. Иного рода правке подверглась „Сорочинская ярмарка“. В тексте повести появились дополнения (например, заключительное предложение гл. II „Вот, что говорили негоцианты о пшенице“, отсутствующее в *ВД 1*, *ВД2* и *П*), целые абзацы подверглись более или менее сложной стилистической переработке (например, начало гл. V в прежней редакции: „Усталое солнце уходило от мира, и спокойно пропылав свой полдень и утро, день и пленительно, и грустно, и ярко румянился, как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга в торжественную минуту ее отлета на небо“; в редакции издания 1855 г.: „Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился“). В ряде случаев правка „Сорочинской ярмарки“ в из-

дании 1855 г. восстанавливала текст рукописи, отменяя варианты, данные *ВД1* и *ВД2*. Например, стр. 112, 18 „тащился на истомленных волах воз“ (*ВД1*, *ВД2*: „истомленными волами“); 114, 5 „ай да дивчина“ (*ВД1*, *ВД2*: „ай да девушка“); 123, 12 „выдумываете“ (*ВД1*, *ВД2*: „выдумаете“); 127, 10 „топор“ (*ВД1*, *ВД2*: „секиру“ — украинизм „секира“ показался, очевидно, Гоголю менее выразительным, чем русское „топор“).

Н. С. Тихонравов, отмечая „значительные изменения в изложении“, произведенные Гоголем, утверждал, что изменения эти сделаны „под влиянием господствовавшего в нем болезненного настроения“ (Соч., 10 изд., I, стр. XIV, 514). Однако, ни цитированный Тихонравовым пример (приведенная выше переработка начала гл. V), ни совокупность всех изменений, внесенных Гоголем в текст *Тр*, не подтверждают его вывода, но, наоборот, доказывают большую последовательность гоголевской правки, стремление к максимально-му смягчению романтической цветистости стиля, стремление придать изложению большую простоту и реалистичность. Таким обра-

зом, принятый в основу настоящего издания для „Вечеров“ текст ВД2 не дает последней авторской редакции „Сорочинской ярмарки“. Было бы, однако, ошибочным воспроизводить целиком редакцию *Тр* — во-первых, потому, что здесь была сохранена, за малыми исключениями, правка Прокоповича, и, во-вторых, потому, что в тексте *Тр* исправления вносились не одним Гоголем, но, очевидно, и его редактором или корректором. Ряд вариантов *Тр*, вполне аналогичных правке Прокоповича, вряд ли может быть приписан воле Гоголя: „испытующих очей“ (ВД1, ВД2, П: „испытательных очей“, 121, 29), „дальней родственницы“ (ВД1, ВД2, П: „дальней родички“, 129, 34), „от взмаха руки его“ (ВД1, ВД2: „от замашки рук его“, П: „от замашки руки его“, 130, 1), „подплясывая“ (ВД1, ВД2, П: „подтанцовывая“, 136, 1), и др. В виду этого в настоящем издании „Сорочинская ярмарка“, так же, как и остальные повести „Вечеров“, печатается в основном по тексту ВД2. Исправления издания 1855 г. приняты только в тех случаях, когда они могут быть признаны гоголевскими.

В текст „Сорочинской ярмарки“ в настоя-

цем издания внесены следующие исправления против текста *ВД2*: стр. 116, 26 „разговаривавшим“ — по *РМ8* и *ВД1*; *ВД2*: „разговаривающим“; 117, 15 „Как чертовщина“ — по *РМ8* и *ВД1*; *ВД2*: „Какая чертовщина“; 119, 1 „купцы даже из Гадяча“ — по *РМ8* и *ВД1*; *ВД2* — „купцы из Гадяча“; 120, 4 „разговорился“ — по *РМ8* и *ВД1*; *ВД2*: „разгорячился“; 122, 35 „приношения“ — по *РМ8*; *ВД1* и *ВД2*: „приношение“, что не согласуется с предшествующим упоминанием поповича: „но воистину сладостные приношения“; 123, 3 „придвигая ~ варенички“ — по *ВД1*; *ВД2*: „подвигая ~ варенички“; 124, 4 „шинкарки“ — по *РМ8* и *ВД1*; в *ВД2* очевидная опечатка „шинкаря“ (ср. предшествующий текст 118, 30 „под яткою у жидовки“); 124, 6 „своего лакомого“ — по *ВД1*; в *ВД2* очевидный пропуск: „лакомого“; 126, 35 „оживили его“ — по *РМ8*; в *ВД1* и *ВД2* очевидный пропуск „оживили“, исправленный в *П* и *Тр* на „оживили жида“; 130, 17 „рожу“ — по *РМ8*; *ВД1*, *ВД2*: „маску“; кроме того унифицировано (согласно *РМ8*) написание имени парубка Грицька: в печатных текстах он именуется то Грыцько, то Грицько.

Из исправлений *Тр*, принадлежность которых может быть приписана Гоголю, в текст введены следующие: 111, 25 „стога сена“ (*РМ8*, *ВД1*, *ВД2*: „скирды сена“[31]); 113, 31 „переменяла ~ выбирая себе новый путь и окружая“ (*ВД1*, *ВД2*: „переменяет свои окрестности, выбирает себе новый путь и окружает“); 112, 18 „на истомленных волах“ (так в *РМ8*; *ВД1*, *ВД2*: „истомленными волами“); 114, 5 „дивчина“ (так в *РМ8*; *ВД1*, *ВД2*: „девушка“); 114, 13 „дивчина“ („девушка“); 116, 29 „Вот ~ пшенице“ (*РМ8*, *ВД1*, *ВД2*: нет); 117, 5 „перед Рождеством“ (так в *РМ8*; *ВД1*, *ВД2*: „пред Рождеством“); 117, 9 „отец нашей красавицы“ (*ВД1*, *ВД2*: „наш знакомец“); 118, 2 „А я на четвертый“ („Чорт меня возьми, если я не на четвертый“); 118, 27 „чтоб и паслись“ (так в *РМ8*; *ВД1*, *ВД2*: „чтобы и паслись“); 120, 22 „и угасающий ~ румянился“ („день и пленительно, и грустно, и ярко румянился, как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга в торжественную минуту ее отлета на небо“); 123, 12 „выдумываете“ (так в *РМ8*; *ВД1*, *ВД2*: „выдумаете“); 123, 37 „в образине свиньи“ („в костюме ужасной свиньи“); 124, 11 „не совсем ~ в избах“ (*ВД1*, *ВД2*:

„не совсем из храброго десятка и имели при-
тоны в избах“); 124, 23 „на доски, накладен-
ные под потолком“ („на накладенные под по-
толкем доски“); 124, 25 „проклятые бабы“ („а
то проклятые бабы“); 124, 37 „речистого храб-
реца“ (ВД1, ВД2: „высокого бонмотиста-храб-
реца“); 125, 2 „сама красная свитка“ (ВД1, ВД2:
„как та красная свитка“); 127, 4 „надевая ее“
(„всегда, когда вздумывалось ей надевать“);
127, 10 „топор“ (так в РМ8; ВД1, ВД2: „секиру“)
127, 11 „опять“ („снова“); 127, 12 „топором“ (ВД
1, ВД2: „секирою“); 127, 19 „заседателя от...“
(так в РМ8; ВД1, ВД2: „заседателя о...“); 127, 31
„остались ~ на воздухе“ (РМ8: „остановились в
судорожной неподвижности на воздухе“; ВД1,
ВД2: „остановились ~ в воздухе“); 127, 32 „в
непобедимом страхе“ (РМ8: „в непобедимом
ужасе“; ВД1, ВД2: „в ничем не победимом
страхе“); 127, 35 „отчаянно ~ руками“ („кричал
один, повалившись на лавке, болтая в ужасе
руками“); 127, 37 „закрывшись тулупом“ (РМ8:
„закрываясь тулупом“; ВД1: „в отчаянии за-
крываясь тулупом“; ВД2: „в отчаянии закрыв-
шись тулупом“); 128, 22 „ночью ~ на улице“ (РМ8:
„один цыган из толпы других“; ВД1, ВД2:

„Один из толпы спавшего на улице народа“; 129, 15 „Озаряясь ~ ночи“ (РМ8: „которые, озарившись местами неверно и трепетно горевшим огнем и отененные черными всклокоченными волосами, казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром и облаками мрака непробудной ночи“; ВД1, ВД2: „озаряясь местами неверно и трепетно горевшим светом, они казались ~ ночи“); 129, 28 „исчезли с появлением утра“ („исчезнули вместе с осветившим мир утром“); 131, 11 „рукава свитки“ („рукава“); 131, 19 „почувствовал, что схвачен вдруг“ („почувствовал себя вдруг схваченным“); 132, 31 „Вот, кум ~ о котором“ (ВД1, ВД2: „Вот, это тот самый, кум, об котором“).

II.

Из ряда других повестей, входящих в состав „Вечеров“, „Сорочинская ярмарка“ выделяется широким использованием украинской литературы, знакомой Гоголю еще со времен учения в Нежинской гимназии. В „Книге всякой всячины“ (стр. 80–81) он тщательно выписал длинный ряд украинских „эпиграфов“, которые Шенрок считал выбранными „из раз-

ных произведений“ и характеризующими „литературное чтение Гоголя в школе“ (Соч., 10 изд., VII, стр. 875); в действительности, все эти эпиграфы извлечены из одного произведения — „Энеиды“ Котляревского, возможно даже по какому-нибудь рукописному списку поэмы (см. М. Н. Сперанский. „Заметки к истории „Энеиды“ И. П. Котляревского“. Львов, 1902, стр. 9-16). Частью своих выписок Гоголь воспользовался для эпиграфов „Сорочинской ярмарки“ (гл. III, IV, VIII). Эпиграфы к гл. II, VI, VII, X Гоголь взял „из малороссийской комедии“ — в действительности из двух комедий своего отца, В. А. Гоголя — „Собака-вівця“ и „Простак“, о присылке которых Гоголь просил мать 30 апреля 1829 г. Эпиграф к главе XII взят из „казки“ П. П. Гулака-Артемовского „Пан та собака“ („Украинский Вестник“ 1818, № 12), наконец, эпиграфы к гл. I, V, IX, XI, XIII — из украинского фольклора, либо по каким-нибудь печатным источникам, либо, скорее всего, просто по памяти.[32]

Однако отражение в повести отдельных впечатлений украинской литературы значительно глубже и не ограничивается одними

эпиграфами.

Больше всего материала для „Сорочинской ярмарки“ Гоголь почерпнул из комедии своего отца.[33] Так, ситуация: Солопий — Хивря — попович в точности соответствует расстановке персонажей комедии „Простак“: Роман — Параска — дьяк, вплоть до характеристик отдельных элементов этого треугольника; явление же VI комедии Гоголя-отца, — сцена неудачного свидания Параски с дьяком, — настолько близка соответствующей сцене „Сорочинской ярмарки“ (гл. VI), что несомненно явилась оригиналом последней, внушив писателю даже такие детали, как специфическая речь поповича (в „Простаке“ — дьяка), как комический переход от угощения к изъяснению любви, как, наконец, неожиданное прекращение любовной сцены появлением посторонних и собачьим лаем.

Вторым, после украинской литературы, источником, питавшим творческое воображение Гоголя, был украинский фольклор.

Однако в „Сорочинской ярмарке“ (как, впрочем, и в других повестях „Вечеров“) фольклорные мотивы даны в произвольной

авторской передаче, в произвольной же комбинации. Таким образом, например, к фольклору восходит сказка о чорте, выгнанном из пекла (см. Б. Д. Гринченко. „Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях“, II. Чернигов, 1897, стр. 66), но юмористическое преломление ее, равно как и вся история „красной свитки“, по видимому, принадлежит самому Гоголю. История о „красной свитке“ повлекла за собою использование фольклорных же мотивов о поисках чортом своего имущества (В. Н. Добровольский. „Смоленский этнографический сборник“, I. СПб., 1891, стр. 638) и о несчастьи, приносимом бесовским имуществом (А. Н. Афанасьев. „Народные русские сказки“, III. Л., 1939, № 372; М. Драгоманов. „Малорусские народные преданья и рассказы“. Киев, 1876, стр. 52; И. Рудченко. „Народные южно-русские сказки“, I. Киев, 1869, стр. 74).

К фольклорным представлениям и воспоминаниям восходит также и типология „Сорочинской ярмарки“: и простоватый, флегматичный мужик (Черевик), и сварливая жена его, заводящая при случае любовные шашни,

и возлюбленный ее, попович, и хитрый цыган, — всё это персонажи многочисленных народных анекдотов и рассказов, традиционные типы украинского народного театра (см. В. Перетц. „Гоголь и малорусская литературная традиция“ — „Н. В. Гоголь. Речи, посвященные его памяти“. СПб., 1902, стр. 47–55; В. А. Розов. „Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 99–169).

Как уже указывалось, сам Гоголь относился к фольклорному материалу весьма свободно, варьируя его и комбинируя соответственно собственным творческим намерениям. Эта свобода отразилась в частности на типологии повести: фольклорному образу плутоватого цыгана Гоголем приданы несколько неожиданные черты демонической мрачности, не развернутые, впрочем, в повести и навеянные, вероятно, романтической литературой.

Библиографическая справка

1. Г. П. *Георгиевский*. „Сорочинская ярмарка. Первая редакция повести Н. В. Гоголя“ (вступительная статья к публикации черно-

вой рукописи повести в издании „Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя“, вып. 3. СПб., 1909, стр. 12–25; стр. 25–54 — текст повести).

2. В. А. Розов. „Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 99–169.

Вечер накануне Ивана Купала

I.

Повесть „Вечер накануне Ивана Купала“ была впервые напечатана в 1830 г. в „Отечественных Записках“, в февральской и мартовской книжках, под заглавием: „Бисаврюк, или вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви“. Однако в первой книжке „Вечеров на хуторе близ Диканьки“, вышедшей в следующем 1831 г., Гоголь поместил совершенно новую редакцию повести, коренным образом переработанной. При дальнейших перепечатках „Вечера накануне Ивана Купала“ воспроизводилась с незначительными изменениями эта

вторая окончательная редакция повести.

Работа Гоголя над повестью, повидимому первой по времени написания из цикла „Вечеров на хуторе“, относится к 1829 г., скорее всего ко второй половине этого года. В письме от 30 апреля 1829 г. Гоголь просит мать наряду с прочими поверьями сообщить ему „несколько слов о колядках, о Иване Купале...“ Наличие в записной книжке Гоголя, вместе с записями поверий, обычаев, обрядов и этнографических материалов, сведений окладах, цветке папоротника, Ивановом дне и в особенности описания костюмов, заимствованных из писем родных (см. соответствующие записи Гоголя в „Книге всякой всячины“, Соч., 10 изд., VII, стр. 884–887) позволяют предположить, что к работе над повестью Гоголь приступил вскоре после получения материалов от матери в ответ на свой запрос. К началу 1830 г. повесть была уже закончена, появившись в февральской книжке „Отечественных Записок“. Переделка ее для „Вечеров на хуторе“ относится, вероятно, ко времени подготовки книги к печати.

Первоначальная редакция „Вечера накану-

не Ивана Купала“, помещенная в „Отечественных Записках“ без подписи Гоголя, представляет интерес не только в плане творческой истории повести, но и как первое выступление Гоголя-прозаика. Предположение Н. С. Тихонравова о том, что она подверглась правке редактора журнала П. Свиньина, следует признать весьма правдоподобным (см. Соч., 10 изд., I, стр. 516). Это подтверждается изменением отзывов Гоголя об „Отечественных Записках“ в его письмах к матери и помогает расшифровать полемическое предисловие ко второй редакции повести в „Вечерах“.

Так, в письме от 2 апреля 1830 г., Гоголь рекомендует матери журнал Свиньина, как издание, которое „по важности своих статей, почитается здесь лучшим“, но уже в письме от 3 июня того же года, посылая матери очередной номер журнала, он подчеркивает: „в этой книжке, равно и во всех последующих, вы не встретите уже ни одной статьи моей“. Причина недовольства П. Свиньиным, сквозящего в отзывах Гоголя о его журнале, выясняется при анализе предисловия к повести в первой

части „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. Возмущение Фомы Григорьевича, от лица которого ведется повествование в „Вечере накануне Ивана Купала“, искажением его рассказа, помещенного в книжке журнала, — совершенно несомненно являлось замаскированным выпадом Гоголя против Свиньина, протестом против его редакторского самоуправления. Смысл и направленность прозрачно завуалированной полемики „Предисловия“ были для современников совершенно ясны. О. М. Сомов, напечатавший под псевдонимом „Никиты Лугового“ рецензию на первую книжку „Вечеров“ в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду“ (1831, № 94, стр. 738), иронически советовал издателю „Инвалида“ не слушать отзыва Полевого в „Телеграфе“: „Пасичник, я слышал, человек всегда готовый высказать самые резкие истины, да еще и языком малороссийского прямодушия. Он, пожалуй, в состоянии повторить г. Полевому то, что уже сказал одному из его собрать-журналистов в предисловии своем ко 2-ой повести „Вечеров на хуторе“.

Нужно полагать, что правка Свиньина сво-

дилась в основном к той же грамматической и стилистической очистке языка Гоголя от просторечия и украинизмов, от чрезмерно „грубых“, с точки зрения тогдашней школьной ретирики, выражений и слов, какую в дальнейшем гораздо осторожней и умеренней производил Прокопович. Переделывая повесть для переиздания ее в „Вечерах“, Гоголь, повидимому, частично восстановил то „просторечие“ и живую разговорную речь, которые Свиньин, согласно своим стилистическим принципам, всемерно ослаблял. Наконец, повидимому Свиньиным, было изменено само заглавие повести и этимологизировано имя персонажа — вместо гоголевского „Басавркж“ в журнале появилось „Бисаврюк“.

Во второй редакции Гоголь сократил повесть, устранив ряд длиннот и второстепенных подробностей. Так, в окончательном тексте отсутствует подробное описание церкви „трех святителей“, описание жизни Петро Безродного и т. д. Наиболее существенное значение в изменении замысла и сюжетных мотивов повести имеет отказ Гоголя от мотива болезненной скупости Петро, разбогатевшего

нечистым путем и доведшего себя и жену до крайней степени бедности. Все эти сокращения, придавшие повести большую сюжетную целеустремленность и лаконичность, свидетельствуют о стремлении Гоголя освободиться от подробных сюжетных мотивировок, от нравоучительного морализирования в духе сентиментально-нравоописательных повестей 20-х годов, от растянутых и вялых описаний, столь распространенных в чувствительных повестях и романах ужасов. Еще важнее стилистическая переработка всего текста повести, которую произвел Гоголь, в сущности создав совершенно новое произведение. Эта переработка прежде всего относится к стилистической отделке каждой фразы, к той словесной яркости и насыщенности, которую придает им Гоголь, отбрасывая книжные и условно-сентиментальные формулы, растянутые и вялые обороты первой редакции, вводя диалоги вместо повествования, добиваясь живой разговорной интонации. Так, например, длинный, пересыпанный подробными ремарками разговор между Петро и Басаврюком сжимается до нескольких энергичных и

кратких реплик (см. стр. 143, 19–32). Гоголем значительно сокращаются детальные описания в фантастических сценах и усиливается всюду бытовой, реалистический колорит. Не случайно, что наименьшей переработке подверглось описание свадьбы, основанное на чисто этнографических материалах.

В текст повести в настоящем издании вносится только одно исправление против текста ВД2; на стр. 141, 27 восстанавливается по ВД1: „на крилосе“ (в ВД2 очевидное корректорское исправление: „на клиросе“).

II.

В письме от 30 апреля 1829 г. Гоголь, обращаясь к матери за помощью в собирании этнографических и фольклорных материалов, просил, в частности, сообщить ему „названия платья, носимого... крестьянскими девками, до последней ленты“ и „обстоятельное описание свадьбы“. Здесь же он просил сообщить „несколько слов... о Иване Купале“ и „подробнее“ о разных духах „с их названиями и делами“. Если сопоставить эти запросы с работой писателя над „Вечером накануне Ивана Купала“, то тем самым намечается в общей форме

ответ на вопрос об источниках повести. Гоголь обращался в первую очередь к фольклорным материалам.

Как видно из писем Гоголя и пометок в его „подручной энциклопедии“ — „Книге всякой всячины“, родные присылали писателю нужные ему данные. В „Книге всякой всячины“ можно указать две записи, использованные в „Вечере накануне Ивана Купала“. На странице 225 помещено описание девичьей и женской одежды — с пометкой: „Из письма ко мне от 4 июня 1829 г.“ (Соч., 10 изд., VII, стр. 885); им воспользовался Гоголь при описании свадьбы Петруся и Пидорки. В этом же описании использована запись на стр. 305: на свадьбе „гуляют сколько угодно..., наряжаются в разные костюмы, а более — цыганами, которых они чаще всех видят, играют ихние роли“... При записи — пометка, что это — извлечение из письма от 4 мая (там же, стр. 889).

В той же „Книге всякой всячины“ есть весьма показательная запись (на странице 183): „Папороть (по-русски — папоротник, или кочедыжник, bilix) цветет огненным цветом только в полночь под Иванов день, и кто

успеет сорвать его, и будет так смел, что устоит противу всех призраков, кои будут ему представляться, тот отыщет клад“ (там же, стр. 881). Эту запись в несколько измененном виде находим в качестве выноски в „Бисаврюке“ („Отечественные Записки“ 1830, № 118, стр. 256–257), при страницах, посвященных рассказу о поисках клада. Наличие синонимичных русских названий и латинское обозначение растения не оставляют сомнений в том, что это — позаимствование из какого-то *литературного* источника.

Трудно указать какой-нибудь труд по этнографии и фольклору конца XVIII — начала XIX столетия, из которого Гоголь мог бы получить необходимые ему сведения. Более оправданными надо считать поиски в другой области — в травниках, цветниках, лечебниках и подобных памятниках письменности, которые были в большом ходу еще и в XVIII и даже в XIX веке. Они „приблизительно отвечают на вопрос, чем лечились «старосветские помещики», родители Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, да и они сами“ (А. Потебня. „Малорусские домашние лечебники

XVIII в.“. Киев, 1890, стр. II). Составители рецептов любили давать описываемым средствам латинские названия. В подобных тетрадках нередко заключались не только наставления и рецепты медицинского характера, а сообщались сведения иного порядка, например, о папоротнике и других растениях, давались советы по практике кладоискания. (Ср. „Сказание о таинственном цветке папоротника“: А. Н. Афанасьев. „Несколько народных заговоров“ — „Летописи русской литературы и древности“, IV. М., 1862, отд. III, стр. 72–73).

Эта литература до сих пор остается мало обследованной, поэтому (не говоря о других причинах) невозможно безоговорочно указать определенный источник, которым воспользовался Гоголь. Из того, что известно в ученой литературе о травниках, страницы „были“ Гоголя напрашиваются на сравнение с „Сказаниями русского народа“ И. Сахарова (т. I, кн. 2. Изд. 3-е. СПб., 1841, стр. 43), где автор, не любивший называть свои источники, всё же делает ссылку на какой-то „чародейский травник“ (стр. 42). Разумеется, Гоголь не

мог пользоваться трудом своего сверстника, „Сказания“ которого вышли первым изданием в 1836 г., но не лишено оснований предположение о том, что оба они пользовались одним и тем же источником или источниками очень близкими. Ясно, что здесь речь может идти не о текстологическом совпадении или близком сходстве страниц Гоголя и Сахарова, а о близости объема сведений, образов, сравнений, отчасти — порядка в расположении материала.

У Сахарова:

У Гоголя:

В глухую полночь... показывается цветочная почка. Она то

...краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая движется. движется вперед и назад, то заколышется, как речная волна, то запрыгает как живая птичка. <Немного далее будет о цветке сказано: „словно лодка плавал по воздуху“>.

<Цветочная почка>, ежеминутно увеличиваясь и выростая вверх, цветет, как горячий уголь.

Движется <цветочная почка> и становится

все больше, больше, и краснеет, как горячий уголь.

...ровно в 12 часов с треском разворачивается цвет, как зарница, и своим пламенем освещает около себя и вдали.

Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало — и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.

При отыскании земляных богатств кладовискатели бросают цвет кочедыжника вверх. Если где есть клад, этот цвет будет носиться над ним, как звезда, и прямо упадет на землю.

Петро подбросил <цветок>, и что за чудо? цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака...; наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка... „Здесь“ глухо прохрипела старуха, а Басаврюк... примолвил... „Копай здесь“...

Здесь один и тот же план рассказа, те же или близкие образы, часто та же лексика.

В мысли об использовании двумя авторами одного или нескольких очень близких источников утверждают и другие наблюдения.

Пояснение о „вылипании переполоха“ и „заговаривании соняшницы“, данное Гоголем в журнальной редакции „Бисаврюка“ („Отечественные Записки“ 1830, № 119, стр. 430, выноска) и сохраненное в последующих изданиях „были“, имеет соответствие у Сахарова (стр. 51), где находим одинаковое по смыслу и содержанию описание „переполоха“ и „соняшницы“, которые и стоят в книге в той же последовательности. Синонимичные русские названия папороти у обоих писателей те же самые (хотя известны и другие): кочедыжник или папоротник — и стоят у Гоголя в той же паре, что у Сахарова (стр. 43).

Ясно, что не все страницы „были“ можно объяснить из этого источника. Молодой Гоголь многое черпал из фольклора. Если при переработке фольклорных мотивов у писателя есть и вымысел, то он, обычно, имеет основой материал устной поэзии и имеет задачей индивидуализировать для „были“ лица, явления и предметы, данные в фольклоре в форме не всегда отчетливой, не всегда ясной, раздробленной.

В „были“ Гоголя общение нечистого с глав-

ным действующим лицом завязывается в шинке. При непривлекательной и не совсем определенной наружности он умеет войти в доверие, прикидывается участливым, добрым, готовым притти на помощь... Именно с такими чертами он вошел в описания этнографа (С. В. Максимов. „Нечистая, неведомая и крестная сила“. СПб., 1903, стр. 11, 18 и др.). В „были“ он является центральной фигурой по его прикосновенности к кладам, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению. Эта черта Басаврюка не стоит в противоречии с показаниями этнографов (Д. К. Зеленин. „Очерки русской мифологии“. Вып. I. Пгр., 1916, стр. 22–23, указана литература).

Клады нечистый дает человеку не даром, — за душу. „От тебя *одного* потребуют, сказал нечистый, отводя Петро в сторону. Несмотря на всё присутствие духа, дрожь проняла насквозь Петруся, когда он услышал слова сии; ну, думает себе, и до души дело доходит“ („Отечественные Записки“ 1830, № 118, стр. 255–256; в последующих редакциях этих строк нет). И это условие получения клада известно этнографам и фольклористам (П. Ива-

нов. „Народные рассказы о кладах“ — „Харьковский сборник“, IV. Харьков, 1890, отд. II, стр. 40–41). Требование „достать крови человеческой“ в расплату за клад также издавна знакомо фольклористам. Овладение кладом через пролитие крови, в иных случаях — крови ребенка, — эта тема своими истоками восходит к глубокой древности (на греко-римской почве, достигает полного развития в Византии) и в разных вариациях живет доньше в сравнительном фольклоре. (М. А. Шангин. „Демон-кладовик“ — „Советская этнография“ 1934, № 4, стр. 109–112; Н. Е. Ончуков. „Северные сказки“. СПб., 1909, стр. 190, № 72; С. В. Максимов, назв. соч., стр. 167).

Человек, сделавшийся обладателем цветка папоротника и таким образом получивший власть над кладом, испытывает „страхи“: угрозы, страшные образы, дикий хохот, ожесточенные преследования со стороны нечистой силы, требующей бросить чудесный цветок. Спасаться нужно бегством без оглядки (П. Иванов, назв. соч., стр. 10–11, 39–40; С. В. Максимов, назв. соч., стр. 168). Первая редакция („Отечественные Записки“ 1830, № 118, стр.

264) находится в согласии с тем, что сообщают фольклористы: „Как угорелый бросился он бежать, но ему казалось, что деревья, кусты, скирды сена и всё, что попадалось на дороге, гналось за ним в погоню“ (Ср. П. Иванов, назв. соч., стр. 39–40). При чтении второй редакции может создаться впечатление, что Петрусь избавлен от необходимости спасаться бегством, так как он берет клад по уговору с нечистым, однако и он испытал ужас „дьявольского хохота“ и пр.

Получив клад, или, вернее, право на клад, „сбравши все силы, бросился он бежать“. В этот момент „всё покрылось перед ним красным светом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах“...

Мотивировкой этого явления служит у Голя, можно догадываться, пролитие человеческой крови. Явление красного или огненно-красного света при получении власти над кладом, как и пролитие крови младенца, — в книжности и в фольклоре широко распространено. В фольклоре красный, огнен-

но-красный свет известен как один из „страхов“, которым „нечистые“ хранители кладов принуждают обладателя цветущего папоротника бросить этот чудесный цветок (см. Д. Н. Садовников. „Сказки и предания Самарского края“. СПб., 1884, стр. 369. Подобное же читаем у П. Иванова в назв. соч., стр. 39–40: „осыпание огненными искрами“, „выстрелы“ и т. п.).

Мотив забвения обстоятельств, при которых добыт клад, тоже можно объяснить из фольклора. Обладатель чудесного цветка папоротника делается могущественным, всевидящим, всеведущим, но как только тем или иным путем лишится цветка, он тотчас же утрачивает эти свойства и забывает всё, что было с ним за время обладания цветком (А. Н. Афанасьев. „Поэтические воззрения славян на природу“, П. М., 1868, стр. 383–384; Д. Н. Садовников, назв. соч., стр. 370–371; Максимов, назв. соч., стр. 168–169). Петрусь, покинув овраг и лес, оставил там и чудесный цветок, а с ним и память об ужасной ночи.

Мотив призрачности богатства, доставшегося от „нечистого“, представлен в фольклоре

во множестве разработок с различными вариантами (И. Рудченко. „Народные южно-русские сказки“, I. Киев, 1869, стр. 74; М. Драгоманов. „Малороссийские народные предания и рассказы“. Киев, 1876, стр. 52; П. Иванов, назв. соч., стр. 6).

Некоторые мотивы повествования Гоголя исследователи выводят из литературного источника, имея в виду главным образом произведения немецких романтиков. Самыми настойчивыми и убедительными были утверждения Н. С. Тихонравова (Соч., 10 изд., I, стр. 526 и сл.), развернувшего общие наблюдения и замечания Н. И. Надеждина („Телескоп“ 1831, № 20, стр. 653). Для данной повести они сводятся к тому, что некоторые мотивы гоголевской „были“ — мотивы пролития крови ребенка, появления красного света и полного выпадения из памяти наиболее сильных впечатлений — позаимствованы из „Liebeszauber“ Тика. Основание для этого утверждения Тихонравов видит в наличии и сходстве этих моментов у обоих писателей, которые он объясняет заимствованием, сделанным под свежим впечатлением только

что вышедшей в русском переводе повести под названием „Чары любви“ (в журнале „Галатея“ 1830, № 10, стр. 157–185; № 11, стр. 127–240).

Здесь всё нуждается в пересмотре — и наблюдения и рассуждения. Знакомство Гоголя с писателями-романтиками не подлежит оспариванию. Наличие указанных мотивов у обоих писателей несомненно. Но сходство их — не непременно результат заимствования. Прежде всего, это сходство — поверхностно, внешне. Если в мотивировке пролития младенческой крови и есть отдаленное сходство, то в изображении обстоятельств, при которых совершается это дело, нет ничего общего. То же надо сказать и о другом мотиве — мотиве появления красного света. У Тика это — отдаленное по времени и при том смутное отражение кровавого события и предвестник близящихся несчастий, у Гоголя этот мотив связан непосредственно с предыдущим мотивом (пролитие крови) и имеет, как говорилось, еще и иной смысл. Красный свет в картине Тика — внешний: это — отблеск лучей закатного солнца; не то у Гоголя:

кровавый свет в его картине — отражение явлений иного порядка: общей катастрофы, страдания („стон“) всего окружающего. Третий мотив — утрата из сознания чрезвычайно важных моментов жизни — у Тика вплетен как следствие чрезвычайного внутреннего потрясения; это не совпадает с мотивировкой в „были“ Гоголя.

Если рассказ Тика и имел какое-либо влияние на Гоголя при создании „Вечера накануне Ивана Купала“, то вряд ли существенным было впечатление от его нового русского перевода: трудно думать, что более ранний перевод повести Тика, под названием „Колдовство“ („Славянин“ 1827, ч. III, стр. 331–350; 370–388), не упоминаемый Тихонравовым, остался неизвестным Гоголю. Позднее, во время работы над „Вечером накануне Ивана Купала“, внимание Гоголя было сосредоточено, судя по его переписке, на украинских и русских материалах. Немецкие романтики прошли не „мимо“ Гоголя, но влияние их сказалось заметным образом несколько позднее.

Библиографическая справка

1. Н. С. Тихонравов. „Вечер накануне Ивана

Купала“ (комментарии в „Сочинениях Н. В. Гоголя. Издание десятое“, т. I. М., 1889, стр. 516–536).

2. Г. И. Чудаков. „Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам“. Киев, 1908 (ч. II, гл. „Малорусские повести из простонародной жизни“, стр. 83–85).

Майская ночь или Утопленница

I.

Хранящаяся вместе с автографом „Сорочинской ярмарки“ в Публичной библиотеке Союза ССР им. В. И. Ленина рукопись „Майской ночи“ (музейный шифр — № 3211) состоит из двух листов и двух отдельных полулистов (вторых половинок) серой писчей бумаги (12 страниц). Нумерация, по полулистам, — не гоголевская, общая с рукописью „Сорочинской ярмарки“. Бумага с водяным знаком 1829 г. Рукопись не полна: целиком исписанные Гоголем (чернилами) первые два листа содержат полностью главы I–III и часть гл. IV („Парубки гуляют“), обрывающейся на песне Левко, на первом отдельном полулисте записан полный текст песни Левко второй содер-

жит гл. VI („Пробуждение“). Отсутствуют, таким образом вторая половина гл. IV и гл. V („Утопленница“). Варианты рукописи частично были использованы Н. С. Тихонравовым; полностью рукопись опубликована, весьма, впрочем, не точно, Г. П. Георгиевским.

Трудно датировать время работы Гоголя над „Майской ночью“. С уверенностью можно утверждать лишь то, что замысел повести был одним из первых в цикле повестей, составивших впоследствии „Вечера на хуторе близ Диканьки“: в первом же письме к матери с просьбой о присылке этнографических и фольклорных материалов (30 апреля 1829 г.) Гоголь просит сообщить ему „несколько слов... о русалках“. Черновая рукопись повести написана на бумаге с водяными знаками „1829“, однако это одно еще не дает, конечно, права приурочивать написание повести именно к 1829 году. Несколько уточнить дату помогают записи „Книги всякой всячины“. Здесь, на стр. 122, приводится краткое описание игры в „ворона“, а на стр. 123 — второе значительно более распространенное описание, извлеченное из письма М. И. Гоголь 2

июля 1829 г. (Шенрок неправильно датирует его 2 июня, Соч., 10 изд., VII, стр. 879; ср. „Письма“, I, стр. 128), присланное в ответ на просьбу писателя сообщить ему описание хороводных игр в „хрещика“ и „журавля“. Если принять во внимание, что в „Майской ночи“ Гоголь воспользовался именно этим кратким и неточным, набросанным по памяти, либо со слов кого-либо из петербургских украинцев, описанием игры в „ворона“, заменившей другие, ранее предположенные по ходу рассказа игры, то можно с известной долей вероятности датировать работу над черновой рукописью „Майской ночи“ маем — июлем 1829 г.

Текст черновой рукописи был перебелен для издания „Вечеров“, повидимому, перед самой сдачей книги в типографию, то есть в конце 1830 — начале 1831 г. Сделанные при этом исправления отразились в печатном тексте „Вечеров“ и отмечают окончательный этап непрерывной авторской работы над повестью.[34] Последующая авторская правка текста эпизодична, случайна и не всегда последовательна. Так, в „Опечатках“, приложенных к ВД1 (243–244), дан ряд вариантов к

„Майской ночи“: „теплого ночного воздуха“ вместо „теплого океана ночного воздуха“ (156, 15); „слышал“ вместо „слыхал“ (162, 32); „притопывая ногами“ вместо „притопывая на них ногами“ (163, 13); „прильнули“ вместо „поприставали“ (163, 15); „сжечь“ вместо „съесть“ (173, 8); „бог один знает“ вместо „бог знает“ (173, 25). Из этих исправлений самим Гоголем сохранено в *ВД2* лишь одно („слышал“ вместо „слыхал“), остальные были оставлены им без внимания и потому не учитываются и нами (исправлена очевидная опечатка „сжечь“ вместо „съесть“).

В текст „Майской ночи“ в настоящем издании внесены следующие исправления против текста *ВД2*: стр. 167, 27 „стал уплетать“ — по *РМ8* и *ВД1*, в *ВД2*: „оплетать“, что можно считать опечаткой, узаконенной позднейшими издателями; 168, 1 „Я слыхал что-то похожее еще за покойницу царицу“ — по *РМ8*, в *ВД1*, *ВД2* „царицу“ отсутствует (очевидно, случайный пропуск); 171, 1 „я им ровень“ — по *ВД1*, в *ВД2* и *П* — „ровен“, исправленное в *Тр* на „ровна“; 171, 1 „Они думают, что я какой-нибудь их брат“ — по *П* и *Тр*, в *ВД1*, и *ВД2* „я“ Гоголем

пропущено, повидимому, по рассеянности; 173, 8 „Ты рад был случаю сжечь меня“ — по „Опечаткам“ к *ВД1*, в *ВД1*, *ВД2*, *П* и *Тр* — „съесть меня“, что в данном контексте лишено смысла; 173, 33 „вылить переполоху“ — по *ВД1*, в *ВД2* случайное, несогласованное с контекстом исправление „вылечить“, перешедшее в последующие издания.

II.

В числе источников, использованных Гоголем при работе над „Майской ночью“, с бесспорностью могут быть названы записи, полученные от сестер и матери в ответ на его просьбы (ср. письма Гоголя от 30 апреля, 22 мая, 24 июля 1829 г., 3 июня 1830 г.). В записной тетради Гоголя („Книга всякой всячины“) содержится прямое указание на этот источник: например, „из письма 2 июля“ (Соч., 10 изд., VII, стр. 879–880). Та же тетрадь указывает на обращение Гоголя к книжным источникам: в ней находим выписки из „Академического Словаря русского языка“ (стр. 225, 296–297; Соч., 10 изд., VII, стр. 884, 886), ссылки на Цертелева (стр. 243; Соч., 10 изд., VII, стр. 885), на Максимовича (стр. 225; Соч., 10 изд.,

VII, стр. 884) и другие выписки из книг; напр., на странице 183 — о зеленой неделе, когда „по народному поверью русалки... бегают по лесам и бурьянам“... (Соч., 10 изд., VII, стр. 881). В пространной выписке имеются упоминания об обычаях в окрестностях Стародуба, то есть не-местных, различные названия недели, песен и пр.; всё это — знаки книжного происхождения записи. Но явных следов использования в повести выписок из книг мы не находим. Что они делались по связи с работой над „Майской ночью“ и имели какое-то значение в творческой истории, показывает их тема и, может быть, название повести: действие происходит в мае, — месяце, на который обычно падает „зеленая неделя“.

Мы не знаем всего объема книжных источников Гоголя. Однако нельзя и преувеличивать количество материалов, почерпнутых Гоголем из книжных источников, круг которых был весьма невелик (см. Олександр Андрієвський, „Бібліографія літератури з українського фольклору“, I. У Києві, 1930, стр. 1-32). Из материалов, содержащихся в доступных Гоголю сочинениях, затруднительно вы-

вести все фольклорные частности и подробности его повести. Нужно предположить наличие еще какого-то источника. Видимо, это были запасы памяти писателя, подкрепляемые и пополняемые при общении с земляками на чужбине. Какой материал потребовался автору при создании „Майской ночи“, легко уяснить, следя за ходом его повествования.

Начало первой главы построено на общеизвестной доньине песне, для получения которой Гоголь, конечно, не имел надобности обращаться к какому-нибудь сборнику:

Сонце низенько, вечер близенько.

В словах парубка: „если бы и повеяло холодом, я... надену шапку свою на твои беленькие ножки“ нетрудно узнать переложение слов этой песни:

*Ой вийди, вийди,
Не бійсь морозу:
Я твої ніженьки
В шапочку вложу...*

В дальнейших главах заключается повествование, построенное на данных народной мифологии. В нем легко выделяются широко

распространенные мотивы устных „преданий“. Например, мотив обращения ведьмы в животное и в частности — в кошку в фольклоре очень распространен (А. Н. Афанасьев. „Поэтические воззрения славян на природу“, Ш. М., 1869, стр. 532 и сл. даны указания на литературу; И. И. Манжура. „Сказки, пословицы и т. д., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ.“. Харьков, 1890, стр. 136; Б. Д. Гринченко. „Этнографические материалы, собранные в Черниговской и в соседней с ней губерниях“. I. Чернигов, 1895, стр. 66, и мн. др.). Весьма распространен и другой мотив: поражение оборотня — поражение ведьмы (С. В. Максимов. „Нечистая, неведомая и крестная сила“. СПб., 1903, стр. 135; В. Н. Добровольский. „Смоленский этнографический сборник“, I. СПб., 1891, стр. 132; Б. Д. Гринченко, назв. соч., стр. 108, и мн. др.).

Рассказы об утопленницах-русалках, об их обиталище и подводных богатствах, об их внешнем облике, их нравах, их вмешательстве в людскую судьбу и пр. и пр. — имеют соответствие в народной словесности; каждый мотив, почти каждая подробность описания

разработаны в русском и украинском фольклоре (ср. Д. К. Зеленин. „Очерки русской мифологии“. Пгр., 1916, стр. 119–124, 128, 140, 166, 187 и др.; указана обширная литература). Даже такой, казалось бы случайный, художественный мотив, как разрешение задачи — отличить ведьму среди настоящих русалок — в разнородных вариациях известен в фольклоре (Г. И. Чудаков. „Отражение мотивов народной словесности в произведениях Н. В. Гоголя“ — „Университетские Известия“. Киев, 1906, № 12, стр. 16–17; указана литература).

Относительно всех или почти всех важнейших моментов повести можно сказать, что они опираются или на несомненные или, чаще, на предполагаемые источники. Чем значительнее и самостоятельнее талант художника тем труднее разглядеть материалы, вошедшие в его работу. Приписывать авторству Гоголя то, что здесь предполагается как переработка заимствованного из памятников устной поэзии, невозможно, во-первых, в виду большого числа фольклорных мотивов, имеющих прямые параллели в повести Гоголя, и, во-вторых, — поразительно близкого

сходства в общем содержании и в частности, а также в трактовке этих мотивов в произведениях устной словесности и на страницах „Майской ночи“. Буквального совпадения с источником здесь не должно и ждать, а некоторые различия в вырисовке подробностей неизбежны по вполне понятным причинам. В так называемых „преданиях“ (то есть произведениях сказочного типа не построившихся в определенные, отлившиеся речи), которыми пользовался Гоголь, явно преобладают черты эпоса; в них ясна тенденция к устранению индивидуальных черт „действующих лиц“, „мест действия“ и пр., — тенденция к „снятию всех индивидуальностей“ (русалки выходят на берег реки или озера, живут они в воде, у них есть жилище и т. п.) Тенденция художника-лирика, каким заявил себя автор „Утопленницы“, если не противоположна, то лежит в ином направлении: на фоне общего, почти безличного, обычно безымянного, дать конкретную обстановку и индивидуальные образы (русалки выходят греться в панский сад, главной русалкою в панском пруду сделалась сотникова дочка и т. д.).

Библиографическая справка

Г. П. Георгиевский. „Майская ночь“ (вступительная статья к публикации черновой рукописи повести в издании „Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя“, вып. 3. СПб., 1909, стр. 55–59; стр. 60–83 — текст повести).

Пропавшая грамота

I.

Хранящийся в Архиве Института литературы Академии Наук СССР в составе Дашковского собрания автограф „Пропавшей грамоты“ является черновиком первоначальной редакции повести. Автограф написан чернилами на четырех листах большого формата (с оборотом) обычным для Гоголя убористым почерком с многочисленными поправками и помарками. Листы рукописи были разорваны на куски и позже склеены и вплетены П. Я. Дашковым в тетрадь вместе с рядом других автографов Гоголя. Черновой, первоначальный характер этого документа подтверждается и отсутствием заглавия. Рукопись „Пропавшей грамоты“ была впервые опубликована, чрезвычайно неисправно, К. Н. Михайловым

(К. Н. Михайлов читал, например, вместо „возле ятки храпела сидя“ — „возле этакого храпке (!) шла“, или вместо правильного „гладили усы“ — „кидали ум“, и т. д. и т. п.).

Текст черновика „Пропавшей грамоты“ значительно превышает по размеру окончательную, печатную редакцию, и хотя не имеет сколько-нибудь принципиального отличия от нее ни в сюжетном, ни в стилевом отношении, однако дает многочисленные варианты и разночтения. При отделке повести отпали целые фрагменты, не включенные Гоголем в окончательную редакцию. Так, в печатный текст не вошло ни подробное описание путешествия деда из пекла на хромом чорте, ни эпизод с горшками, надувавшими щеки. Отброшен был и ряд колоритных деталей. Так, например, при характеристике деда в черновой редакции указывалось, что он „один бывало иной раз выходил на медведя, а подчас и пяти человек умять ему было так же, как нашему брату отпеть воскресный кондак“.

Автограф повести не дает достаточных данных для определения времени ее написа-

ния. Публикация „Пропавшей грамоты“ в первой книге „Вечеров“ (цензурное разрешение которой датировано 26 мая 1831 г.) делает несомненным завершение работы над повестью не позже апреля — мая 1831 г. Однако начата повесть была, возможно, еще в 1829. В таком случае к этому времени восходит, вероятно, и черновой автограф. Подтверждением этому служит письмо Гоголя к матери от 22 мая 1829 г., в котором он запрашивает ее подробности относительно различных карточных игр, популярных в украинском обиходе.

Во втором издании „Вечеров“ 1836 г. текст „Пропавшей грамоты“ был перепечатан почти без изменений. Лишь в немногих случаях были заменены отдельные слова и изменен порядок слов в фразе (например, в *ВД1* было „нечистым“, в *ВД2* — „нечистыми“ или „валятся“ в *ВД1*, а в *ВД2* — „повалятся“). Однако наличие этих изменений, хотя бы и мало существенных, свидетельствует, что текст второго издания, повидимому, внимательно прочитывался Гоголем.

В основном тексте настоящего издания сделаны следующие исправления против тек-

ста ВД2: стр. 184, 32 и 188, 31 „чудище“ по РЛ5 и ВД1; ВД2: „чудовище“; стр. 189, 14 „масть хоть куда“ — по РЛ5; ВД1, ВД2: „масть хоть куда“ — опечатка, исправленная в обоих последующих изданиях; стр. 190, 10 „Жаль стало товарища“ — по РЛ5 и ВД1, в ВД2 и последующих изданиях — „Жаль старого товарища“, что может рассматриваться как случайная опечатка; стр. 190, 27 „чудеса деются“ — по РЛ5 и ВД1, в последующих изданиях: „чудеса делаются“.

II.

Сюжетным стержнем повести „Пропавшая грамота“ является рассказ о путешествии деда к чертям за украденной шапкой. Рассказ этот по своей конструкции напоминает одну из широко распространенных (в частности, у украинцев) легенд — о кумовой кровати или о разбойнике Мадее (Н. П. Андреев. „Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне“. Л., 1929, стр. 53, № 756 В).

Легенда (в полном ее виде) повествует о том, как человек, душа которого отцом его продана чорту, отправляется в ад, проникает туда с помощью страшного разбойника и вы-

ручает „запись“. Так и у Гоголя мы видим путешествие деда в „пекло“ и возвращение украденной шапки. Само изображение путешествия деда к чертям отчасти напоминает путешествие в ад в „Кумовой постели“ В. Оли-на („Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1829 год. Изда-на В. Н. Олиным“. СПб., 1829, стр. 289–337. На это сходство впервые указал В. Гиппиус. „Го-голь“, Л., 1924, стр. 29). Повидимому, известны были Гоголю и устные рассказы о кумовой кровати или о великом грешнике.

Торжественно-религиозный характер легенды снят Гоголем и заменен шутливо-коми-ческим. Уже то обстоятельство, что дед идет в пекло не за душой, а за шапкой, придает рас-сказу иной, не-религиозный характер.

Изложение у Гоголя напоминает скорее народные рассказы о шабаше ведьм, о пребы-вании у чертей музыкантов, сапожников, портных и т. п. Народные рассказы подобно-го рода многочисленны; см. например: Б. Д. Гринченко. „Этнографические материалы, со-бранные в Черниговской и соседних с ней гу-берниях“, II. Чернигов, 1897, стр. 57, 58; В. Н.

Добровольский. „Смоленский этнографический сборник“, I. СПб., 1891, стр. 133–156 (три рассказа); М. П. Драгоманов. „Малорусские народные предания и рассказы“. Киев, 1876, стр. 52, 54, 393; В. В. Иванов. „Жизнь и творчество крестьян Харьковской губ.“. Харьков, 1898, стр. 408; И. Я. Рудченко. „Народные южно-русские сказки“, I. Киев, 1869, № 41; „Сборник Харьковского историко-филологического общества“, III. Харьков, 1891, стр. 166. Сюда же относится и „Гусар“ Пушкина (написанный в 1833 году).

Самое изображение „нечисти“ у Гоголя напоминает некоторые народные тексты, но Гоголь придает своим картинам более сложный литературный характер, — ср., например, В. Гнатюк. „Знадоби до галицько-руської демонології, I — „Етнографічний Збірник“, XV. Львів, 1904, № 13.

Игра деда в карты с ведьмами частично напоминает рассказы об игре солдата в карты с чертями (см., например, А. Н. Афанасьев. „Народные русские сказки“, I. М. — Л., 1936, №№ 153, 154).

Чудесный конь, полученный дедом, в на-

родных рассказах обычно оказывается затем кочергой и т. п. (ср. „Гусар“: „Не конь — а старая скамья“); у Гоголя же конь этот просто пропадает. Частично этот эпизод напоминает вторую часть белорусской сказки „Болотные паны“ (П. В. Шейн. „Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края“, II. СПб., 1893, стр. 270–271, № 130). Ср. также рассказ о том, „Як ведьма салдату падделала, што ион на липинки за тысичу верст слитаў и сваю родину пувидаў“ (Добровольский, назв. соч., I, стр. 136, № 67).

Заключительный эпизод с танцующей бабой и сном ее можно сопоставить с народными рассказами о танце против воли и о различных скачущих предметах, см., например, Гнатюк, назв. соч., I, стр. 86, № 54; Б. Д. Гринченко. „Из уст народа“. Киев, 1900, стр. 99.

Для образов запорожца и чертей Гоголь воспользовался частично материалами вертепной драмы (См. В. А. Розов. „Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Гоголя. Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 103–115, особ. 108–111. Ср. также Евгений

Марковський. „Український вертеп“, І. У Києві, 1929, стр. 19, и рисунок № 93). Особенно характерен костюм запорожца.

Весь разнообразный традиционный материал Гоголь сплавляет в одно целое и оформляет по-своему, создавая подлинное литературное произведение. Характерно в этом отношении уже вступление рассказчика (дьяка Фомы Григорьевича), выдержанное в бытовых тонах, затем подробное и красочное изображение ярмарки, описание ночлега в шинке, изображение мудрого шинкаря, описание дороги к чертям, подробности пребывания деда в пекле, подробности в изображении игры в карты, изображение визита деда к царице. Опираясь на народный материал, Гоголь вместо кратких сюжетных формул народных рассказов дает детально нарисованные картины отчасти в духе романтической литературы, отчасти уже и в духе реалистической описательной манеры юмористического характера.

Библиографическая справка

1. К. Н. Михайлов. „Вновь найденные рукописи Гоголя“ — „Исторический Вестник“ 1902, № 2 („1. Пропавшая грамота“ — вступитель-

ная статья к публикации черновой рукописи повести, стр. 604–606; стр. 607–629 — текст повести, в приложении — факсимильное воспроизведение всей рукописи).

2. И. М. Каманин. „Научные и литературные произведения Н. В. Гоголя по истории Малороссии“ — „Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца под ред. Н. П. Дашкевича“. Киев, 1902, отд. II, стр. 75-132.

3. Г. И. Чудаков. „Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам“. Киев, 1908 (ч. II, гл. 2 „Малорусские повести из простонародной жизни“, стр. 88–89).

4. В. А. Розов. „Традиционные типы малорусского театра XVII–VIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 99-169.

—

Ночь перед Рождеством

I.

Рукопись „Ночи перед Рождеством“ находится в составе гоголевской тетради *PM4* по нашему шифру (№ 3231 по инвентарю Публичной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина; по обозначению Тихонравова — *PA2*). Тетрадь эта включает в себе также рукописные тексты „Портрета“, „Невского проспекта“, „Записок сумасшедшего“ и ряда статей, вошедших в „Арабески“. „Ночь перед Рождеством“ занимает здесь листы 87-131 (основная часть текста) и 132–133 (позднейшие приписки). Положение в тетради не дает данных для датировки повести, и предельной датой работы над „Ночью перед Рождеством“ остается дата цензурного разрешения второй части „Вечеров“, то есть 31 января 1832 г.; очевидно, к концу 1831 г. или даже началу 1832 относятся позднейшие приписки (на лл. 132–133). Основной текст повести может относиться и к более раннему времени: Тихонравов по данным почерка допускал даже, что он относится к 1830 году (Соч., 10 изд., I, стр. 542). Необходимо согласиться с заключением Тихонраво-

ва, что „повесть была вписана автором в эту записную книгу ранее всех предшествующих ей набросков“, а также, что „повесть прямо вписана была в книгу, а не переписана в нее с чернового оригинала“: на это указывают первичные поправки текста, а также ряд замен на ходу письма (там же, стр. 550–551). В первичной стадии работы больших изменений не делалось. Один только небольшой эпизод (о забавах парубков и девушек, стр. 220, 25) перенесен в другое место: первоначально об этих забавах рассказывалось после сцены в хате Оксаны.

Значительно более перерабатывалась вторая часть повести (от приезда Вакулы в Петербург). Переделке в позднейших приписках на лл. 132–133 подверглась сцена приема запорожцев во дворце; причем пространная жалоба запорожцев („Помилуй, мамо“ и т. д.), а также разговор Екатерины с Фонвизиным — переписаны в этих приписках впервые.[35]

В наборный экземпляр попали некоторые случайные чтения, объясняемые, вероятно, рассеянностью переписчика. Так, например, в словах „картина намалеванная на стене цер-

ковной“ (стр. 203, 28) Гоголь зачеркнул только последнее слово и тут же написал новый вариант „на церковной стене“. Получилось: „на стене церковной стене“; в печатном тексте: „на стене церковной“. Подобный же случай в фразе „Пономарь сделал себе нанковые на лето нанковые шаровары“, в печати „нанковые на лето шаровары“ (стр. 204, 27). Считаем оба эти чтения случайными и берем в текст последний рукописный вариант.

В первоначальной характеристике Фонвизина было сказано: „устремив глаза на стоявшего подалее от других средних лет человека, с полным, но несколько бледным лицом“ и т. д. Слова „средних лет человека“ были, очевидно, пропущены при переписке; нет их и в изданиях 1832 и 1836 гг. В издании 1842 г. Прокопович добавил „господина“, и эту добавку удержали и последующие редакторы; очевидно, нужно в этом, как и в предыдущих случаях, вернуться к чтению рукописи.

Несколько сложнее следующие случаи искажения текста:

1) В эпизоде прибытия Вакулы в Петербург (стр. 232, 28) в рукописи было сначала: „когда

малейший стук копыт коня отзывается громом и отдается по несколько раз“. Затем всё это место было переделано так: „Звук колеса, копыт коня отдается с четырех сторон“. Затем это место вновь переделано, но в печати появилось с искажениями в обоих изданиях:

в *ВД1*: копыт коня, звук колеса отзываются громом и отдаются с четырех сторон

в *ВД2*: копыт коня, звук колеса отзываются громом и отдавались с четырех сторон“.

Начертание „отзываются“ указывает на то, что переделка из настоящего времени в прошедшее сделана уже в корректуре второго издания. Прокопович исправил всю фразу („стук конских копыт и колес отзывался“ и т. д.) и это же чтение удержал Тихонравов. Мы вводим конъектуру: „стук копыт коня“.

2) В конце повести переписчиком, очевидно, была пропущена приписка на полях: „Кузнец утонул, вот тебе на!“ и т. д. Пропуск этот был замечен Гоголем и восстановлен, но в несколько другом месте (выше, после реплики бабы в казацкой свитке: сначала она была после первой реплики ткачихи). Из нового ва-

рианта выпали слова „и разинул рот, чтобы не проронить ни слова“; тем самым отпал и эффект плевка в разинутый рот; появилось: „плюнула в небритую бороду“.

Как видно уже из этих примеров, при просмотре копии, а может быть и корректуры, Гоголем были внесены новые исправления. Есть они и в других местах. Поэтому мы не сочли возможным возвращаться к рукописи в ряде случаев, где с равными основаниями можно заподозреть ошибку переписчика и новую поправку Гоголя. Считаем, что пропущены переписчиком, а не исключены Гоголем в рассказе Тымиша Коростявого слова: „подоивши коров, она пришла к нему“ — слова, необходимые по смыслу контекста; слова эти мы вводим в основной текст (стр. 212, 18); восстанавливаем по рукописи „послышался стук и голос дюжего головы“ — в печатных текстах явный пропуск „послышался голос дюжего головы“ (стр. 217, 12). Дальнейшие искажения текста связаны были с вмешательством цензуры, которое может быть установлено из сличения рукописи с печатным текстом. Одна из таких купюр — шутки Вакулы,

крестящего чорта (стр. 232, 9) — была восстановлена еще Тихонравовым. На том же основании мы вводим в основной текст слова „не выпускаю хвоста“ (стр. 225, 31). Н. С. Тихонравов указал на возможность еще одного цензурного вмешательства — в тексте жалобы заповоржцев Екатерине. Не считая возможным возвращаться к рукописной редакции всей этой реплики, мы берем по рукописи фразу: „Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили?“ (считая печатный вариант цензурным искажением).

По рукописи и *ВД1* сделаны также следующие, менее значительные исправления: стр. 212, 12 „пришел как-то коровий пастух“ (*ВД2*, *П* — „пришел какой-то коровий пастух“); стр. 219, 13 „Заметно было, что он весьма не в духе“ (в *ВД1*, *ВД2*, *П* — „было“ пропущено); стр. 240, 16 „вряд ли и в другом месте где найдется“ (в *ВД2* и *П* — „где“ пропущено).

Из поправок Прокоповича принимаем только исправление явной опечатки, удержанной в отдельных изданиях „Вечеров“ (стр. 234, 2): „выше“ вместо ошибочного „ниже“.

Текст издания 1855 г. вполне соответствует

тексту издания 1842 г., за исключением двух разночтений: в первом абзаце повести (стр. 201, 10) „повалился дым“ исправлено на „повалил дым“ и несколько ниже „ни с сего, ни с того“ исправлено на „ни с того, ни с сего“ (стр. 203, 8). Поправки эти могли быть сделаны и не Гоголем, а М. Н. Лихониным или другим лицом; мы удерживаем чтения предыдущих изданий и не вводим ссылок на издание 1855 г. в варианты.

II.

„Ночь перед Рождеством“ — одна из самых сложных повестей в „Вечерах“. В ней три сюжетных линии: 1) чорт и ведьма, 2) застигнутые врасплох любовники и 3) чорт и кузнец. Сплетение этих линий дано на фоне колядования.

Как эти основные элементы повести, так и ряд деталей в изложении, находят свои аналогии в народном творчестве, но подобного сплетения их в фольклоре мы не знаем.

Колядование Гоголь описывает в подстрочном примечании в самом начале повести и затем на протяжении рассказа несколько раз попутно возвращается к изображению коля-

дующих и приводит песню „Щедрык, ведрык“. В „Книге всякой всячины“ на стр. 224 Гоголь записал: „Колядуют накануне Рождества Христова в честь хозяина дома, молодых супругов и проч. При каждом куплете повторяются слова: „святый вечер“. Щедровка перед новым годом; предметом ее — предметы священные с припевом „щедрый вечер“ (Соч., 10 изд., VII, стр. 884).

Изображение чорта и ведьмы в общем согласно с народными представлениями. Так, самая внешность чорта (он похож у Гоголя на немца, на чиновника) изображается сходными чертами и в народных рассказах, например, в сборнике Чубинского („Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной Русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским“, I. СПб., 1872, стр. 185, 188, 189; ср. еще В. Гнатюк. „Знадоби до галицько-руської демонології“, I — „Етнографічний Збірник“, XV. Львів, 1904, № 1, II — там же, XXXIII. Львів, 1912, № 13, 15, 126; „Киевская Старина“ 1890, № 4, стр. 83).

Представления о ведьмах, о их превраще-

ниях, о полетах через трубу, о снятии ими звезд с неба отмечены у Чубинского, назв. соч., I, стр. 196, 197, 198; ср. также „Киевская Старина“ 1890, № 1, стр. 8, 60; 1896, № 9, стр. 47; 1901, № 2, стр. 224–225. В своей „Книге всякой всячины“, на стр. 183, Гоголь записал: „Существует поверье, что ведьмы снимают и прячут звезды“ (Соч., 10 изд., VII, стр. 881).

Говоря о том, что чорту осталось погулять последнюю ночь (накануне Рождества), Гоголь также опирается на народную традицию — см. „Киевская Старина“ 1896, № 1, стр. 5–6.

Найдем в фольклоре и изображение того, как чорт через печную трубу влетает к ведьме на любовное свидание — см. „Киевская Старина“ 1889, № 9, 398.

Мимоходом, говоря о радости чорта, поймавшего Вакулу, Гоголь упоминает о хромом чорте: „как будет беситься хромой чорт, считавшийся между ними первым на выдумки“. Это представление о хромом чорте, как о самом хитром из чертей, свойственно народной словесности. В заметке 1831 г. „Хромой чорт“ Гоголь говорит: „Малороссияне той веры, что

[в пекле] в аде хитрее всех и умнее хромой [крывый] чорт“ (Соч., 10 изд., VI, стр. 2).

Образ чорта у Гоголя соответствует также и образу его в вертепной драме (В. А. Розов. „Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Гоголя. Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 124, ср. стр. 115–124).

Изображение Солохи у Гоголя также более или менее соответствует образу вертепной бабы; [36] это изображение напоминает также народную песню о красавице, на которую на улице и в церкви все заглядываются. [37]

Рассказ о любовниках, спрятанных в мешки, по своему характеру близок к многочисленным народным анекдотам о попе, дьяконе и дьячке и т. п., посещающих жену мужика (см. Н. П. Андреев „Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне“. Л., 1929, стр. 102, № 1730). В украинских сборниках отметим следующие тексты подобного содержания: Б. Д. Гринченко. „Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях“, II. Чернигов, 1897, № 109; М. П. Драгоманов. „Малорусские народные преда-

ния и рассказы“. Киев, 1876, № 49 (стр. 155–160), № 50 (стр. 160–162); В. Лесевич. „Оповідання Р. Ф. Чмихала“. Львів, 1903, № 58; М. Левченко. „Казки та оповідання з Поділля“. У Києві, 1928, №№ 211, 212; И. И. Манжура. „Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ.“ Харьков, 1890, стр. 93–94; О. Роздольський. „Галицькі народні новелі“ — „Етнографічний Збірник“, VIII. Львів, 1900, № 7. Рассказы эти, очень живые и яркие, относятся к числу наиболее острых антипоповских анекдотов.

Воспользовавшись этим анекдотом, Гоголь, как и в других случаях, осложнил его литературными реминисценциями. Осложнено и оживлено изложение Гоголя и внесением ряда новых комических деталей; так, в одном из мешков оказывается два соперника (дьяк и Чуб), мешки попадают в руки дивчат и парубков и т. д.

История чорта и кузнеца у Гоголя сама по себе сплетена из нескольких отдельных мотивов, не комбинирующихся в таком виде в народных рассказах.

Чорт является врагом кузнеца и хочет ото-

мстить ему; одной из причин этой вражды являются рисунки кузнеца, обидные для чорта. Аналогичный рассказ записал В. Н. Перетц („Деревня Будогоща и ее предания“ — „Живая Старина“ 1894, № 1, стр. 12–13).

Сходные рассказы, но обычно без такой четкой мотивировки вражды чорта к кузнецу: баллада Л. Боровиковского „Кузнец“ („Отечественные Записки“ 1840, № 2, стр. 42–51); Гнатюк, назв. соч., I, № 17; Савва-Сулхан Орбелиани. „Книга мудрости и лжи“, СПб., 1878, стр. 84, № 75; П. В. Шейн. „Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края“, II. СПб., 1893, стр. 144. О демонологических мотивах, связанных с кузнецами, см. также статью Вас. Гипшиуса „Коваль Кузьма-Демьян у фольклорі“ — „Етнографічний Вісник“ 1929, № 8 (здесь и ссылки на литературу).

Изображение знахаря Пацюка лишь в общих чертах напоминает народные представления о колдунах (см., например, Гнатюк, назв. соч., I, стр. 199–251, №№ 317–371); более близкие и конкретные соответствия нам неизвестны. Повидимому, фигура Пацюка яв-

ляется созданием самого Гоголя.

Договор с чортом о продаже души (см. комментарии к „Пропавшей грамоте“*) широко распространен в устной традиции (откуда проник и в литературу — вспомним легенды о Теофиле, о Фаусте, о Твардовском).

Сцена с одураченным чортом, быть может, восходит к одной из вертепных сцен: два чорта садятся на спину заснувшему казаку и хотят задушить его; казак ловит одного из чертей за хвост и заставляет плясать (В. А. Розов, назв. соч., стр. 109).

Наконец, поездка Вакулы верхом на чорте в Петербург и обратно в течение одной ночи восходит к легендарному сказанию, известному и в житийной литературе (легенды об Антонии Римлянине и об Иоанне Новгородском) и в устной традиции: заключенный в какой-либо сосуд (рукомойник и т. п.) чорт в одну ночь везет на себе святого в Иерусалим и т. п. (см. Н. П. Андреев. „Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне“. Л., 1929, стр. 59, № 841, I. Ср. также Б. Д. Гринченко. „Из уст народа“. Киев, 1900, № 133 — только рассказ о бесе, закрещенном в кувшинчике). Аналогич-

ную легенду предполагал использовать Пушкин в своей лицейской поэме „Монах“, придав легендарному сюжету „вольный“ характер.

Гоголь также заменяет чисто легендарное, житийное изложение реалистически-юмористическим и придает рассказу новый характер: нигде в народных и в старинных литературных легендах путешествия за черевичками мы не найдем. Этот эпизод позволил Гоголю дать изображение депутации запорожцев у Екатерины; тем самым и Вакула связывается, между прочим, с традиционными запорожцами.

Исторический фон, едва намеченный в других повестях „Вечеров“ беглыми упоминаниями о популярных деятелях и событиях, дан в „Ночи перед Рождеством“ с гораздо большей определенностью и конкретизован в эпизоде посещения кузнецом дворца Екатерины II. Источники, которыми пользовался Гоголь в разработке этого эпизода, построенного в манере Вальтер-Скотта,[38] восходят, вероятно, к устной традиции: содержащиеся в речах запорожцев намеки касаются истори-

ческих событий, памятных современникам писателя. „Напасти“, на которые жалуются делегаты (постройка крепостей, проекты ликвидации запорожского войска с заменой его регулярными „карабинерными полками“), характеризовали общую политику самодержавия, направленную к национальному угнетению украинцев. Слухи о „новых напастях“, касались, конечно, плана уничтожения Запорожской Сечи, приведенного в исполнение в 1775 г. Протестуя против национального угнетения, делегаты, а вместе с ними и автор, указывали на верность запорожского войска государственным интересам России, — имелось в виду участие в турецких войнах, завершившихся покорением Крыма (1774 г.).

Библиографическая справка

1. Н. С. *Тихонравов*. „Ночь перед Рождеством“ (комментарий в „Сочинениях Н. В. Гоголя. Издание десятое“, т. I. М., 1889, стр. 542–555).

2. В. А. *Розов*. „Традиционные типы мало-русского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Н. В. Гоголя. Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 99–

Страшная месть

I.

В гоголевской литературе отсутствуют какие бы то ни было сведения или соображения к датировке работы писателя над повестью „Страшная месть“. Возможно, что работа эта относится к лету — началу осени 1831 года. Лето 1831 года Гоголь прожил в Павловске, неоднократно навещая Пушкина и Жуковского, живших в Царском Селе; в другом месте (комментарий к отрывкам из романа „Гетьман“, см. т. III настоящего издания) высказано предположение, что к этому времени относится первое знакомство Гоголя с „Историей Русов“, рукописью которой обладал Пушкин; следы беглого знакомства с „Историей Русов“ можно обнаружить в „Страшной мести“. Любопытно, что первые главы повести Гоголя лишены каких бы то ни было определенных исторических черт; единственное конкретно-историческое упоминание о битве казаков с поляками при Перешляе-поле явно принадлежит творческому вымыслу самого

Гоголя. Зато в главе VIII упоминание о подготовке нашествия поляков на „народ украинский“ несомненно навеяно чтением „Истории Русов“, равно как и размышления пана Данила в главе IX.

В первом издании „Вечеров“ „Страшная месть“ снабжена подзаголовком, снятым в последующих перепечатках: „Старинная быль“.

В основном тексте настоящего издания сделаны следующие исправления: стр. 245, 20 „хватая на руки детей“ — по ВД1; ВД2, П — „хватая за руки детей“; стр. 252, 18 „душа лукавой гадины“ — в ВД1, ВД2, П явная опечатка: „дума лукавой гадины“; стр. 253, 14 „не верь сну“ — по П; в ВД1 опечатка: „не верь ему“, неудачно выправленная в ВД2 на „не верь ему“; стр. 259, 24 „недвижно остановилась“ — по ВД1; ВД2, П — „неподвижно остановилась“; стр. 264, 31 „чокают шпоры“ — по ВД1; ВД2, П — „чокаются шпоры“; стр. 268, 24 „стклянных вод“ — по ВД1; ВД2, П — „стеклянных вод“; стр. 269, 38 „страшно было глянуть“ — по ВД1; ВД2, П — „страшно было глядеть“; стр. 270, 15 „так же неподвижно глядела“ — по ВД1 и П; ВД2 — „так же глядела“; стр.

272, 12 „Как стекло“ — по ВД1; ВД2, П — „Как стекло“; стр. 276, 26 „святой схимник“ — по ВД1; ВД2, П — „святой схимник“ (аналогичные поправки стр. 276, 33 и 277, 9); 280, 18 „По над самым провалом“ — по ВД1; в ВД2 — „Но над самым провалом“ — опечатка, узаконенная позднейшими редакторами.

II.

В украинском фольклоре не существует сказочного сюжета, аналогичного сюжету „Страшной мести“. Следует вообще отметить, что в художественной работе Гоголь обращался вполне вольно с фольклорными сюжетными построениями. Вместо художественной передачи традиционного сюжета, он стремится к созданию сюжетов собственного изобретения, хотя и снизанных из ряда фольклорных мотивов, но объединенных и видоизмененных согласно своим требованиям.

Таким образом и в „Страшной мести“ исследователь должен искать отражения не столько одного, основного фольклорного сюжета, сколько ряда отдельных мотивов. Едва ли не придуман писателем основной мотив

„Страшной мести“, о котором рассказывает слепой бандурист: в украинском фольклоре мотив побратимства почти не встречается, неизвестны также и параллели к думе о двух казаках; Н. И. Петров, правда, отмечает „подобный рассказ“ под названием „Живая могила“, но не указывает, что рассказ этот позднейшего происхождения и носит явные следы впечатлений, оставленных чтением „Страшной мести“ („Киевская Старина“ 1888, № 10, стр. 70 и сл.; ср. Н. И. Петров. „Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя“ — „Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца, под ред. Н. П. Дашкевича“. Киев, 1902, отд. II, стр. 67–68).

Более близок к фольклору другой центральный мотив повести — мотив „великого грешника“, заведомо интересовавший Гоголя и известный ему: в другом варианте мотив этот разработан в страшном рассказе о жестоком пане, повесившем праведного дьякона на закланной сосне („Глава из исторического романа“, отнесенная самим Гоголем к неосуществленному замыслу „Гетьмана“, см. ком-

ментарий к „Гетьману“ в т. III настоящего издания). Но и в данном случае фольклорному мотиву дано Гоголем оригинальное разрешение: в фольклоре великий грешник получает, в конце концов, прощение; колдун „Страшной мести“, „злодей, какого еще и не бывало на свете“, предатель своей родины, гибнет страшной смертью, обрекается на вечную муку во исполнение проклятия, наложенного на весь род иуды Петра самим богом.

Близко к фольклору разработан следующий мотив повести — о противоестественной страсти отца к дочери (ср. например, М. Драгоманов. „Малорусские народные предания и рассказы“. Киев, 1876, стр. 304; Е. Романов. „Белорусский сборник“, I. Витебск, 1887, стр. 63), который в отдельных вариантах имеет такую же трагическую развязку, заканчивается убийством дочери (А. Н. Афанасьев. „Народные русские сказки“, III, Л., 1939, № 339; ср. также II, №№ 290–291). Фольклорными источниками навеяна также ужасная сцена мертвецов, встающих из могил (П. Кулиш. „Записки о Южной Руси“, II. СПб., 1856, стр. 69; Б. Д. Гринченко. „Из уст народа“. Киев, 1900, стр.

132, 134, 138), но мотивировка этой сцены принадлежит собственно гоголевскому воображению; ср. сходную сцену в „Ганце Кюхельгартене“, картина XI. Ряд фольклорных параллелей имеет, наконец, мотив освобождения узника кем-нибудь из родственников лица, заточившего его, и без ведома последнего (см. А. Н. Афанасьев, назв. соч., I, №№ 123–126; II, № 240; П. В. Шейн. „Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края“, II. СПб., 1893, стр. 53); в отдельных сказках таким образом освобождается лучший мужик („Королевич и его дядька“ у Афанасьева), мужик с железными руками („Иван царевич“, там же), чудо-юдо (у Шейна), то есть сверхъестественные существа, легко поддающиеся сближению с колдуном „Страшной мести“.

Стилистические особенности „Страшной мести“ всего более носят следы влияния фольклора и особенно фольклора украинского. Не говоря уже о думе, сочиненной Гоголем, о причитаниях, о песнях, написанных в подражание украинским народным песням, — вся повесть пересыпана фольклорными обра-

зами, сравнениями, эпитетами; самый ритмический строй отдельных мест „Страшной мести“ близко напоминает украинские думы (ср., например, описание бури на Днестре в известном начале X главы с думой „Буря на Черном море“).

В поисках „разгадки“ повести, стоящей по своему стилю особняком в творчестве Гоголя, исследователи неоднократно усматривали в ней попытку усвоить на украинском историко-фольклорном материале демонические образы и построения немецкого романтизма, в частности Л. Тика. Неоднократно отмечалась сюжетная близость „Страшной мести“ и повести Тика „Пьетро Апоне“, появившейся в русском переводе незадолго перед тем („Московский Вестник“ 1828, № 1–8), и вероятно известной Гоголю.[39] Однако связь „Страшной мести“ с романтической литературой была менее значительна, чем связь ее с украинским фольклором, сказавшаяся и в основной теме — борьбе с Польшей за народную свободу, и в основных образах (народный герой — Данило Бурульбаш, злодей-изменник, несчастная Катерина), и во всем лирико-эпическом

стиле повести. „Страшной мезтью“ раскрывались в творчестве Гоголя новые возможности, на основе которых выросла героическая эпопея — „Тарас Бульба“.

Библиографическая справка

1. В. И. Шенрок. „Материалы для биографии Гоголя“, т. II. М., 1893 (гл. „Повесть «Страшная мезть» и ее отношение к повестям, вошедшим в «Миргород»“, стр. 54–68).

2. И. М. Каманин. „Научные и литературные произведения Н. В. Гоголя по истории Малороссии“ — „Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца, под ред. Н. П. Дашкевича“. Киев, 1902, отд. II, стр. 75-132.

3. А. К. и Ю. Ф. „Страшная мезть“ Гоголя и повесть Тика „Пьетро Апоне“ — „Русская Старина“ 1902, № 3, стр. 641–647.

4. Г. И. Чудаков. „Отношение творчества Н. В. Гоголя к западно-европейским литературам“. Киев, 1908 (ч. II, гл. 2 „Малорусские повести из простонародной жизни“, стр. 85–88).

5. В. А. Розов. „Традиционные типы малорусского театра XVII–XVIII вв. и юношеские повести Н. В. Гоголя“ — „Памяти Н. В. Гоголя.“

Сборник речей и статей“. Киев, 1911, стр. 99-169.

6. В. Н. *Державин*. „Фантастика в «Страшной мести» Гоголя“ — „Наукові записки Харківської науково-дослідчої катедри українознавства“ 1927, т. VI, стр. 329–338.

7. *Anatol Dauenhauer*. „Gogol's «Schreckliche Rache» und «Pietro von Abano» von L. Tieck“ — „Zeitschrift für slavische Philologie“ 1936, Bd. XIII, Doppelheft 3/4, S. 315–318.



Иван Федорович Шпонька и его тетушка

I.

Впервые напечатанная в 1832 г. во второй книжке „Вечеров на хуторе близ Диканьки“, повесть „Иван Федорович Шпонька и его тетушка“ была без существенных изменений воспроизведена во втором издании „Вечеров“ и в первом томе „Сочинений“ изд. 1842 г. (в издании Трушковского 1855 г. листы повести Гоголем просмотрены не были). Рукопись повести неизвестна. Изменения, внесенные в текст во втором издании „Вечеров“, незначительны и малочисленны. Из них наиболее су-

щественна замена во втором издании слов: „лицо изузоренное оспою“ на „лицо изукрашенное оспою“, „узнать“ на „спросить“, „полагали“ на „думали“ и т. п. В издании „Сочинений“ 1842 г. „Шпонька“ подвергся такой же стилистической правке Прокоповича, как и остальные повести.

При воспроизведении в настоящем томе по второму изданию „Вечеров“ в текст повести внесены отдельные поправки по первому изданию — в тех случаях, когда разночтения между ними можно объяснить случайным пропуском или опечаткой. Так, вводится из первого издания фраза „Все вышли в столовую“ (стр. 299, 13), необходимая по всему контексту повести, и оборот „следует-с“ вместо „следует“ во втором издании (стр. 297, 33), поскольку он подтверждается началом разговора. В реплике Ивана Ивановича „Что это за дыни“ восстановлено „это“, очевидно случайно пропущенное в *ВД2* и *П* (стр. 299, 8); восстанавливается также по *ВД1* „капот с мелкими оборками“ — в *ВД2* и *П* — „капот с мелкими сборками“ (стр. 293, 34). Сложнее следующее исправление в конце второй главы. Фразу

„посмотрите, какой я прекрасный молодой человек“ Гоголь в *ВД2* дополнил: „посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человек“ — при этом выпал, очевидно случайно, необходимый по смыслу эпитет „прекрасный“. Восстанавливаем этот пропуск по *ВД1*, давая первую часть фразы в позднейшей редакции (стр. 292, 33).

Из издания „Сочинений“ 1842 г. нами внесено в текст несколько поправок, устраняющих несомненные опечатки или незамеченные самим Гоголем грамматические и смысловые погрешности, лишённые стилистического значения. Так, например, „степь ~ горит цветами“, вместо „степь ~ говорит цветами“ — единственно возможное чтение, опирающееся на весь смысл контекста (стр. 294, 30). Исправляем, наконец, следуя Н. С. Тихонравову, явную опечатку *ВД1*, *ВД2* и *П* „сделавшись поручиком“ на требуемое контекстом „сделавшись подпоручиком“ (стр. 287, 12).

„Иван Федорович Шпонька и его тетушка“ по своему реалистическому характеру, уже во многом близкому к наиболее зрелым произ-

ведениям Гоголя („Женитьба“, „Мертвые души“), стоит особняком среди остальных повестей „Вечеров на хуторе близ Диканьки“. Это обстоятельство позволяет утверждать, что написана она могла быть позже всего цикла украинских повестей, уже в то время, когда Гоголь в известной мере преодолел свои романтические увлечения фантастическими сюжетами и обратился к реалистическому изображению украинского быта в повестях „Миргорода“ (в „Старосветских помещиках“, „Повести о том, как поссорился...“). Поэтому наиболее вероятным временем написания „Шпоньки“ можно считать конец 1831 года (31 января 1832 г. датировано цензурное разрешение второй части „Вечеров“).

II.

Самобытность и реалистическая сила повести „Иван Федорович Шпонька и его тетушка“ не только выделяют ее на фоне остальных повестей „Вечеров“, но и делают ее исключительно заметной и важной для дальнейшего творческого развития Гоголя, для генезиса его зрелых реалистических произведений.

В. Шенрок и идущие за ним исследователи

ли, сопоставляя более поздние произведения Гоголя с образами и типами, намеченными в „Шпоньке“, находили между ними ряд аналогий.

Отмечалось, что Сторченко послужил вероятным прототипом отчасти для Петуха, отчасти для Собакевича, что описание пехотного полка Шпоньки в дальнейшем развито в „Коляске“, что сам Шпонька и его отношение к Марье Гавриловне во многом подготовляют Подколесина в „Женитьбе“, наконец, что описание школы напоминает детство Чичикова. Но дело не только в этих аналогиях, но и в том реализме и уверенном мастерстве письма, которые не находят аналогий и precedентов ни в предшествующей, ни в современной Гоголю русской литературе. Следует назвать лишь роман А. Погорельского „Монастырка“ (первая часть которого вышла в 1830 г.), показывающий яркую картину жизни украинского провинциального дворянства. В частности, в романе Погорельского дан уже образ хозяйственной, по-мужски деловитой тетушки Анны Андреевны и хитрого, скупого и наглого опекуна Дюндика, во многом напоминающий

гоголевского Сторченку (здесь же встречается и отчество Кашпоровна).

Незаконченность повести Гоголя, ее интригующее читателя предисловие и скрытая ирония автора — заставляют вспомнить Л. Стерна, в особенности его „Сентиментальное путешествие“, хорошо известное к этому времени русскому читателю в переводах.[40] Для русской прозы 20-х и начала 30-х гг. „стернианство“, понятое в значительной мере как формально-композиционная манера, было явлением широко распространенным — см. „Поездку в Ревель“ А. Бестужева-Марлинского (СПб., 1821), роман Якова де-Санглена „Жизнь и мнения нового Тристрама“ (М., 1825–1829), А. Ф. Вельтмана „Странник“ (М., 1831), выражавшие это широкое увлечение Стерном и „стернианством“. Следует отметить, что в повести О. Сенковского „Потерянная для света повесть“, появившейся в 1834 г., уже пародируется это русское „стернианство“ и в частности умышленная незаконченность „Шпоньки“ Гоголя. Пародия Сенковского подтверждает, что современниками незаконченность повести Гоголя рассматривалась как сознатель-

ный художественный прием. В плане „стернианских“ традиций может быть объяснено и предисловие Гоголя, иронически мотивирующее якобы случайную незаконченность повести утратой конца рукописи. Можно также указать и на известную перекличку в наименованиях глав у Гоголя — „Дорога“, „Тетушка“, „Обед“ — с „Сентиментальным путешествием“ Стерна: „На улице“, „Муж“, „Ужин“ и т. п. Но лишь этими внешними композиционными приемами, по существу, и ограничивается сходство „Шпоньки“ с произведениями Стерна.

Библиографическая справка

М. Храпченко. „Н. В. Гоголь“, М., 1936 (гл. IV „Правда жизни и романтика прошлого“, стр. 58–60).

Заколдованное место

I.

Повесть „Заколдованное место“, напечатанная впервые в 1832 г. во второй книжке „Вечеров на хуторе близ Диканьки“, была воспроизведена без существенных изменений во втором издании „Вечеров“ и в первом томе „Сочинений“ 1842 г. (в издании Трушковского 1855 г. листы, содержавшие повесть, Гоголем просмотрены не были).

Отсутствие рукописи и каких-либо упоминаний в переписке о „Заколдованном месте“ не дает возможности точно датировать работу Гоголя над повестью. В специальной литературе также не высказывалось никаких соображений по этому поводу. Однако опираясь на то, что „Заколдованное место“ снабжено тем же подзаголовком „Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви“, которым помечены „Вечер накануне Ивана Купала“ и „Пропавшая грамота“, и изложено в той же манере сказа, можно выдвинуть предположение, что эта вещь, так же как и две другие, принадлежит к группе ранних повестей „Вечеров“ и написана в 1829–1830 гг.: вокруг образа дьячка

ка-рассказчика предполагалась, повидимому, в начальном замысле циклизация сборника, естественно поэтому допущение, что все три связанные с именем Фомы Григорьевича вещи относятся к близкому времени.

II.

В повести „Заколдованное место“ сплетаются два основных мотива: добывание клада и действия чертей в „обманных“ („обморочных“, „заколдованных“) местах.

„Обманные“ или „обморочные“ (от слова „морочить“) места довольно широко известны в народной традиции. Ряд рассказов о них сообщает В. Милорадович в статье „Этнографический элемент в повести Гоголя «Заколдованное место»“ („Киевская Старина“ 1897, № 9, стр. 55–60). Сюда же относится первая часть белорусского рассказа „Болотные паны“, указанного выше в связи с „Пропавшей грамотой“ (П. В. Шейн. „Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края“, II. СПб., 1893, стр. 270, № 130).

Можно в этой связи отметить также весь отдел „Страхи“ в сборнике В. Гнатюка — „Знадоби до галицько-руської демонольоґії“ (т. I —

„Етнографічний Збірник“, XV. Львів, 1904, стр. 18–95, №№ 23-170 и т. II — там же, XXXIII, Львів, 1912, стр. 71-154, №№ 142–397). Например, блуждания деда напоминает рассказ „Страх у пасіци“ (№ 121).

Наконец, сюда же относятся отмеченные выше (см. „Пропавшая грамота“) рассказы о музыкантах и т. п. у чертей (см., например, В. Гнатюк, назв. соч., I, №№ 13, 14, II, №№ 30, 112–115; М. Левченко. „Казки та оповідання з Поділля“. У Києві, 1928, №№ 60, 61; „Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, снаряженной Русским Географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским“, I. СПб., 1872, стр. 186, 187, 190).

У Гоголя „обморочное“ или „заколдованное“ место связано с отыскиванием кладов. Рассказы о кладах и о трудностях их добывания см., например, в сборнике Садовникова. Характерны некоторые детали в рассказе, помещенном здесь под № 112 н. (Д. Н. Садовников. „Сказки и предания Самарского края“. СПб, 1884, стр. 364–365).

Нет сомнения в том, что подобные расска-

зы были широко распространены. Представления о „страхах“ при добывании кладов и легли в основу повести Гоголя. В частности, в народных рассказах имеются и указания на свечку над кладом, обозначающую место клада (см., например, Б. Д. Гринченко. „Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях“, П. Чернигов, 1897, стр. 141; М. П. Драгоманов. „Малорусские народные предания и рассказы“. Киев, 1876, стр. 79). Сюда же присоединяется у Гоголя мотив призрачности „нечистого“ богатства: клад превращается в сор (в иной, более серьезной трактовке мотив этот дан в повести „Вечер накануне Ивана Купала“). Подобный мотив часто встречается в народных рассказах о музыкантах и т. п. у чертей (см. выше, ср. еще Гнатюк, назв. соч., II, № 111: человек получает от чорта деньги, деньги эти превращаются в черепки). В рассказе о том, как повитуха приняла детей у чертовки-лягушки (Гнатюк, назв. соч., I, № 12) видим обратный мотив: черепки превращаются в золото.

Таким образом, повесть „Заколдованное место“, как и другие повести „Вечеров“, опи-

рается на традиционные фольклорные мотивы. Но и в этой повести, как и в других, Гоголь не воспроизводит в точности фольклорный материал, а создает свое собственное произведение. Для „Заколдованного места“ особенно характерен юмористический тон изложения. Фантастические элементы вставлены в бытовую реалистическую рамку, автор вводит множество бытовых деталей комического характера и самой речи придает сугубо-жизненный разговорный характер.

Библиографическая справка

В. Милорадович. „Этнографический элемент в повести Гоголя «Заколдованное место»“ — „Киевская Старина“ 1897, № 9, стр. 55–60.

Иллюстрации

1. Н. В. Гоголь. Портрет А. А. Иванова, 1841 г. (масло). Русский Музей (Ленинград)
2. „Сорочинская ярмарка“, начало гл. I. Рукопись Публичной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина (Москва), л. 1
3. „Майская ночь, или утопленница“, начало гл. II „Голова“. Рукопись Публичной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина (Москва), л. 10 об.
4. „Пропавшая грамота“, заключительные строки. Рукопись Института литературы Академии Наук СССР (Ленинград), л. 4 об.
5. „Ночь перед Рождеством“, приписки черновой редакции. Рукопись Публичной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина (Москва), л. 133

Выходные данные

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Н. Л. МЕЩЕРЯКОВ
РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЯ

В. В. ГИППИУС (зам. главного редактора), В.
А. ДЕСНИЦКИЙ, В. Я. КИРПОТИН, Н. Л. МЕЩЕ-
РЯКОВ, Н. К. ПИКСАНОВ, Б. М. ЭЙХЕНБАУМ
РЕДАКТОР I ТОМА М. К. КЛЕМАН

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ПЕРВОГО ТОМА

„Ганц Кюхельгартен“ — П. Т. Щипунов
(комментарий — М. К. Клеман и А. И. Белец-
кий).

„Вечера на хуторе близ Диканьки“.
Введение к комментариям — М. К. Клеман
и Н. К. Пиксанов.

„Сорочинская ярмарка“, „Майская ночь,
или утопленница“, „Страшная месть“ и При-
ложения — И. Я. Айзеншток (историко-лите-
ратурный комментарий к „Майской ночи“ —
Г. С. Виноградов).

„Вечер накануне Ивана Купала“, „Пропав-
шая грамота“ и „Иван Федорович Шпонька и
его тетушка“ — Н. Л. Степанов (ист. — лит.

комментарий к „Вечеру накануне Ивана Купала“ — Г. С. Виноградов, к „Пропавшей грамоте“ — Н. П. Андреев).

„Ночь перед Рождеством“ — В. В. Гишпиус и М. К. Клеман (ист. — лит. комментарий — Н. П. Андреев).

„Заколдованное место“ — Н. П. Андреев.

Переплет, титул и контр-титул, графические украшения издания и силуэт Н. В. Гоголя на форзаце художника Н. В. ИЛЬИНА

Художественная редакция И. И. ЛАЗАРЕВСКОГО

Редактор издательства М. А. АФАНАСЬЕВ

Техническая редакция О. Н. ПЕРСИЯНИНОВОЙ

Корректурa В. Г. БОГОСЛОВСКОГО

Сдано в набор 2/1 1939 г. Подписано к печати 25/VI 1939 г. А-789.

Тираж 15175 экз. Объем 34¼ п. л. и 5 вкл. эк. В 1 печ. листе 36000 тип. зн.

Учетно-издат. л. 29,26. АНИ № 1292. Бумага 60×92 в 1/16 долю листа.

Заказ № 1275.

Набрано и сматрицировано в 1-й Образцовой типографии Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига».

Москва, Валовая, 28.

Отпечатано с матриц на 3-й фабрике книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига».

Москва, Краснопролетарская, 16.

Примечания

Вас. Гиппиус. Н. В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М. 1931, стр. 249.

[^^^]

См. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 15 июля 1851 г.: „Прежде хотел было вместить некоторые прибавления и перемены, но теперь не хочу“. Не вполне впрочем ясно, относилось ли это намерение ко всем томам, или только к намеченному пятому. Сообщение О. М. Бодянского, что Гоголь предполагал исключить „Вечера на хуторе“ — фактами не подтверждается.

[^^^]

По словам Гоголя: „Здесьные бабы-цензора отказываются даже и от напечатанных книг, особливо если они цензурованы петербургским цензором“ (Письмо Плетневу от 15 июля 1851 г.). В издании Шенрока эта фраза была искажена и обесмыслена (напечатано: „если они *не* цензурованы“).

[^^^]

Не вполне ясно, был ли Лихонин тем самым корректором, о котором упоминается в воспоминаниях В. С. Аксаковой, — работу которого Гоголь оплачивал по 100 руб. за том.

[^^^]

5

Подробности см. в комментариях к этим произведениям.

[^^^]

6

В нашем издании (см. т. VIII) оно печатается под заглавием, указанным Гоголем: „Искусство есть примирение с жизнью“.

[^^^]

Раньше других вышел в свет пятый том, затем первый, четвертый, третий и, наконец, второй. О работе Н. С. Тихонравова над изданием см. статью В. И. Шенрока „Н. С. Тихонравов как издатель сочинений Гоголя“ (в сборнике „Памяти Н. С. Тихонравова“, М. 1894).

[^^^]

Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя под
ред. Н. И. Коробки, т. I.

[^^^]

Из 6-го тома при жизни Тихонравова отпечатано было 20 листов. Варианты составлены им к „Непогоде“, „Хромому чорту“, статье „О поэзии Козлова“ и ранним редакциям „Женитьбы“. Из примечаний — написана статья о тексте „Ревизора“. Всё остальное сделано Шенроком. Из 7-го тома при жизни Тихонравова отпечатаны две первых полных редакции „Мертвых душ“, но набор не был сохранен и, как писал Шенрок, „вся работа должна была повториться вновь“.

[^^^]

Издание Брокгауза-Ефрона под ред. В. В. Калаша 1915 г. включало в свой состав лишь избранные письма (в тт. 9-10); гоголевские статьи и заметки также были представлены в нем не с исчерпывающей полнотой.

[^^^]

Во *втором* томе настоящего издания, подготовленном раньше других, применен был иной способ подачи вариантов, в том числе и подстрочных. Способ этот оговорен в особой вкладке ко второму тому. В процессе работы выяснились недостатки этого способа, и он был заменен другим, последовательно проведенным во всех остальных томах издания.

[^^^]

В 1884 г. библиограф Пономарев, имея в руках нежинский школьный журнал „Метеор литературы“, несомненно заключавший и гоголевские произведения, не счел нужным опубликовать его, в наивной уверенности, что „реторические вещи в духе Марлинского“ Гоголю принадлежать не могут (см. „Киевская Старина“ 1884, № 5).

[^^^]

Опыт итальянской повести „Рим“ в общем не удался Гоголю, а в самой этой повести наиболее удачны бытовые сцены из римской жизни и ряд эпизодических характеров, в изображении которых мастерство Гоголя-юмориста достигает большой высоты.

[^^^]

Слова эти приводит С. Т. Аксаков в письме к И. С. Аксакову от 10 января 1850 г. (Н. В. Гоголь „Материалы и исследования“ I, с. 184), но они характеризуют работу Гоголя и в более ранние периоды его творчества. С. Т. Аксаков писал там же: „Он прибавил, что трудно это объяснить, и что только живописец понимает, что такое значит *тронуть* в последний раз картину, что после этого ее не узнаешь“.

[^^^]

Н. В. Берг записал советы Гоголя — к каждому произведению непременно возвращаться несколько раз (Гоголь будто бы советовал до *восьми* раз), с промежутками, во время которых нужно „путешествовать, развлекаться, не делать ничего или хоть писать другое“. („Русская Старина“ 1872, № 1, стр. 125).

[^^^]

Сочинения В. И. Ленина, 3-е изд., т. XVII, стр. 341.

[^^^]

Соч. В. И. Ленина, т. XVI, стр. 132.

[^^^]

См. М. В. Нечкина. Гоголь у Ленина. „Н. В. Гоголь. Материалы и исследования“, в. II и отд. изд.

[^^^]

Т. е. лгать.

[^^^]

Т. е. солгать на исповеди.

[^^^]

Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, отчего приключился он; бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного; после чего и весь испуг проходит. Заваривают соняшницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного; потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды.

[^^^]

Т. е. в дурачки.

[^^^]

Не имеется.

[^^^]

Смотри! смотри! мать, как сумасшедшая, ска-
чет!

[^^^]

Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома, колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж, если сказать правду, то в колядках и слова нет про коляду. Поют часто про рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому.

[^^^]

Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — всё немец.

[^^^]

Далее было но ровно

[^^^]

Написано ГОЛОБЧИК

[^^^]

Рецензия подписана одной буквой В, но после убедительных соображений В. В. Каллаша („Литературный Вестник“ 1902, № 1, стр. 5–9) автором ее следует признать В. А. Ушакова.

[^^^]

Статья подписана „Никита Луговой“; принадлежность ее О. М. Сомову устанавливается из его собственных показаний — „Русский Архив“ 1908, кн. 10, стр. 265–266.

[^^^]

В дальнейших случаях, когда тексты трех начальных источников совпадают, их шифры опускаются.

[^^^]

Сам Гоголь отмечал свои фольклорные источники весьма общо и неточно: „Из старинной легенды“ (I), „Малороссийская песня“ (V), „Из простонародной сказки“ (IX), „Пословица“ (XI), „Свадебная песня“ (XIII). В действительности, первый эпиграф является обработкой (либо вольной записью по памяти) народной песни, третий эпиграф также книжного происхождения.

[^^^]

„Простак или хитрость женщины, перехитренная солдатом“ — „Основа“ 1862, № 2.

[^^^]

Совершенно необоснованно предположение Г. П. Георгиевского („Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя“, III. СПб., 1909, стр. 59) о существовании еще одной какой-то посредствующей редакции между черновой рукописью и текстом *ВД1*.

[^^^]

На стр. 86 об. (то есть непосредственно перед текстом повести) набросан столбцом следующий список отдельных слов: [кобеняк], черевики, кожух, кобеняк, видлога, гаман, [мешки], паляница, скрыня, швецъ, намитка, шибеник.

[^^^]

Евген Марковський. „Український вертеп“, I. У Києві, 1929, стр. 17–18 и фигура № 7, 4. Н. И. Петров указывает, между прочим, на особое значение того факта, что Солоха — вдова кузнеца, так как кузнецы нередко водятся с нечистой силой; нам кажется, что это обстоятельство особого значения не имеет (Н. И. Петров. „Южно-русский народный элемент в ранних произведениях Гоголя“ — „Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим обществом Нестора-летописца, под ред. Н. П. Дашкевича“. Киев, 1902, отд. II, стр. 65).

[^^^]

П. В. Шейн. „Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.“, I. СПб., 1900, стр. 176, № 677; стр. 150, № 587.

[^^^]

Характерна в этом отношении одна частности: по примеру шотландского романиста, обычно выводившего в свите государя кого-либо из знаменитых ученых или писателей, Гоголь обрисовал в толпе придворных Екатерины II, не называя его по имени, Д. И. Фонвизина.

[^^^]

В статье Стендер-Петерсена „Gogol und die deutsche Romantik“ („Euphorion, Zeitschrift für Literaturgeschichte“ 1922, Bd. XXIV, H. 3, S. 628–653) приводятся параллели к „Страшной мести“ из драмы Тика „Karl von Bernneck“ (тема проклятия рода) и из новеллы Гофмана „Ignaz Denner“. Следует, однако, учесть, что оба эти произведения не появлялись в русских переводах и вряд ли были известны Гоголю.

[^^^]

„Чувственное путешествие Стерна во Францию“, М., 1803; „Путешествие Иорика по Франции“, М., 1806.

[^^^]